КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

1926

КНИГА
ПЯТАЯ
МАЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 5

МАЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД

1-я ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА — ПЯТНИЦКАЯ, 71

Главлит 60019. Гиз 16612.

Тираж 13.000.

Гиперболоид инженера Гарина.

Книга вторая.

Сквозь оливиновый пояс.

Алексей Толстой.

(Продолжение.)

10.

Ветер парусил белую юбку. Зоя шла по верхней палубе к вышке радио-телеграфа. Подняв голову, прищурясь, вдохнула соленый воздух. Сверху, с капитанского мостика необъятным казался солнечный свет, падающий на стеклянно рябое море. Этого света хватило бы на миллиарды жизней.

Зоя глядела и загляделась, взявшись за перила. Узкий корпус яхты с приподнятым бушпритом летел среди ветерков в этом жидком нетленном свете.

Сердце билось от птичьего, от звериного счастья, — дышать светом вселенной. Казалось, — оторви руки от перил, — и полетишь. Чудесное создание — человек. Какими числами измерить неожиданности его превращений? Злые излучения воли, текучий яд вожделений, душа, казалось, разбитая в осколки, — все мучительное, нелюбимое, темное прошлое Зои — отодвинулось, растворилось...

«Я молода, молода, — так чувствовалось ей на палубе кораблика с поднятым к солнцу бушпритом, — я красива, я добра, я долечу до счастья»... Ветер ласкал шею, грудь, ласкал ноги под платьем. Зоя восторженно желала счастья себе.

Все еще не в силах оторваться от света, неба, моря, — она повернула холодную ручку дверцы, вошла в хрустальную будку, где с солнечной стороны были задернуты шторки. Капитан подал ей слуховые трубки. Зоя положила локти на стол, прикрыла глаза пальцами, — сердце все еще было горячо. Она сказала:

— Идите.

Помощник капитана вышел, покосившись на мадам Ламоль. Мало того, что она была чертовски красива,— стройна, тонка, «шикарна», — она благоухала чем-то мало привычным для морского носа. От нее шло волнение.

II.

Двойные удары хронометра, как склянки, прозвонили двенадцать. Зоя улыбнулась, — прошло всего три минуты с тех пор, как она поднялась с кресла под тентом.

«Нужно научиться чувствовать, раздвигать каждую минуту в вечность, — подумалось ей, — знать: впереди миллионы минут, миллионы вечностей. Нехватит одного сердца пережить... Нет, хватит... И так будет, будет».

Она положила пальцы на рычажек и, пододвинув его влево, настроила аппарат на волну $137^1/_2$ метров. Тогда из черной пустоты трубки раздался медленный и жесткий голос Роллинга:

...— Мадам Ламоль, мадам Ламоль, мадам Ламоль... Слушайте, слушайте, слушайте...

— Да, слушаю я, успокойся, — прошептала Зоя.

...— Все ли у вас благополучно? Не терпите ли бедствия? В чем-либо недостатка? Сегодня в тот же час, как обычно, буду счастлив слышать ваш голос... Волну посылайте той же длины, как обычно, плюс три четверти метра, — это на сегодня... Мадам Ламоль, не удаляйтесь слишком далеко от 10° восточной долготы, 40° северной широты. Не исключена возможность скорой встречи. У нас — все в порядке. Дела блестящи. Тот, кому нужно молчать, молчит... Я бы отдал много сотен тысяч долларов за то, чтобы посидеть с вами у камина, как бывало... Будьте спокойны, счастливы, — безоблачный путь...

Зоя сняла наушные трубки. Морщина прорезала ее лоб. Глядя на стрелку хронометра, ползущую по бездушному полю циферблата, Зоя проговорила сквозь зубы:

— Надоело... Мало ему баб, в самом деле...

Эти ежедневные радио, признания в любви, — неумелые, корявые и скучные, как и весь Роллинг, ужасно сердили ее. Не может, не хочет оставить ее в покое. Выше его сил... Пойдет на какое-угодно преступление, в конце концов, только бы позволили ему каждый день хрипеть в микрофон: «...будьте спокойны, счастливы, — безоблачный путь»...

После убийств в Вилль Давре и Фонтенебло и, затем, бешеной езды с Гариным на руле, по залитым лунным светом, пустынным шоссейным дорогам в Гавр, Зоя и Роллинг больше не встречались. Он стрелял в нее в ту ночь, пытался оскорбить и затих. Кажется, он даже плакал, тогда, согнувшись в автомобиле.

В Гавре она села на его яхту, Аризона, и на рассвете вышла в Бискайский залив. В Лиссабоне Зоя получила документы и бумаги на имя Ламоль, — она становилась владетельницей одной из самых роскошных на свете яхт. Из Лиссабона пошли в Средиземное море, и там Аризона крейсировала у берегов Италии, держась 10° восточной долготы, 40° северной широты.

Немедленно была установлена связь между яхтой и частной радиостанцией Роллинга в Медоне, под Парижем. Капитан Янсен докладывал Роллингу обо всех подробностях путешествия. На десятый день аппараты Аризоны, щупавшие пространство, приняли короткие волны на непонятном языке. Дали знать Зое, и она услышала голос, от которого остановилось сердце:

...— Зоя, Зоя, Зоя, Зоя...

Точно огромная муха о стекло звенел в наушниках голос Гарина. Он повторял ее имя и, затем, через некоторые промежутки:

...— Отвечай от часа до трех ночи...

И опять:

...— Зоя, Зоя, Зоя... Будь осторожна, будь осторожна...

В ту же ночь над темным морем, над спящей Европой, над древними пепелищами Малой Азии, над равнинами Африки, покрытыми иглами и пылью высохших растений, полетели волны женского голоса:

— ...Тому, кто велел отвечать от часа до трех...

Этот вызов Зоя повторяла, покуда не устал язык. Затем говорила:

...— Хочу тебя видеть. Пусть это неразумно. Назначь любой из итальянских портов... Именем меня не вызывай, узнаю тебя по голосу, он слишком памятен...

12.

В ту же ночь, в ту самую минуту, когда Зоя упрямо повторяла вызов, надеясь, что Гарин где-то, — в Европе, Азии, Африке, на море, — нащупает волны электромагнитов Аризоны, — за две тысячи километров в Париже на ночном столике у золотой двуспальной кровати, где одиноко, уткнув нос в одеяло, спал Роллинг, — затрещал телефонный звонок.

Роллинг, подскочив, схватил трубку. Голос Семенова поспешно проговорил:

— Роллинг. Она разговаривает.

— С кем?

— Плохо слышно, по имени не называет.

— Хорошо, продолжайте слушать. Отчет завтра.

Роллинг положил трубку, снова лег, погасил свет, и золотые зубы его укусили подушку.

Задача была не легка: среди несущихся ураганом над Европой фокстроттов, рекламных воплей, церковных хоралов, отчетов о международной политике, опер, симфоний, биржевых бюллетеней, шуточек знаменитых юмористов, — уловить слабые голоса Зои и Гарина.

День и ночь, для этого, в Медоне сидел Семенов. Ему удалось перехватить несколько фраз, сказанных голосом Зои. Но и этого было достаточно, чтобы разжечь ревнивое воображение Роллинга.

Роллинг чувствовал себя отвратительно после ночи в Фонтенебло. Шельга остался жив, — висел над головой страшной угрозой. С Гариным, которого Роллинг с наслаждением повесил бы на сучке, как негра, был

подписан договор. Быть может, Роллинг и заупрямился бы тогда, — лучше смерть, эшафот, чем союз, — но волю его сокрушала Зоя. Договариваясь с Гариным, он выигрывал время, и, быть может, сумасшедшая женщина опомнится, раскается, вернется... Роллинг, действительно, плакал в автомобиле, зажмурясь, молча, — из-за женщины... Это было чорт знает что... Из-за распутной, продажной бабы... Но слезы были солоны и мучительны... Одним из условий договора он поставил — длительное путешествие Зои на яхте. (Это было необходимо, чтобы замести следы.) Он надеялся убедить, усовестить, увлечь ее ежедневными беседами по радиотелефону. Эта надежда была, пожалуй, глупее слез в автомобиле.

По условию с Гариным Роллинг немедленно начинал «всеобщее наступление на химическом фронте». В тот день, когда Зоя села в Гавре на Аризону, Роллинг поездом вернулся в Париж. Он известил полицию о том, что был в Гавре и на обратном пути, ночью, подвергся нападению бандитов (трое, с лицами, обвязанными платками). Они отобрали у него деньги и автомобиль. (Гарин в это время, — как было условлено, — пересек с запада на восток Францию, проскочил границу в Люксембурге и в первом попавшемся канале утопил автомобиль Роллинга.)

«Наступление на химическом фронте» началось. В Париже произошел неистовый переполох. «Загадочная трагедия в Вилль Давре», «Таинственное нападение на русского в парке Фонтенебло», «Наглое ограбление химического короля», «Американские миллиарды в Европе», «Гибель национальной германской индустрии», «Спасение Франции это — армия, армия и еще раз — армия», «Роллинг, или Москва», — все это умно и ловко было запутано в один клубок, который, разумеется, застрял в горле у обывателя — держателя ценностей. Биржа тряслась до основания. Между серых колонн ее, у черных досок, где истерические руки писали, стирали, писали меловые цифры падающих бумаг, — метались, орали последним хрипом обезумевшие люди, с глазами готовыми лопнуть, с губами в коричневой пене.

Но это гибла плотва, все это были шуточки. Крупные заводчики и банки, стиснув зубы, держались за пакеты акций. Их не легко было повалить даже рогами Роллинга. Для этой, наиболее серьезной, операции и подготовлялся удар со стороны Гарина.

Гарин «бешеным ходом», — как верно угадал Шельга, — строил в Германии аппарат по своей модели. Он разъезжал из города в город, заказывая заводам различные части. Для сношения с Парижем пользовался отделом частных объявлений в кельнской газете. Роллинг, в свою очередь, помещал в Интренсижен две -три строчки. «Все внимание сосредоточьте на анилине»... «Дорог каждый день, не жалейте денег»... И так далее...

Гарин отвечал:... «Окончу скорее, чем предполагал»... «Место найдено»... «Приступаю»... «Непредвиденная задержка»...

Роллинг: ... «Тревожусь, назначьте день»...

Гарин ответил: ...«Отсчитайте 35 со дня подписания договора»...

Приблизительно с этим его сообщением совпала ночная телефонограмма Роллингу от Семенова. Роллинг пришел в ярость, — его водили за нос. Тайные сношения Гарина с Аризоной, помимо всего, были опасны. Но Роллинг не выдал себя ни словом, когда на следующий день говорил с мадам Ламоль.

Теперь в часы бессонниц Роллинг стал «продумывать» заново свою «партию» со смертным врагом. Он нашел ошибки. Гарин оказывался не так уже хорошо защищен. Ошибкой — было согласие на путешествие Зои. Конец партии для него предрешен. Мат будет сказан на борту Аризоны.

13.

Но на борту Аризоны происходило не совсем то, о чем думал Роллинг. Он помнил Зою умной, спокойно расчетливой, холодной, преданной. Он знал, с какой брезгливостью она относилась к женским слабостям. Он не мог допустить, чтобы долго могло длиться ее увлечение Гариным, — нищим полоумным бандитом. Хорошая прогулка по Средиземному морю должна прояснить ее ум.

Зоя, действительно, была как в бреду, когда в Гавре села на яхту. Несколько дней одиночества среди океана под солнцем успокоили ее, — обдуло ветром. Она пробуждалась, жила и засыпала среди синего света, блеска воды, под спокойный, как вечность, шум волн. Содрогаясь от омерзения, она вспоминала: грязную комнату и оскалившийся, стеклянноглазый труп Ленуара, закипевшую дымную полосу поперек груди Утиного Носа, сырую поляну в Фонтенебло и свои ледяные руки и неожиданные выстрелы Роллинга, точно он убивал бешеную собаку...

И все это отошло... Навсегда, к чорту, вместе с прежней Зоей, — у той, прежней, никогда бы не согрелись ледяные руки... Зоя чувствовала, как в ней просыпается новая женщина, странная, совсем незнакомая. Зоя волновалась, думая о «мадам Ламоль».

Ум ее не прояснился, как понадеялся Роллинг. Но закружилась голова предчувствиями какого-то фантастического счастья. Зоя видела во сне острова среди океана, прекрасные города, высокие дворцы, лестницы, сходящие к волнам, красивых людей, — она владеет всем и всеми, повелительница мира.

Эти сны и видения, когда она, в кресле под синим тентом, глядела на сияющее море, — были продолжением разговора с Гариным в Вилль Давре (за час до убийств). Один на свете человек, Гарин, понял бы ее сейчас. Но с ним связаны и стеклянные глаза Ленуара и разинутый страшный рот Гастона Утиного Носа. У Гарина были тоже ледяные руки.

Вот почему у Зои остановилось сердце, когда неожиданно в трубку радио забормотал голос Гарина... С тех пор ежедневно она звала его, умоляла, грозила. Она хотела видеть его и боялась. Он чудился ей черным пятном в лазурной чистоте моря и неба... Ей нужно было расска-

зать ему о сумасшедших желаниях. Спросить, — где же его Оливиновый Пояс? И у ней холодела спина, когда представляла его глаза, обведенные тенью, его усмехающийся, недобрый рот. Зоя металась по яхте и лишала капитана Янсена присутствия духа и аппетита.

Гарин отвечал:

...«Жди. Будет все, что ты захочешь. Только умей хотеть. Желай, сходи с ума, — это хорошо. Ты мне нужна такой. Без тебя мое дело мертвое»...

Такое было его последнее радио, точно также перехваченное Роллингом. Сегодня Зоя ждала ответа на запрос, — в какой, точно, день его нужно ждать на яхте? Она вышла на палубу и облокотилась о перила. Яхта едва двигалась. Ветер затих. Море залито белым светом. На востоке поднимались испарения еще невидимой земли, и стоял пепельный столб дыма над Везувием.

На мостике капитан Янсен медленно опустил руку с биноклем, и Зоя чувствовала, что он, как зачарованный, смотрит на нее. Да, как было ему и не смотреть, когда все чудеса неба и воды были сотворены только затем, чтобы ими любовалась мадам Ламоль, повиснув у перил над молочно лазурной бездной.

Невероятным, смешным казалось время, когда за дюжину шелковых чулок, за платье от большого дома, просто за тысячу франков Зоя позволяла слюнявить себя молодчикам с коротенькими пальцами и сизыми щеками... Фу!.. Париж, кабаки, глупые девки, гнусные мужчины, уличная вонь, — какое убожество!.. Возня в зловонной яме... Деньги, деньги, деньги... Фу!.. Подумаешь, — что нужно людишкам...

Гарин сказал в ту ночь: «Захотите — и будете наместницей бога или чорта, — что вам больше по вкусу. Вам захочется уничтожать людей, — иногда в этом бывает потребность... Ваша власть надо всем человечеством... Такая женщина, как вы, найдет применение сокровищам Оливинового Пояса»...

Зоя думала:

«В древности императоры обожествляли себя. Наверно им это доставляло удовольствие. В наше время тоже не плохое развлечение. На что-нибудь должны пригодиться людишки. Воплощение бога, живая богиня среди неслыханной роскоши. Отчего же, — пресса могла бы подготовить мое обожествление легко и быстро. Миром правит сказочно прекрасная женщина. Это имело бы несомненный успех. Показываться народу с такою пышностью, чтобы у них лопались глаза. Построить великолепный город для избранных юношей, предполагаемых любовников богини. Появляться среди этих голодных мальчишек, — совсем не дурные эмоции».

Зоя пожала плечиком и снова посмотрела на капитана:

— Подите сюда.

Янсен вздрогнул, подошел, мягко и широко ступая по горячей палубе.

— Капитан Янсен, вы не думаете, что я сумасшедшая?

— Я не думаю этого, мадам Ламоль, и не подумаю, что бы вы мне ни приказали.

— Благодарю. Я вас назначаю командором ордена божественной Зои.

Янсен моргнул светлыми ресницами. Затем взял под козырек. Опустил руку и еще раз моргнул. Зоя засмеялась, и его губы поползли в улыбку.

— Янсен, есть возможность осуществить самые сумасшедшие желания... Все, что может придумать женщина в такой вот знойный полдень... Но нужно будет бороться...

— Есть, — коротко ответил Янсен.

— Сколько узлов делает Аризона?

— До сорока.

— Какие суда могу нагнать ее в открытом море?

— Очень немногие... Гидропланы...

— Гидропланы не страшны. Быть может, нам придется выдержать длительную погоню.

— Прикажете взять полный запас жидкого топлива?

— Да. Консервов, пресной воды, шампанского... Капитан Янсен, мы идем на очень опасное предприятие.

— Есть.

— Но, слышите, я уверена в победе...

Зоя не окончила. Склянки пробили половину первого... Она быстро вернулась в радиотелефонную рубку. Села к аппарату. Молчание. Она потрогала рычажек радиоприемника. Откуда-то поймались несколько тактов фокстротта. Сдвинув брови, она глядела на хронометр. Гарин молчал. Она снова стала двигать рычажек, сдерживая дрожь пальцев...

...Медленный, незнакомый голос по-русски проговорил в самое ухо:

...«дорога жизнь... в пятницу высадитесь в Неаполе... в гостинице Сплендид ждите известий до полудня субботы»...

Это был конец какой-то фразы, отправленной на длине волны 421, то-есть с той станции, которой все это время пользовался Гарин. По международной радиотаблице никакая другая станция не могла пользоваться тою же длиной волны.

14.

В десять часов в больнице закрывали железные жалюзи на окнах и гасили свет. Третью ночь под-ряд в комнате, где лежал Шельга, забывали закрывать жалюзи. Каждый раз он напоминал об этом сестре кармелитке. Он внимательно смотрел за тем, чтобы откидная задвижка, соединяющая половинки створчатых жалюзей, была защелкнута как следует.

За эти три недели Шельга настолько поправился, что вставал с койки и пересаживался к окну поближе к пышнолистным ветвям платана, к черным дроздам и радугам над водяной пылью среди газона.

Отсюда был виден весь больничный садик, обнесенный каменной глухой стеной. В восемнадцатом веке это место принадлежало монастырю,

уничтоженному революцией. Монахи не любят любопытных глаз. Стена была высока, и по всему гребню ее поблескивали осколки битых бутылок, вмазанные в цемент.

Перелезть через стену можно было, лишь подставив с той стороны лестницу. Улички, граничившие с больницей, были тихие, буржуазные, и там, видимо, к десяти часам обыватели заваливались спать, — все же ночное освещение было настолько ярко, и так часто проходили в тишине за стеной шаги полицейских, что вопрос о лестнице отпадал.

Разумеется, не будь битого стекла на стене, ловкий человек перемахнул бы и без лестницы. Каждое утро Шельга из-за шторы осматривал всю стену до последнего камушка. Опасность грозила только с этой стороны. Человек, посланный Роллингом, не мог появиться изнутри больницы, — слишком очевидно. Но, что убийца так или иначе появится, — Шельга не сомневался.

Он ждал теперь осмотра врача, чтобы выписаться. Об этом было известно. Врач приезжал, обычно, пять раз в неделю. На этот раз оказалось, что врач заболел. Шельге заявили, что без осмотра старшего врача его не выпишут. Протестовать он даже и не пытался. Он дал знать в посольство, чтобы оттуда ему доставляли еду. Больничный обед он выливал в раковину, хлеб бросал дроздам.

Казалось, не было ни малейших признаков опасности. Но Шельга знал, что Роллинг должен избавиться от единственного свидетеля. Он почти теперь не спал, — так велико было возбуждение. Сестра кармелитка приносила ему газеты, — весь день он работал ножницами и изучал вырезки. Хлынову он запретил приходить в больницу. Вольф был в Германии, на Рейне, где собирал сведения о борьбе Роллинга с Германской Анилиновой Компанией.

Утром, подойдя, как обычно, к окну, — Шельга оглянул сад и сейчас же отступил за занавес. Ему стало даже весело. Наконец-то! В саду, с северной стороны, полускрытая липой, к стене была прислонена лестница садовника, верхний конец ее торчал на поларшина над осколками стекла. Шельга сказал:

— Ловко, сволочи.

Оставалось только ждать. Все было уже обдумано. Правая рука его, хотя и свободная от бинтов, была еще слаба. Левая — в лубках и в гипсе. Сестра крепко прибинтовывала ее к груди. Рука с гипсом весила не меньше пятнадцати фунтов. Это было единственное оружие, которым он мог защищаться.

Три ночи под-ряд сестра забывала закрывать жалюзи. На четвертую ночь Шельга с девяти часов притворился спящим. Он слышал, как хлопали в обоих этажах жалюзи. Его окно опять осталось раскрытым настежь. Когда погас свет, он соскочил с койки и правой, слабой, рукой и зубами стал распутывать повязку, державшую левую руку.

Он останавливался, не дыша, вслушивался. Наконец, рука повисла свободно. Он мог разогнуть ее до половины. Попытал, застонав от режу-

щей боли, — плечо работало. Он выглянул в сад, освещенный уличным фонарем, — лестница стояла на прежнем месте за липой. Он скатал одеяло, сунул под простыню, — в полутьме казалось, что на койке — человек.

За окном было тихо, только падали капли. Лиловатое зарево трепетало, как северное сияние над Парижем. Сюда не долетали шумы с бульваров. Неподвижно висела черная ветвь платана. Было так тихо, что издалека прозрачным звуком долетел женский голос из мансардного окна:

— Мишель, одиннадцать часов.

Потом где-то заворчал автомобиль. Шельга насторожился, — казалось, он слышит, как бьется сердце у дрозда, спящего на платановой ветке. Прошло, должно быть, много времени. В саду началось поскрипывание и шуршанье, точно деревом терли по известке.

Шельга отступил к стене, за штору. Опустил гипсовую руку. «Кто, нет — кто? — подумал он, — неужели сам Роллинг?»

Зашелестели листья, — встревожился дрозд. Шельга глядел на тускло освещенный из окна паркет, где должна появиться тень человека.

«Стрелять не будет, — подумал он, — надо ждать какой-нибудь дряни, вроде фосгена»... На паркете стала подниматься тень головы в глубоко надвинутой шляпе. Шельга стал отводить руку, чтобы сильнее был удар. Тень выдвинулась по плечи, подняла растопыренные пальцы...

— Шельга, товарищ Шельга, — прошептала тень по-русски, — это я, не бойтесь...

Шельга ожидал всего, но только не этих слов, не этого голоса. Невольно он вскрикнул. Выдал себя. Одним прыжком человек перескочил через подоконник. Протянул, как бы для защиты, обе руки. Это был Гарин.

— Вы ожидали, я так и думал, — торопливо сказал он, — сегодня в ночь вас должны убить. Мне это невыгодно. Вы понимаете? Я рискую чорт знает чем, я должен вас спасти. Идем, у меня автомобиль.

Шельга отделился от стены. Гарин весело блеснул зубами, увидев все еще отведенную гипсовую руку.

— Слушайте, Шельга, ей богу, я не виноват. Помните наш уговор в Ленинграде? Я играю честно. Неприятностью в Фонтенебло вы обязаны исключительно этой сволочи Роллингу. Можете верить мне, — идем, дороги секунды...

Шельга проговорил наконец:

— Ладно, вы меня увезете, а потом что?

— Я вас спрячу... На небольшое время, не бойтесь. Покуда не получу от Роллинга половины... Вы газеты читаете? Роллингу везет, как чорту. Доллары лопатой наваливает. Миллиарды... Но он не может честно играть. Сколько вам нужно, Шельга? Говорите первую цифру. Десять, двадцать, пятьдесят миллионов? Я выдам расписку...

Гарин говорил негромко, торопливо, как в бреду, — осунувшееся лицо его все дрожало.

— Не будьте дураком, Шельга. Вы что — принципиальный, что ли?.. Я предлагаю работать вместе против Роллинга... Ну... Едем..

Шельга упрямо мотнул головой:

— Не хочу. Не поеду.

— Все равно — вас убьют.

— Посмотрим.

— Сиделки, сторожа, администрация — все куплено Роллингом. Вас задушат. Я знаю... Сегодняшней ночи вам не пережить... Вы предупредили наше посольство? Хорошо, хорошо... Посол потребует объяснений. Французское правительство, в крайнем случае, извинится... Но вам от этого не легче. Роллингу нужно убрать свидетеля... Он не допустит, чтобы вы перешагнули ворота советского посольства...

— Сказал не поеду... Не хочу...

Гарин передохнул. Оглянулся на окно.

— Хорошо. Тогда я вас возьму и без вашего желания. — Он отступил на шаг, сунул руку в пальто.

— То-есть, как это без моего желания?

— А вот так...

Гарин, рванув карман, вытащил маску с коротким цилиндром противогаза, поспешно приложил ее ко рту, — и Шельга не успел крикнуть,— в лицо ему ударила струя маслянистой жидкости... Мелькнула только рука Гарина, сжимающая резиновую грушу... Шельга захлебнулся душным, невыразимо сладким дурманом...

15.

— Есть новости?

— Да. Здравствуйте, Вольф.

— Я прямо с вокзала, голоден, как в семнадцатом году.

— У вас веселый вид, Вольф. Много узнали?

— Узнал... Будем говорить здесь? Хорошо. Но только быстро по-немецки. И обедать на Монмартр.

Вольф сел рядом с Хлыновым на гранитную скамью у подножья конного памятника Генриха IV, спиной к черным башням Консьержери. Внизу, там, где остров Сите кончался острым мысом, — наклонилась к воде плакучая ветла. Здесь некогда скрипели зубами, корчились на кострах магистр и рыцари ордена Тамплиеров. Вдали за десятками мостов, отраженных в реке, садилось солнце в пыльнооранжевое сияние. На набережных, на железных баржах с песком сидели с удочками французы, добрые буржуа, разоренные инфляцией, Роллингом и марокканской войной. На левом берегу, на гранитном парапете набережной, далеко до самого министерства иностранных дел, скучали под вечерним солнцем букинисты у никому уже больше в этом городе не нужных книг.

Здесь доживал век старый Париж. Еще бродили около книг на набережной, около клеток с птицами, около унылых рыболовов — пожилые

личности со склерозными глазами, с усами, закрывающими рот, в разлетайках, в старых соломенных шляпах... Когда-то это был их город... Вон там, чорт возьми, в Консьержери ревел Дантон, точно бык, которого волокут на бойню. Франция, как сумасшедшая, летела к счастью. Вон там, направо, за графитовыми крышами Лувра, где в мареве стоят сады Тюльери, — там тоже были жаркие дела, когда вдоль улицы Риволи визжала картечь генерала Галифе. Ах, столько золота было у Франции! Каждый камень здесь — если уметь слушать — расскажет о великом прошлом. И вот, — сам чорт не поймет, — хозяином в этом городе — оказалось заморское чудовище, Роллинг, — только и остается доброму буржуа закинуть удочку и сидеть с опущенной головой... Э-хе-хе!.. О-ля-ля!..

Раскурив крепкий табак в трубке, Вольф сказал:

— Дело обстоит так. Германская Анилиновая Компания единственная, которая не идет ни на какие соглашения с американцами. Компания получила двадцать восемь миллионов марок государственной субсидии. Сейчас все усилия Роллинга — повалить Германский Анилин.

— Он играет на понижение? — спросил Хлынов.

— Продает на двадцать восьмое этого месяца Анилиновые акции на колоссальные суммы.

— Но это очень важные сведения, Вольф.

— Да, мы попали на след. Роллинг, видимо, уверен в игре, хотя акции не упали ни на пфенниг, а сегодня уже двадцатое... Вы понимаете, на что единственно он может рассчитывать?

— Стало быть, у них все готово?

— Я думаю, что аппарат уже установлен.

— Где находятся заводы Анилиновой Компании?

— На Рейне, около Н. Если Роллинг свалит Анилин, — он будет хозяином всей европейской промышленности. Хлынов, мы не должны допустить до катастрофы. Наш долг спасти Германский Анилин. (Хлынов пожал плечом, но промолчал.) Я понимаю: чему быть—то будет. Мы с вами вдвоем не остановим натиска Америки. Но, чорт его знает, иногда история выкидывает неожиданные фокусы.

— Вроде революций?

— А хотя бы и так.

Хлынов покосился с некоторым даже удивлением. Глаза у Вольфа были круглые, желтые, злые.

— Вольф, буржуа не станут спасать Европы.

— Знаю.

— Вот как?

— В эту поездку я насмотрелся... Буржуа, — французы, немцы, англичане, итальянцы, — преступно, слепо, цинично распродают Старый Мир по частям. — Вот чем кончилась культура — аукционом... С молотка!

Вольф побагровел:

— Я обращался к властям, намекал на опасность, просил помочь в розысках Гарина... Я говорил им страшные слова... Мне смеялись в лицо. К чорту!.. Потом пожалеют... Я не из тех, кто отступает...

— Вольф, что вы узнали на Рейне?

— Я узнал... Анилиновая Компания получила крупные заказы. Краски, духи, полуфабрикаты... Процесс производства на заводах Анилиновой Компании в наиболее сейчас опасной стадии... У них там чуть ли не пятьсот тонн тетрила в работе...

Хлынов стремительно поднялся. Трость, на которую он оперся, согнулась. Он снова сел.

— Мерзавцы, мерзавцы, — повторил Вольф, щуря рыжие глаза на солнце. — В газетах проскользнула заметка о необходимости возможно отдалить рабочие городки от этих проклятых заводов. В Анилиновой Компании занято свыше ста пятидесяти тысяч человек... Сто пятьдесят тысяч бойцов за освобождение Европы... Газета, поместившая заметку, была оштрафована... Рука Роллинга...

— Вольф, мы не можем терять ни одного дня.

— Я заказал билеты на одиннадцатичасовой, на сегодня.

— Мы едем в Н.?

— Думаю, что только там можно найти следы Гарина.

— Теперь посмотрите, что мне удалось достать, — Хлынов вынул из кармана газетные вырезки, — третьего дня я был у Шельги. Принес фруктов, вина, пробыл три минуты счетом... Шельга передал мне ход своих рассуждений: Роллинг и Гарин должны сноситься между собой?..

— Разумеется. Ежедневно.

— Почтой? Телеграфно?

— Ни в каком случае. Никаких письменных следов.

— Тогда — радио?

— Чтобы орать, хотя бы шифром, на всю Европу... Нет...

— Через третье лицо?

— Нет... Я понял, — сказал Вольф, — ваш Шельга молодчина. Дайте вырезки...

Он разложил их на коленях и внимательно стал прочитывать подчеркнутое красным:

«Все внимание сосредоточьте на Анилине». «Приступаю». «Место найдено»...

— «Место найдено», — прошептал Вольф, — это газета из К., городок близ Н... В горах... «Тревожусь, назначьте день»... «Отсчитайте 35 со дня подписания договора»... Это могут быть только они. Ночь подписания договора в Фонтенебло — 23 прошлого месяца. Прибавьте 35, — будет—28, — срок продажи акций Анилина...

— Дальше, дальше, Вольф... «Какие меры вами приняты?» — это из К., спрашивает Гарин. На другой день, — в Интренсижен, — ответ Роллинга: «Яхта наготове. Прибываете на третьи сутки. Будет сообщено по радио». А вот — четыре дня назад — спрашивает Роллинг: «Не будет ли

виден свет». Гарин отвечает: «Кругом пустынно. Расстояние 20 километров».

— Иными словами, аппарат установлен в горах: ударить лучем за 20 километров можно только с высокого места. — Вольф положил руку на морщины лба. — Хлынов, у нас ужасно мало времени. Если взять 20 кил. за радиус, — в центре — заводы, — нам нужно обшарить местность не менее 150 километров в окружности. Есть еще какие-нибудь указания?

— Нет. Я только что собирался позвонить Шельге. У него должны быть вырезки за вчерашний и сегодняшний день.

Вольф поднялся. Было видно, как под одеждой его вздулись мускулы. Хлынов предложил позвонить из ближайшего кафе на левом берегу. Вольф пошел через мост так стремительно, что какой-то старичек с цыплячьей шеей, в сваливающихся штанах, в запачканном пиджачке, пропитанном, быть может, одинокими слезами по тем, кого унесла война, — затряс головой и долго глядел из-под пыльной шляпы вслед бегущим иностранцам:

— О-о! Иностранцы!.. Когда деньги в кармане, то и толкаются, и бегают, как будто бы они дома, и спешат к девочкам... О-о! Дикари...

В кафе, стоя у цинкового прилавка, Вольф пил содовую. Ему была видна сквозь стекло телефонной будки спина разговаривающего Хлынова, — вот у него поднялись плечи, он весь налез на трубку. Выпрямился. Вышел из будки. Лицо его было спокойное, но белое, как маска:

— Из больницы ответили, что сегодня ночью Шельга исчез. Приняты все меры к его разысканию... Я думаю, что он убит.

16

Трещал хворост в очаге, занимающем половину стены, прокопченном за два столетия, с огромными ржавыми крючьями для колбас и окороков, с двумя каменными святыми по бокам, — на одном висела светлая шляпа Гарина, на другом засаленный офицерский картуз. У стола, освещенные только огнем очага, сидели четверо. Перед ними — оплетенная бутыль и полные стаканы вина. Время было позднее, под утро.

Двое мужчин одеты по городскому, — один скуластый, крепкий с низким ежиком волос; у другого — длинное, злое лицо. Третий, хозяин фермы, где на кухне сейчас происходило совещание, — генерал Субботин, — сидел в одной холщевой грязной рубашке с закатанными рукавами. Начисто обритая кожа на голове его двигалась, толстое лицо со взъерошенными усами побагровело от вина.

Четвертый, Гарин, в туристском костюме, небрежно водя пальцем по краю стакана, говорил:

— ...Все это очень хорошо... Но я настаиваю, чтобы моему пленнику, хотя он и большевик, не было причинено ни малейшего ущерба. Еда — три раза в день, вино, овощи, фрукты... Через неделю я его забираю от вас... Бельгийская граница...

— Три четверти часа на автомобиле, — торопливо подавшись вперед, сказал человек с длинным лицом...

— Все будет шито-крыто... Я понимаю, господин генерал и господа офицеры, что вы, как дворяне, как беззаветно преданные памяти замученного императора, действуете сейчас из высших, чисто идейных соображений... Иначе бы я и не обратился к вам за помощью...

— Мы здесь все люди общества, — о чем говорить? — прохрипел генерал, двинул кожей на черепе и осушил стакан.

— Условия, повторяю, таковы: за полный пансион пленника я вам плачу десять тысяч франков в день. Согласны?

Генерал перекатил налитые глаза в сторону товарищей. Скуластый собрал нос гармоникой, длиннолицый поцыкал зубом.

— Ах, вот что, — сказал Гарин, — виноват, господа дворяне... Задаточек за три дня вперед...

Он вынул из револьверного кармана пачку тысячефранковых билетов и бросил ее на стол в лужу вина...

— Пожалуйста... Это не венгерские... Из французского банка, бандероль не сорвана...

Генерал крякнул, подвинул к себе пачку, осмотрел, вытер ее о живот и стал считать, сопя волосатыми ноздрями. Товарищи его понемногу стали придвигаться, глаза их становились страшными.

Гарин сказал, вставая:

— Позволите ввести пленника?

(Продолжение следует).

Полынья.

Рассказ.

Всеволод Иванов.

Жизнь как слово — слаще и горче всего.

Богдан Шестаков очень изменился за последний год. Когда он напивался, — в голову приходили тягучие мысли о смерти, а подумав он начинал драку. В деревне его стали бояться и хвалили только за то, что он дерется постоянно не ножем, а палкой. Девки приставали меньше, и кто-то пустил по нем славу — порченый. И верно, — всякий раз после пьянки его долго тошнило синей слизью, выскакивал из горла темный сгусток крови, и лишь тогда становилось легче дышать. Кожа на его огромном скуластом лице казалась какой-то гнилой, а маленькие глазки смотрели с такой злобой, словно дано было ему видеть мир в последний раз.

Был конец масленой. Деревня, много дней уже, пила, дралась и, путаясь в огромных сугробах, орала матерные песни. Накануне прощеного воскресенья, девки не пришли на вечерку, и Богдану хоть и скучно было драться без девок, но опять заныло сердце, опять в голове стало так, словно он стоял, наклонившись над бездонным оврагом — и Богдан разогнал вечерку, выбил в избе окна, и даже ударил любимого своего друга Степку Бережнова. Ударил в ухо, в кровь, а Степка парень был гордый, удара не простит — и думал утром Богдан: теперь Степка будет резать его. Стало необычно тоскливо. Плохо растапливалась печь, мать, перекладывая поленья, сказала ему:

— Хоть бы ты долги за бочки собрал, кончат тебя скоро. Степка по селу ходит, не миновать, говорит, тебе ножа.

В свободное от хозяйства время, Богдан бондарничал. Деньги за работу сбирать не умел, и часто надо бы сказать заказчику ласковое слово, а у него получалась брань. И то, что мать не пожалела его, а думала больше о деньгах, — тоже как-то расслабило Богдана. Вяло и нехотя натягивал он щегольские с узкими голенищами сапоги, обеденный нож взял со стола, вытер его два раза о подошву и сунул за голенище. Мать на это только громыхнула ухватом. Размахивая сучковатым своим батожком, Богдан в развалку, лихо играя плечами и удало посматривая по сторонам, шел

по улице. В первый раз за всю его жизнь лежал у него за голенищем нож — и было непонятно, чему стыдно и даже страшно. Казалось, выбеги сейчас из-за угла Степка, едва ли Богдан выхватил бы нож — и едва ли поднял бы палку. Деревня, после вчерашней гулянки, еще спала. Выйдет разве за ворота посмотреть погоду какой старик. Тупо стоит, распахнув тулуп и подставив солнцу сивую бороду. Снег тает у него подле валенок, валенки темнеют, — и не видит ничего старик... Даже собаки не лаяли, словно и они страдали с похмелья. Казалось Богдану — разбежалась, перепряталась по сугробам деревня, — будто вспорол он своим ножем мешок с пшеницей. Так Богдан дошел до выгона, там уже кое-где посерел снег: похоже — протерлась материя и выступила подкладка. Ночью, надо думать, выпадала пушная кидь — самый крупный снег, и обледенелая дорога, казалось, была исковеркана долотом. И опять — мысли, что тяжелее горы, упали на него. Один он стоял у поля. Повернуть же в деревню было страшно, до поту. Вправо от выгона темнело кладбище, и пришло в голову, как трудно будет долбить ломами могилу, а копать ему могилу будут парни-сверстники (есть такой обычай: зарезанному приятелю сверстники копают могилу, чтоб подольше поговорить о покойнике), Степка же первым пройдет по деревне... И тогда Богдан подумал: «надо обрат итти, говорят ужо, поди, от Степкина ножа утек...» — и все ж не было сил обернуться к родным избам. Здесь он вспомнил, что в Данилове — соседней деревне, верстах в пяти — сегодня престол и вечерки. В Данилове, также как и в родной его деревне, резались, пили. Но кто знает, — если зарежут в Данилове, может тот же Степка пойдет отплачивать за Богдана и падет от ножа или кола подле даниловской околицы.

Богдан выпустил чуб из-под шапки, подтянув повыше голенища, страх будто прошел, — и направился Богдан по обширной снеговине в Данилово.

С легким хрустом скользили каблуки по ледку дороги. Хруст льда был рыхлый, весенний и рыхлые шелковисто-белые облака были в громадном небе. Конец снеговины был занят легким синеватым леском. Дорога, словно утомившись прямо бежать по снеговине, начинала вилять и в лесок брела как пьяная. Лесок — ельничек был весь в снегу, в искрах, в фарфоровом блеске; поднимался он на холм бодрый, веселый, словно бы с пеньем. За холмом — поляна, а в краю ее Данилово. Перед самым леском текла речка, занесенная пыхлым снегом — убродная, будто стянула она со всей равнины на себя снега, будто нужно было ей прятать что драгоценное. Ничего-то в ней не водилось, даже пискари и те давно передохли, запутавшись и устав жить в неимоверно густых лопухах и водорослях. Через речушку лежал мостик — тоже занесенный снегом, торчали из него два только столбика, а направо от этих столбиков виднелся сруб — года два назад хотел Даниловский кооператив устроить здесь мельницу, да так, неизвестно почему, ничего не получилось. Летом в этот сруб парни водили девок, водил и Богдан, раз даже, по торопливости, не запалил

спичку — и свалил девку на ребячью шалость. Парни, позже, хохотали над девкой целый месяц.

И вдруг влево от столбиков, в двух саженях, не больше, увидал Богдан громадную как большой двор, — полынью.

Не меньше как в неделю раз ездил Богдан по этой дороге за сеном на луга, а заметил эту полынью впервые. Вода была неподвижна, смарагдово-зеленая по краям, а снег, окружавший полынью, казался необычайно рыхлым, злым. Да и полынья не была радостной.

А по ту сторону полыньи увидал Богдан большого сизоголового селезня.

Кому дано знать, как он попал, когда он попал на эту полынью? То ли затосковал он в своей солнечной стране по родным лугам; то ли, на самом деле, должна через несколько дней хлынуть весна? А селезень, словно смеясь над смущенно остановившимся человеком, весело поныривая, плыл вдоль полыньи. И казалось, — когда он выныривал, — вода расцветала. Селезень крякнул, ударил крылом, — и подплыл ближе к человеку. И то, что он ударил крылом, — словно по сердцу, — непередаваемо разозлило Богдана. Он отпрыгнул, схватил глызу и метнул ею в селезня. Птица нырнула — шесть темно-серебристых кругов, похожих на круглые перья, пошли от нее. И Богдан уныло подумал — не завести ему, видно, никогда дробовика. Он быстро начал сбирать глызки — и ему было стыдно, большой парень, ухобака, а словно мальчишка гоняется за селезнем. Но было б ловко принести на вечерку в Данилово дикого селезня!..

— Замучаю, курва, — закричал он, продолжая сбирать глызки.

Селезень крякал, тревожно смотрел вверх — рыхлые облака, словно пряди седых волос на молодом лице, продолжали скользить по небу. Желтый клюв селезня, будто уцелевший лепесток, тонул в воде. Богдан, весь потный, увязая по пояс в снегу, бегал с одного берега на другой и все не мог отыскать такого места, с которого он мог бы попасть в селезня. Подле кустика он ткнулся в настыль — промерзшую толстую кору снега.— Богдан наломал куски этой настыли и долго кидал их в прорубь. Он скоро устал — и от злости на такую глупую охоту и от мысли, что селезень может улететь. А селезень продолжал все нырять и нырять — и, казалось, с каждым разом он остается в воде все дольше и дольше. И вот, когда он нырнул особенно надолго, Богдан, внимательно рассматривавший полынью и гадавший, где бы мог вынырнуть селезень, как-то невзначай взглянул на сугробы. По сугробам с тревожным шипением переметывался снег. Богдан поднял голову — и в небо, словно с сугробов, перекинулась волокуша. От солнца в метущихся снегах осталось только пятно огненно-красной киновари. Края земли походили на завороты сугроба. Деревни не было видно.

Тогда Богдан поспешно отыскал свою палку, переломил, долго целился — и так кинул ее, что палка завизжала. Селезень взлетнул на сажень. Богдану показалось, что он попал ему в крыло. Селезень

теперь не нырял, а, чуть волоча крыло, плыл вдоль снежного берега. В воду с надутых, как капризные губы, сугробов сыпал в воду снег. Стало тускло, словно в сумерки, — очень ясно обозначились талые места дороги — и тут только Богдан понял, что, даже убив селезня, он не смог бы достать его из полыньи. Разве — лесиной, но едва ли подыщешь такую тонкую лесину, которая могла бы достать до середины полыньи! Он почувствовал иней на шее, замотал крепче шарф, перетянул опояску, вдруг стало почему-то обидно, что на полушубке не достает трех пуговиц. И опять с непонятным страхом подумал о родной деревне, о Степке, опять тяжелые как горы мысли подступили к сердцу... От ножа ноге стало холодно, он достал нож — и сунул его за пазуху. Посмотрел на полынью, — селезня за падающим снегом не было видно, Богдан постоял, подумал — и все-таки пошел в Данилово.

А ветер все усиливался и не успел Богдан отойти десяти шагов от столбиков моста, как снег — мелкий пылистый «блеска» — так ударил ему в лицо, что словно забил горло. Богдан долго протирал глаза и протирая не заметил, как очутился в уброде. Потерялась лиловая тень мельничного сруба да и ельник куда-то исчез — и дороги под собой не нашел Богдан. И когда он, поддерживая для чего-то шарф на шее, кинулся вперед, — вдруг темная вода полыньи открылась у его ног. Снег медленно уходил в воду, так медленно, что казалось — прежде чем уйти он скользит поверху, отыскивая нору, куда мог бы скрыться от разъяренного ветра, от бесконечных однообразных полей. Богдан, неотступно глядя на полынью, медленно шел вдоль берега — и вскоре наткнулся опять на столбики. Он яростно сбил с одного из них снег. Потоптался перед столбиком, даже как-то неумело припляснул — сразу стало веселей, и он вновь направился в Данилово.

И вновь, не успев отойти десятка шагов, сбился с ледка дороги (хотя вначале, прежде чем ступить, нащупывал впереди себя ледок, но ему быстро надоело нащупывать, и сразу поверилось в удачу), и опять попал в уброд, глубиной теперь почти по пояс. Итти вперед по уброду было до обиды страшно — каждый шаг, казалось, обваливался вместе с глыбой снега, обваливался и катился в полынью. Мчалась округ него шипящая светлая темнота. Богдан остановился, «господи!» — прокричал он приказывающе, повел палкой — и вправо палка его наткнулась на бревна мельничного сруба. Он хотел-было войти туда, но вдруг зачем-то вспомнилось: как воняло в срубе, когда он водил туда девок, и как вонь эту замечали только тогда, когда шли обратно. И стало ему до слез обидно на Степку, пригнавшего Богдана на такую обидную смерть к срубу. «Господи!» — опять приказал он. А поносуха все сильнее и сильнее крутила снега, словно ситец притискивая к его телу кожух. «На дорогу от сруба надо брать влево», — припомнил Богдан. А на дороге ветер был еще сильнее, — поднялся, видно, последний зимний занос. Столбик вновь был занесен снегом, полынья исчезла, «тоже, должно быть, занесло» — подумал Богдан, — и ему стало легче. Он присел на столбик,

скрутил папироску. «Затянуться на последки» — подумал он — и здесь он вспомнил опять Степку, свою трусость, и селезень в проруби чем-то напомнил ему венчик, что надевают на лоб покойнику. Он уже и сам понимал, что не дойти ему теперь ни до Данилова, ни до дому, — сблудит, сдохнет, — и все-таки пошел в Данилово. И верно, сразу же он спутался, упал, сразу очутился в убродах, — и вот снова перед ним полынья. Она лежала такая же неподвижная и темная как и раньше, так же невидимо били в ней подземные родники и так же нехотя принимала она в себя снега. Не колышась плыла она спокойно среди этих взбесившихся снегов, плыла настолько неподвижно, что даже не отражала ничего, как глаза покойника.

Сердце у Богдана вдруг словно прокололи насквозь, он даже от такой боли перекрестился. И затем сразу понашло на него такое чувство, словно он засыпал после большого усталого дня. Вода на мгновение просветлела — и он неистово ринулся прочь! Но сразу же до истомы стало ясно, — куда бы он ни кидался, как бы ни бежал по сугробам, — везде под ногами обрушивались глыбы рыхлого снега, — и невидящая вода открывалась ему. Попробовал было он закричать, — сразу от сильного ветра заныли зубы, — и стало чего-то стыдно. Шарф стал влажный и скоро обмокрела спина. «Хорошо у сапог-то узки голенища, — подумал он, — а то бы снегу-то сколь набилось» — не замечая, что и узкие голенища были наполнены снегом и темные капли пробирались вдоль икр.

Он устал думать о дороге: в голове у него остались только какие-то коротенькие мысли о столбиках. Ему казалось, ухватись он за столбик, и он не скатится в воду. Виски были словно зажжены, а чуб лез на глаза холодный и чужой. Несколько раз, отскакивая от полыньи, наткнулся он наконец на столбики, упал — и прижался лбом к обледенелому дереву, и на мгновение вернулась храбрость, он полез даже в карман за табаком... скверно и долго выругался. Брань шла легче чем крик — и он длинными солдатскими матюками долго звал на помощь. Показалось, что чем-то и кому-то он отплатил за свои муки. А веселый и свистоголосый ветер все так же несся над снеговиной, все так же блестящей пылью звенел на обледеневшей коре-чире, колол ресницы. Богдан отполз немного от столбика, от дороги, и ему почудилось, — он ясно слышал, понуканье ямщика, храп утомленной лошади, ему показалось, что его могут растоптать,— но тут лошади словно свернули в сторону. Он даже разглядел, как блеснули длинные оглобли, — хотя он и знал, что иной дороги, кроме той, на которой он лежит, — нету. Но он отполз еще два шага.

И опять темное жерло полыньи всплыло перед ним. Обледенелый скатик, спускающийся в воду, как бы дрогнул, в плечах Богдана словно что-то хрустнуло — и он торопливо поджал под себя ноги. И было время — каблук уперся в какую-то ледышку, не то в коряжку, — а в полуаршине далее лежала вода, пахнущая почему-то тиной. Эта, пахнущая тиной, вода словно всосала в себя все его мысли, — он долго, сгорбившись, сидел и неотступно смотрел в воду. А затем, как родник со дна его души, ударило в тело и смятенно пронеслась мысль, что сейчас каблук соскользнет с ко-

ряжки, кости и мясо, все то, из чего составлен Богдан, покатится по льду; ветер, дующий в плечи, еще сильнее ударит в полы полушубка, и шесть огромных кругов, похожих на круглые перья, захлопнут его жизнь. Он стал тереть ноги, а пальцы без толку путались, и казалось — трет он сапог о сапог как безрукий чеботарь и, когда подумал: безрукий, все как-то вдруг рухнуло в его голове — дорога, ожидание саней, удаль его, и он хорошо понял, словно пропели ему, — конец!

И тогда вправо, совсем против столбиков, подле большой, нависшей над водой, глыбы снега (с глыбы тусклой струйкой сыпался в воду снег), Богдан увидал селезня. Птица, уткнув под крыло голову, тихо покачивалась на воде. Сверху она была вся засыпана снегом и как бы походила на свою белую тень. Богдан изумленно потрогал веки — и снег словно посинел.

— Цыпа!.. цыпа!.. — позвал он вдруг и сам удивился своему писклявому голосу. Не успел он позвать птицу и трех раз, как селезень встрепенулся, — скатился с него снег и селезень медленно поплыл прочь. Богдану стало обидно, зло, — он даже почувствовал жар в веках: так напряженно вглядывался он в крутящуюся синеву. А более всего ему было обидно то, что он смог вспомнить сразу как кличут цыплят, а как кличут утят, он не мог вспомнить. Селезень давно уже уплыл в снега, а Богдан все покрикивал: «цыпа, цыпа...» — и когда совсем обмерзли десна и ему пришлось замолчать, — он вдруг почувствовал, что катиться в полынью не так страшно, — он убрал с коряжки затекшую ногу. И оказалось — скат не так уж скользок. Опять усилилась метель, и вскоре он начал думать, что селезень почудился ему и что нет такого селезня совсем, а было ему виденье перед смертью.

Снег пожелтел на минуту; надо думать, закатывалось солнце. А потом зашипело еще сильнее, снег был теперь с мелкими градинками — очень больно кололо за ушьми. Долго так сидел Богдан. Снегу намело вровень с плечьми, перекатывался он по груди. Спине стало теплее, — и Богдану не хотелось вставать, уходить, — он всунул пальцы в рукава, надвинул шапку на уши — и полузакрыл глаза. И тогда ему показалось, что коряжка выскакивает из-под его ног, он шевельнул ступней — что-то похожее на льдину качнулось подле его сапога. Он наклонился — было уже совсем темно — и неподвижной холодной рукой он скорее почувствовал, чем ощупал, — перья селезня. Птица отошла от его руки и поползла, скользнула вдоль сапога к сгибу ноги: видно, ей хотелось выбрать, где теплее. И Богдан вспомнил,— как раньше сизое перо селезня чем-то напомнило ему венчик на лбу покойника. И огромная злость потрясла Богдана, он сунул руку за пазуху к ножу, — но тут грудь его наполнилась каким-то кипящим теплом, тепло это хлынуло по рукам. В голенищах снег уже не таял и не было ощущения, что портянки с ног разматывают по ниточке. Сугроб за его спиной почудился шире, тверже и чем-то напомнил баню. Небывалая доброта овладела всем Богданом. «Ишь, чорт!» — сказал он шопотом и заботливо погладил селезня по крылу. Затем рука его спусти-

лась к животу, — и живот у селезня был мокрый. Тогда только Богдан заметил, что селезень мелко дрожит и шея его бессильно падает на тыл Богдановой руки. «Полезай дальше», — прошептал Богдан и долго не убирал руки, пока селезень не согрелся и не взял голову под крыло.

Так человек и птица просидели всю ночь у полыньи. Вначале, когда Богдан перебирал затекающими ногами, — селезень шарахался, а потом привык и только легонько крякал, и это смешило Богдана. Под конец даже Богдан решил, что селезень выведен при птичнике из яиц дикой утки; может быть даже и улетел из птичника. Под утро Богдан вздремнул и, засыпая, подумал уверенно и весело — «не замерзну!».

И он точно — не замерз. К утру, — из-за лесочка, из-за холма, словно он там спал всю ночь, — хлынул в снеговину теплый весенний ветер. Ветер тронул Богдановы ресницы. Богдан вскочил — и начал оттирать снегом руки. Три пальца не действовали, посинели слегка и стали необычно гладки. «Придется обрубить, — подумал он с непонятной радостью, — и на ногах, поди, придется обрубить». И все с той же радостью разглядел он, что больше наметено снега на дороге, да и всегда весной, если идет крупный снег, больше всего наметает его на дорогу. Что ж тут позорного, если и заблудишься? Тихий плеск послышался рядом, — это селезень нырнул в полынью. Но он вскоре вынырнул, точно ему жалко было оставлять тепло и солнце, — взглянул изумленно на человека и с громким криком уверенно и быстро поднялся вверх, прошелестел над леском, — и понесся за холм, навстречу весеннему ветру. «Ишь, чорт», — сказал любовно, глядя ему вслед, Богдан. Отмороженные пальцы начинали ныть, но Богдану было легко переносить эту боль. Идя вдоль каймы занесенной снегом дороги, он думал спокойно, что если уж теперь резаться, так конец-то теперь Степке будет, а не ему, Богдану. И было непонятно, как он мог бояться своего села, оно лежало в снегах такое теплое, пахнущее хлебным дымом; как он мог думать о смерти; бежать куда-то, кого-то зря, точно свою смерть, бить... Он не знал еще, что будет делать теперь, но веселое спокойствие наполняло его все крепче и крепче. Так, улыбаясь неумелой улыбкой, прошел он вдоль села, стукнул в окно и тихо крикнул: «мам, неси топор да рукотерку». Положил руку на бревно, на котором кололи дрова, отрубил три пальца и, перетягивая полотенцем руку, сказал ласково матери:

— Теперь, если со Степкой резаться — обязательно ему конец, мамка!

А матери было страшно слышать его ласковый голос, тошнота подступала к сердцу от снега, залитого кровью, слезы текли у ней из глаз, а вытереть их она боялась почему-то. И так же ласково, в голос сыну, она спросила:

— Ливорвер, что ли, купил?

И опять, улыбаясь неумелой улыбкой, ответил ей ласково Богдан:

— А то как же? Не от слов же быть мне такому храброму.

Полова.

Повесть.

Леонид Завадовский.

1.

Ноябрь месяц. Уплыли мокрые лохматые тучи. Утреннее солнце осторожно поднимается над землей, грустно и ласково глядит на посеребренные инеем поля. Земля дремлет. Глаза готовы закрыться на долгие месяцы.

Вдова Арина, радуясь первому сухому дню с утра возилась подле избы, поправила заваленку, ухвоила соломой маленькое оконце и, захватив ведро и тряпки, ушла в школу мыть полы. Надо чем-нибудь жить. Земля отдана исполу, родит плохо от чужих рук; от комитета взаимопомощи никакого слуха.

Любка — дома. В сумерках маленькой избенки качает зыбку. На улице, за крохотным оконцем светло, звонко кричат соседские ребятишки. В тишине пахнет вынутым горячим хлебом, земляным полом; в углу, словно чья-то взлохмаченная голова, торчит кудель в гребне. Чуть перестанет качать — в зыбке начинается крик. Тело немеет, в груди скучно и постыло.

И вот ей кажется, словно возле окна стоит другая Любка. Одна, тихая, осунувшаяся, качает и поет, а другая, гладкая, здоровенная и румяная, глядит на улицу и смеется. Знает, что мерещится, а не может удержаться и шепчет:

— Чего ты, дура, грохочешь, — пра, дура!

— Да как же, — отвечает та у окошка, — он, Васька-то, у Настьки Ивонькиной бесперечь сидит, а ты сохнешь об нем. Да с дитем!

Хочется вскочить, что-нибудь делать, лишь бы забыть про Настьку. Но все качает, долго, терпеливо. От однообразного покачивания начинает забываться, опускается в тишину. Из темного угла в глаза выплывает широкая сельская улица. Издали слышится гармоника; это играет Васька Мироновский. Вот он и сам. Кучерявый, веселый, гармошка на ремне через плечо. Девки жмутся друг к дружке, скалят зубы, шепчутся про него, а сами только и ждут, чтобы побаловался с ними. Петька с Колькой наска-

кивают на девок, они визжат и бегут по улице. Одна она не бежит, к ней не пристают с того дня, как стала гулять с Васькой. Гордо глядит на подруг, на соломенные крыши; не стыдно ни баб, ни мужиков: пускай смотрят.

Гонят стадо. Важно поматывая подбрудками, идут коровы с полными боками. Овцы, как омежные, прутся с выпученными глазами в огороды. Розовая пыль висит над селом, звонко щелкает кнут, кричат хозяйки, созывая ребят и свиней. Гулянка в полном разгаре. Выплывает большая звезда и лучится на побледневшем зеленом небе. Ваське неудобно уйти с улицы. Она терпеливо ждет, дрогнет в ситцевой кофтенке и поет, стараясь перепеть все, что знает, перекричать всех девок.

Любка застывает, нога перестает качать. Вздрагивает от громкого крика. Мгновенье не может понять, но, вдруг вспомнив, торопливо расстегивает грудь и наклоняется над зыбкой. Крик стихает, слышится жадное, словно поросячье, чмоканье и громкие глотки. Вспыхивает злость; так бы схватила и задушила своими руками брошенного отцом сына. Но прижимается к горячему тельцу губами и жадно вдыхает запах пеленок.

Из угла плывут розовые вечера, звездные ночи, лето и осень. Особенно тот вечер. Кто-то — думала, кто из ребят — накидывает на голову пиджак; хотела вырваться и треснуть по морде, но вдруг узнала по рукам и только прошептала:

— Погоди, кто это есть такой, — и покорно пошла рядом.

Под ногами путалась и шелестела прошлогодняя трава, билось сердце, было жутко, но льнула тесней к Ваське. От близости было неудобно итти, под пиджаком было темно и душно. На траве была роса, вверху — звезды, как пшено на веретье.

— Да, Васенька, да, сокол мой, как матери на глаза покажусь после этого?

Крепко обвилась руками вокруг шеи, торопливо нашла губы и жадно влилась в них вся.

Потом, когда девки на улице пели:

> Целоваться — губки липнут,
> Постой, милый, дай привыкнуть...

казалось про нее, краснела и прятала глаза.

Скоро вместо гордости пришел стыд, а с ним — слезы. Караулила парня на углу, на дороге, шептала, хватала за прямую руку, бежала домой, готовая вырвать ненавистные свои косы.

Любка перестает качать, сердце перестает биться. Заслышав тяжелые шаги в сенцах, торопливо утирает рукавом слезы и выпрямляется.

Арина сует ведро в угол, громко стучит. Только вспомнит всю муку и срам, принятые за девку — готова разорвать.

— Што сидишь, идол тебя изломай, как пришитая? Поглядела б, приблудыш-то жив, ай нет. Месячный ребенок, а она никакого вниманья, все об кобеле об своем голову крутит!

Снова чем-то лязгает, роняет ухваты. Хочется заткнуть уши.

— Ты мне его, стервеца, забудь, выкинь из головы. Как есть подлец подлый. Говори — пойдешь ты в совет заявлять на него, аль нет? Каб не роженица, так бы вот по харе и треснула!

Любка не знает, чего в ней больше: любви к Ваське или злости, поэтому молчит, не хочет выносить наружу, надеется, что, может быть, еще придет, если не к ней, то взглянуть на своего сына. Упрямо сидит и смотрит в угол.

— Доколь годить-то будешь, тебя спрашиваю? С самой паски обещает, надсмехается и опять он ей мила-милей. Штоб вам провалиться скрозь землю!

Подойдя к зыбке, Арина откидывает полог. Силой удерживает брови, чтобы не разбежалась злость.

— Кормила, што ль? Родильница! — И снова кипит: — Под железную крышу Ивонькинскую метит он, нужна ты ему, безъюбочница, как летошний снег!

Как ни часто — на дню десять раз — бередит Арина Любкину ревность, привыкнуть к этому нельзя.

— Да нешто я сама не знаю, что вы-то уж в гроб торопите?

— Молчи ты!..

Арина навертывает на голову платок. Надо принесть дровишек. Изба стынет, в щели под дверью несет холодом. Вдовий топор жуёт хворостину на иссеченном пне возле сенец; баба чертыхается и о колено доламывает хлыст. Ветер треплет жиденькую юбченку и лезет по ногам до самой развилки.

Разогнув спину, щурит глаза на одинокую черную фигуру в конце улицы.

«Опять к Настьке ползет, пес полосатый», — узнает Арина Ваську.

Парень приближается. На нем новый теплый пиджак, в руке завязанная в белый платок гармонь, на голове серая барашковая шапка набекрень.

— Ай опять мимо? Зашли бы посогрелись, Василь Мироныч.

Любка замирает у окна, держит зыбку, чтоб не качалась, не скрипела — и слушает.

— Нет времени нам остановку делать, — говорит Васька.

— Кудай-то дюже спешите, не рабочая пора. Зайдите на минутку. К минутке прилипнет другая, глядь — часок и просидели. И авчёра мимо, и третёдни мимо, всегда мимо. От людей срамно. Дите свое родное не видали, не по-христиански делаете.

Арина с обтянутыми щеками, с настороженными глазами, Васька в небрежной позе, кудрявый, в белых вязаных перчатках. Баба двигает платок на голове и приближается к парню.

— Новый пинжак сшили? Материя дюже тонкая, нелавошная, — говорит она,— а мальченок некщеный лежит. Сыночку имячко надо, Василь Мироныч, вас поджидаем, может, не пондравится отцу наше название.

Васька дергает плечом, словно у него чешется на спине.

— Человек человеком и останется, как ни назови.

— Сётаки. Не мы придумали, не нам провергать. И по-нонешнему никакой перемены нету.

И год и полгода назад Васька был такой же по виду, но был ласковый, не хотел уходить до утра из клети. Вдруг под сердцем у Любки делается больно от обиды и горя.

Арина за окном нараспев тянет:

— Гармонь с собой несете, к Ивонькиным, должно быть? Поди, никого нет, огня не зажигали в горнице.

Парень рад кончить разговор. Перекидывает гармонь в другую руку, снимает перчатку и сморкается.

— А тебе все надо, все нюхаешь своим носом. Тебе какая забота — хучь к ней, хучь подале куда!

Любка опускается на лавку, растерянно шепчет: «Мошенник, чистый мошенник». Выбежать бы на улицу, да вцепиться в его кудри, да выдрать их, — но будет от людей новый стыд, а он все равно уйдет.

— Сукин сын посля всего этого, — слышится за окном. — Негодяй негодный! И вся порода ваша, Мироновская, спокон веку такая!

2.

Мирон Василич жил в достатке, хоть и под соломой. Кругом занесен большой крепкий двор, во дворе порядок, теплые хлевы и конюшня. Как женился старший сын и привел сноху, а потом и детей — стало тесновато в одной избе, хоть и просторной. А тут поднялся Васька, второй сын. Надо было думать о чем-нибудь, но все откладывалось, ждалось — посвободнеет в деньгах. Об отделе, да об разделе не было и речи.

— Я своим богом доволен покеда, хучь и новые права, — говаривал он часто, — леску бы на избу и опять на двадцать лет в спокое.

Но вот дошли слухи, что Арина подала в суд на Ваську. Старший сын нахмурился, глядел мимо, побил бабу ни за что ни про что и однажды прямо заявил:

— Будем ждать, пока придут опишут? Я за него, негодяя, не ответчик. В царской армии спину гнул, в красной страдал и опять же — разор приходит!

Старик ходил гроза грозой. На порядочном наделе, если он в одних руках, и пару лошадей есть резон держать, с соседом не спариваться на плуг, не ждать, когда он брюхо почешет. А что одному? И ребятам петля, и самому на старости лет трудно из плужка в соху перепрягаться. Кипела злоба, бессилие душило старика. Широкий, прямой, с огромными ладонями — того и гляди треснет кого-нибудь по затылку — он одел халат и вышел во двор. Не радовал и морозный крепкий день.

Васька собирался на рушку. Выдвинул сани из-под навеса, положил мешки, напоил вороного жеребца и, отпрукивая и оглаживая, заводил

в оглобли. От тяжелого взгляда отца словно тесен стал полушубок, он чувствовал связанность во всем теле и неловкими руками копался в упряжи.

Уже взвозжал одну возжу, как скорым шагом подошел старик и, стиснув зубы, ткнул кулаком в бок.

— Так и поедешь по селу чертям на потеху?

Дуга была впряжена кольцом взад. Старик, весь багровый, оглядел Ваську маленькими зелеными глазами.

— Не на лошадях тебе, чорту, а на девках ездить. Выпрягай живо. Только одно на уме, у дурака нетесаного — гармошка. И им в отделе жить. Наготовят хлебца и себе и людям — дугу на хвост заместо шеи!

Выехав за ворота, Васька оправился, подобрал возжи. Дорога была не первая, санный след уже блестел.как полированный. Жеребец поигрывал от мороза сытым задом, грыз удила, взмахивал высоко голову и дергал возжи из рук. В желтом новом полушубке, туго подпоясанный зеленым кушаком, в пестром шарфе — Васька бы парень хоть куда. Румяный, кудрявый, статный. Девки бросали стряпню и заглядывали на него из окон. Он выпрямил спину, выпятил грудь и, не обращая внимания на свежий ветерок, заложил шапку на ухо.

У Ивонькинской двойни остановился, привернул возжей за оглоблю морду жеребца и, обмахнув рукавицей снег с валенок, вошел в избу. Настька выпорхнула из чистой горницы, закраснелась и чему-то засмеялась.

Васька заехал только для того, чтобы взглянуть на Настьку и показать себя, но для приличия сказал:

— Нет чего помолоть или порушить? За одну руку ехать, сидеть ждать.

От печи повернулась сухая остроглазая баба — мать Настьки — и ласково сказала:

— Нету, Васенька, нету, ни молоть ни рушить нету. Спасибо за предлог.

В четыреугольнике окна вороной жеребец гнул шею и пятил сани. Чтобы обратили на него внимание, Васька бросился к окну и небрежно сказал:

— Вот, окаянный его возьми, не стоит никак, — и крикнул: — Да тпру жа!

Настька накинула полушалок и выскочила следом за парнем в сени. В темноте обняла и шепнула: «Батя тоже узнал об Любкином прошении. Сердитый, — присудят если платить — нипочем замуж не отдаст». Васька прижал тонкую и ловкую девку к рубленой стене и, нашарив груди, крепко до хруста сжал в пальцах.

— Не отдаст — сами возьмем, какие дела!

Сойдя с крыльца, он остановился. Очень не хотелось уезжать от девки. Повиливал гибким кнутом по снегу и уговаривал выйти завтра на улицу. Черноглазая девка жеманилась, закрывала концами платка яркие смеющиеся губы.

— Одевай шубейку, поедем на рушку, — сказал Васька.

— Ты скинь мешки, да прокати по селу. А то у нас нет такого жеребца, — дразнила Настька. И вдруг шлепнула ладонью по полушубку и крикнула с крыльца: — Вези, а то рушель рушку запрет, без блинов оставишь своих!

Васька вскочил на мешки и тронул. Его распирало от молодого задора, от Настькиных поцелуев, от нового полушубка. То припускал рысью, то натягивал возжи.

Жеребца он считал почти своим. Было решено — если Ивонькины не загордятся своей Настькой, чтобы не ударить лицом в грязь перед богатой семьей — жеребец пойдет ему. Сама Настька тоже нравилась парню. Даже тем, что не особенно давалась на уговоры и с улицы убегала раньше всех. После Любки была первой красавицей. О Любке вспоминалось неохотно. Она теперь не в счет. Похудела, по лицу пошли коричневые пятна после родов и платок носит как баба.

«Против отца надо итти, а из какой корысти», — так кончались мысли о ней.

3.

На рушке было завозно. У коновязи стояли лошади, в санях, как свиные туши, лежали длинные мешки. Из открытых ворот летела черная как сажа пыль и садилась на снег. В полумраке вертелся жернов, ходили толкачи, похожие на слоновые ноги, и топтали пшено в ступах. За стенкой щелкал кнут, и непрерывно слышался крик мальчишки:

— Эй, они! Эй, пошли! Э-э-й!..

Покрыв вспотевшего жеребца веретью, Васька влез в грелку — маленькую сторожку. Там было битком. В ожидании очереди мужики сидели за столом и лежали на земляном полу.

— Нашего полку прибыло, — встретили его. — Садись на чем стоишь!

Лохматый, как барбос, мужик, сидя на полу, рассказывал:

— Да как же, говорю ей — ты по домашности, а кто добытчик? — Она свое: такой же и мой труд, как и твой. Ну, хорошо, — почесал затылок рассказчик, — дело в суд. Все скрозь пополам постановление вышло. Што ты будешь делать? Как одну лошадь делить станешь? Продать-пропить вместе?

В махорочной полутьме сделалось тихо в ожидании.

— Што же, приходим с суда домой — я и давай свататься к своей же бабе. И так, и сяк. И ручкой, и ножкой — по-мещански. Баба моя сидит, слухает. Разрумянилась, как девка, — клюет значит. Ндравится обхождение. Похлебали ужин, разулись, честь по чести и на печку греться. Тут и свадьба наша новая была!

По избе раскатился смех.

Из темного угла вылез горбатый, весь в муке, снял шапку и, чернеясь на белом окошке, шевеля длинными, словно чужими, руками, начал:

— У кого есть нажиток теперь, знамо — труба. А вот слухай суды. Жил тоже, вот как ты, мужик с бабой. Жили-жили ничего, а тут и поехала. Чист сахарная стала, аль из хрусталя. Ни матюком ее, ни пальцем тронуть не можно. Разь без этого проживешь в нашей стране? Вот пришел он на Миколу из гостей под этой штукой, — мужичек щелкнул себе по горлу, — ей значит не по шерсти, што один ходил в гости. Пилить. Он, известно, врезал ей разок. На утря она подол в зубы, да в суд подалась. В развод, значит. В суде он ей при всех и вякни:—Дура ты, говорит, дура. Чаво делить, чаво суд беспокоить? С чем сходились, с тем и разойдемся.

Снова грохнуло в избенке раскатисто и неудержимо.

Из-за стола огромный мужик крикнул:

— Васька, ты чего, народ весь веселый — ты только тверезый один?

— Да вот тоже ряда завелась... — сказал небрежно Васька в общий тон.

— С Любкой, што ль? Плюнь и разотри валенком. Ихнему брату только поддайся — сядет на шею, прилипнет, не скинешь. Ты вот обещай могарыч, да слухай, што тебе скажу!

— Это беспременно, — торопливо сказал Васька.

Мужичище пробрался по спутанным ногам и взял парня за плечо.

— На закон есть закон. Есть у тебя ребята свои, штоб дружные? Много не надо, а чем больше, тем лучше. И вали их в свидетели — дескать она гулящая. Чей ребенок, спрашивается? А кто его знает.

— А верно это?

— Дурак человек! Ему дело, а он — верно. Пошевель мозгами — может, у ней их сто мужьев было по нонешней слабине.

Мужики одобрительно галдели:

— Прямо зашшитник ты, Тимоха! Надо к тебе, чуть недотолчка в этих делах!

Возвращаясь, чем ближе подъезжал Васька к селу, тем веселее глядели его серые глаза. На мягких мешках с лузгой сидеть было удобно. жеребец, продрогший, весело взмахивал гривой. Мимо Арининой избы пустил полной рысью. Показалось — в окне мелькнуло Любкино побледневшее лицо, он дерзко выпрямился и провалил мимо, не обернувшись.

4.

Был ясный, морозный, настоящий зимний день. Мужики в халатах, отвернув лица от сиверки, торопили лошадей в луга за сеном, пока не задуло снегом.

На маленькой буланой кобылке председатель заворотил к Арининой избе, вбежал и, не прикрыв двери, крикнул сквозь воротник:

— Тетка Арина, получи, на, Любкину повестку. Зайди расписаться в совет!

Любка вертела в руках бумажку. До этой минуты смутно надеялась, может быть, не придется своим собственным языком топить Ваську. От белого клочка в избе сделалось холодно. Поджав губы, чуть побледнев, она хватала ухваты, двигала горшки, встав на приступку, ворочала рожь на печи, как автомат качала зыбку. Арина с торжествующим лицом поглядывала на дочь и на повестку на столе.

— Достукался, молодчик! Пущай повертится перед людьми!

— Ох, маменька, да неужто в самом деле мне такой позор терпеть?— прошептала Любка.

— Чем об глупом думать, об деле надо поговорить, што в суде будешь показывать.—Арина всплеснула руками.—Да это люди на свете живут! Ни одна сучка не согласилась пойти правду показать. У них под окошком убей человека — с печки не слезут. Хучь суседи — все дочиста видали, как он в клеть да из клети лазил, подлец. Только што это самое не застигли.

Узнав о повестке, сошлись бабы. Сидели с любопытными глазами, вздыхали, тихо, словно в доме покойника, шептались. Старуха с восковым лицом, вездесущая гостья на свадьбах, крестинах и похоронах, раскрипела:

— Недурно говорится — суд откажет — и сраму на всю село, ни при чем. В нем, в суде-то, не скажешь, как попало по-деревенски, надо язык наш суконный выгладить спервоначала. Эх-хе-хе, грехи наши грешные! Молчать бы бабе надо. С чего голос подняла, чего добьесси против мужика? Хучь на силу взять — у него кулачище, а у бабы што? Шиш один. Видать терпи. Спокон веку так, — мужик хозяин: и побьет, приголубит...

Арина бросила возню и развела перед старухой руками.

— Вот так-то, милая, мы и лезем под них. Садись, сокол ясный, погоняй кнутом. Он тебя хлыщет, а ты ему — спасибо, дядя!

В глазах баб зажглись искры. Сначала посмеялись, потом сделались серьезными их желтые увядшие раньше времени лица. Заговорили крикливо и назахват о своей неволе, о бабьих правах. Молодая с горячими глазами, словно перед ней стоял ее мужик, сыпала как горох из гарца:

— Он, гладкий чорт, отпахался, аль откосился, у него вздох есть. Пойдет самогону натрескается, аль на спектаклю эту — сидит ощеряется, аль на сходке горло дерет, а ты как проклятая и день и ночь, и день и ночь на цепи возле избы. Ни тебе праздника, ни тебе остановки. Язык высунув ночи ждешь, ан нет, ложись к нему под бок, его ублажай. Возишься с ним, а на уме одно — корову бы не проспать. Ребят одних шлепать руки отсохнут. И опять же ты не добытчица, ты — баба, ты — никто!

Другая, не дав кончить, подхватывала:

— А какие, кобели, все до единого завистные! Какая у него ни будь баба раскрасавица-разумница — все одно на другую карман у него топырится, у охальника. Как козел бородой трясет, ищет ходит, верное слово!

Хучь про своего скажу, хучь про каждого. Вон Андрюшка Прохоров — чего нашел сладкого в Аксютке, а своя баба чист картинка!

Сосредоточенно одними губами смеялись. Сыпались сплетни, рассказы. И действительно, казалось, нет ни одной семьи, где бы жили без пятна, в согласии. Вся вина валилась на мужиков.

Только старуха злобно вглядывалась в бабьи лица и словно ворон каркала:

— На словах-то мы мастерицы. И закон узнали, и до мужика рукой достали. Ну, и живи с ним, с законом с одним. Чудно вы штой-то придумали. Да как без него, без мужика, прожить в хозяйственной жизни — вы бы подумали. Взять вот и Любку. Чего на зло лезть через колено ломать? Покорилась бы участи — может, подумал бы он, Васька-то, аль какой другой увидал бы кротость, взял.

Арина не уступала. За спиной тянулась незабытая бабья жизнь с покойным мужем.

— Теперь, матушка моя, кротость не при чем осталась. Только и ждут девку подобрее, да подурее на это. Как щуки цапают. Нужна им теперь эта кротость. как же. На неделю кажная сгодится. — Вот и думала, ночи не спала, как с этим делом быть. Насильно отдать — не пойдет, да и нет нонче правов на это; окрутить с Васькой — аркан на него не накинешь, не притащишь. Как пустить на волю божью — ничего окромя не придумала. Думала — нешт без церкви не живут? Вон не далеко ходить вальщик Степа — двадцать годов прожил, схоронил — не бросил. Как тихое лето жизнь прожили. Мы с тобой, матушка, видали, ской от старого-то закона было сладко. Будень в каторге, праздник — в синяках. Не хотела я этого дитю своему. Думала, надеялась по новым правам будут жить, по добровольным.

— Вот от этого самого и пошло, от легкого порядка! Зря ты, Арина, за их руку взялась. Старое-то сколь веков укреплялось, не зря ума!

— Хорошо было, верно твое. Как змеи ненавидют друг друга, а разойтиться не моги. Бей, а живи, битая ходи, а живи!

— А то как же, касатка, ты думала? В этом и крепость была, а то в чем же!

Старуха вдруг поднялась и заторопилась.

— Засиделась я с вами, заспорилась. Поди, матюки уже собирает старик мой. В окошке дыры проглядел — ужин подавать пора.

Бабы засмеялись.

— Сама всю жизнь страдает, а другим добра не хочет!

Бледная бабенка в синем платочке улыбнулась на сборы и торопливость остальных гостей.

— Мужики по сено уехали — мы бунт подняли, а приедут — опять по-овечьи шеи протянем.

У этой бабы было свое горе. Муж взял другую, а ее прогнал с тремя ребятишками. Она боялась и стыдилась подать в суд, но жадно ждала

и ликовала, когда слышала об удачном для бабы судебном решении. Она судорожно вздохнула и впилась горящими глазами в Любку.

— Нипочем не склоняйся на мировую, не слухай их, чертей окаянных. Чего меня в свидетели не кликнула? Два шага всего добежать, слово сказать. На все пойду против них, подлецов!

Любка молча просидела возле зыбки. Куталась в рваный зипун и чувствовала, как злоба бабьих голосов, словно гнилое болото, разлилось вокруг. Она вскочила и схватила синюю бабенку за руку.

— А если так выходит: по нем бить, а себе больно?

— Это шож такое? — удивилась баба. — Вот оно и есть — привыкли мы дюже к покорности. От этого и больно. Как клячи сами в оглобли заходим. Откачнуться надо от старой жизни. Стара я стала, никому не нужна, а то б я покомандовала над ними!

5.

Уже горела лампочка. Арина собиралась лезть на печь спать, как неожиданно пришел сам Мирон Василич. Он не особенно доверял подставным свидетелям Васьки и пошел сбить на мировую. Дождался вечера, не хотел, чтоб видели люди. И так много разговора по селу.

Степенно помолился.

— Здравствуйте все!

Не глядя в глаза, уселся на лавку, пригладил голову и бороду, оперся на ореховый гнутый бадик и, приготовясь к борьбе, поднял глаза. Еще не остывшая Арина ядовито протянула:

— Ды и то давно не был, годов шестьдесят, аль как? Спасибо на доброй памяти.

— Чегой-то ты так?

— А тогой-то. Васька твой хорош вышел. Распустил дюже, — скажу я тебе!

— Чего с дурака спрашивать. Знамо — волк в лес глядит. Надо обдумать сумeстно. Пришла бы к Мирону Василичу, так и так, мол, такое дело, надо девку из пролуби доставать. По чести скажу — к себе поджидал. Гордость не большая, што к бедному классу записана. Жизнь по-своему пишет. Брюхо за хлебом, а не хлеб за брюхом. Я вот не почел за труд. Отчего не помочь добрым словом? Авось не глупее их, молодых, придумали б што-нибудь.

Арина слушала, не моргнув глазом.

— Спасибо, Мирон Василич. Добром-то завсегда спорее. Грех поведется — жизни не рад будешь. Мы в суд, вы в пересуд. Кляза одна.

Старик потерял торжественность. Глаза его сощурились.

— А што суд? Вы с дитем, а мы со свидетелями.

— Об чем ваши свидетели, дозвольте спросить?

— Известно об чем, — старик кивнул бадиком на зыбку,— оно, поди, не мечено, ухо не резано. К примеру говорится, вы скажете Васькин, а люди — Колькин с Петькой.

Арина как кошка облизнула сухие губы.

— Вот с какими делами ты пришел, с хорошими...

Любке казалось, что она плывет по глубокой воде. Не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, вот-вот захлебнется. Вдруг припала на край зыбки и затряслась. Старик злобно глянул на ее спину.

— Москва слезам не верит. Сами хвостом крутят, манят ребят, а потом зыскать норовят не знамо с кого, в кого пальцем ткнется. С одним каким жила бы, может, не такими бы глазами взглянул. Кому охота в грязный котух лезть, коль рядом чистый дом порожний?

Любка вытерла лицо рукавом.

— Неправда это, батюшка, неправда неправедная! — злобно тряхнула зыбку. — Вот нате вам его, отнесите Ваське, пущай скажет, чей он есть. Провалиться на этом месте — с одним жила, с ним. Как лапоть к ноге привязалась, никого опричь не видела, близко не пущала!

Старик стоял высокий и острый как топор. Медленно одел шапку.

— Запрашивай, тетя Арина, не брыкайся. Ближняя соломка лучше дальнего сенца. Суд на-двое может осудить, — поди, не купленный он у тебя.

— Твои слова наперед, за что купить хочешь?

— Продешевить боишься?

— А то не боюсь. Слезы сиротские продаю!

Любка оставила зыбку и встала перед стариком.

— Не надо мне ничего за горе свое. Как овечку на базаре покупаете. Пущай моими слезами руки моет!

Арина крикнула «молчи» и, прожигая старика глазами почти ласково, сказала:

— Говорить бы не стала с тобой, с порочником, да по судам не таскалась сроду. По пятерке на месяц — покеда ребеночек хлебушек исти станет — мы согласны. До десяти годков, одним словом.

Старик рассмеялся хриплым смехом.

— Маханула вороная на раскате. Прощевайте, не обессудьте на худом слове.

Из двери он презрительно оглядел убогую хату.

— Может, оно и хлеба не увидит николи, аль без зубов вырастит, а я и пхай в него пятерки?

— Да твоей породы-то, Мироновской,—чего испужался? Авось как у тебя были, так и у внучка будут зубы. Штой-то ты уж так свою породу пакостишь!

— Овечку получай — и греху конец. Потому время не дозволяет.

Арина попятилась и замахала руками.

— Иди, иди от греха, не выводи на нехорошее слово. По-прежнему ты и дорогу не нашел бы к Арине, да обратили вас, идолов!

Мирон Василич стукнул бадиком о пол, желтая борода как железная лопатка уставилась на бабу.

— На паскуднице заработать хочешь? — кинул он и шагнул в дверь.

Выскочив следом, Арина кричала в темноту:

— Ишь, пес полосатый, азият старый. В гроб пора, а он ползает, окаянный!

Ветер подхватывал слова и как грязь лепил в спину старика. Он шагал, не разбирая, куда поставить ногу.

В избе вопил ребенок. Любка боялась шевельнуться, протянуть руку к зыбке.

«Вот он што, подлец, придумал», — стояло в голове.

6.

В день суда в Арининой избе задолго до света краснелось окошко. Там собирались, словно к заутрени. Пекли пышки, сушили пеленки, обували новые лапти. Лицо Арины, освещенное пылающей печью, было решительно и торжественно. Двигалась и произносила слова не как обыкновенно, рывом и злом, а будто в последнюю минуту перед исповедью.

— Любонька, ты б надела мою старенькую юбченку, внизу не видать, все теплей будет итти.

Любка пеленала мальченку. Предстоящее свидание с Васькой на скамье перед судом наливало усталостью и руки, и ноги, и все тело. Если бы не мать — легла бы на пол, закрыла глаза и не дышала. Когда Арина побежала к соседям попросить присмотреть за избой — торопливо оглянулась, и в глазах у нее мелькнула странная искра, словно она что-то сделает страшное. Но только прошептала:

— Не пойду я.

Уже одетая, готовая в дорогу, в юбке с шелковой оборкой от материной венчальной юбки, в новых твердых лаптях, тяжело и упрямо села на табурет.

— Да не пойду же я!

Арина молча подала ей на руки ребенка, завернутого в лоскутное одеяло, и вытолкнула в сенцы.

День был тусклый, морозный. На колодезных шестах, на плетнях, на одиноких деревьях висел мохнатый иней. Вороны неподвижно сидели на «журавлях» и грели ноги в ожиданьи помоев. Белый снег рдел и резал глаза. Серое небо как котел лежало краями на концах дороги.

Любка шагала осторожно в необмятых лаптях, боясь упасть с лоскутным узлом. Часто приостанавливалась, приседала на одно колено, разворачивала узел, чтобы взглянуть. Сонное мокрое личико беспокойно морщилось и начинало чмокать и возиться.

В лощине мальченок раскричался, — повидимому, обмочился. Любка встряхивала его вверх и вниз, вправо и влево и пела про серых котов. От села быстро приближалась лошадь (в высокой дуге).

— Подвода едет, подожди шагать, может, подвезут, — сказала Арина.

Крупная лошадь взметывала снег мохнатыми ногами. Путницы торопливо сошли с дороги. В новых крепких санях с передком мчались оба Мироновские — отец и сын и их два свидетеля. Правил сам старик. Петька и Колька лежали на сене в заду. В самое лицо с конским топотом ударил гик и смех:

— Свидетеля несешь?!

— Садись, подвезем!!

Мохнатые лапы жеребца мотались уже далеко, сани, повиливая задом, плыли по стеклянной дороге, уменьшаясь с каждым мгновеньем. И мать и дочь испытали одно и то же — бессилие и злобу.

В городе спросили у прохожих и скоро нашли нарсуд. У длинной изъеденной коновязи стояли лошади. Возле саней торчали скучающие мужики и бабы, словно возле мельницы, куда неохота, но надо ехать и ждать очереди. По кочковатой лестнице, заплеванной и залузганной, поднялись в махорочное сизое облако. Продрались сквозь стену полушубков и халатов в залу. Отрясли снег у порога и со смущенными красными лицами, робко оглядываясь на стол с белой, словно вылепленной из муки человечьей головой на коротком туловище, на стены, убранные елками и портретами, уселись на длинную скамью в самом уголке у стены. Зал огласил звонкий крик ребенка. Вокруг толклись. Мужик, со связкой баранок на одном плече, с желтой новой хомутиной — на другом, уставился Любке в лицо насмешливыми глазами; баба маленькая и толстоносая что-то говорила и учила, как унять крик. Любка шептала, качала, баюкала, наконец, отвернулась от мужиков и вынула грудь.

Арина чутко прислушивалась поверх голов, боялась пропустить каждый звук у стола.

— Здеся, мы самые, — вдруг крикнула она и потащила Любку за рукав. — Замотай скорее кличут нас, да спрячь вымя-то, бесстыдница!

У стола стоял человек с бумагами.

— Сюда идите. Вот садись, — посадил он Любку на переднюю скамью. — А ты, тетка, куда лезешь? Иди отсюда!

— Мы мать ихняя, куда же девку одну я оставлю? — попыталась упереться Арина, но решительная рука вывела ее за край скамьи и подтолкнула. — Раз говорят иди, значит иди. Что тебе керосин тут выдают, что ли!

Любка сидела, опустив глаза. Было стыдно оглянуться на толпу. Через минуту рядом сел Васька. Он был красный, от полушубка тянуло приятным запахом новой овчины. Сердце застучало. Любка отодвинулась. Хотелось сказать что-нибудь обидное, чтобы не волноваться, но боялась, что нельзя говорить перед красным столом. Долго крепилась, наконец не выдержала и повернулась вспыхнувшим лицом.

— Вот довелось опять рядышком посидеть...

Васька вскинул брови, от него дохнуло самогоном. В ухо шептала Арина:

— Мировую просит старик, телку дает теленую — я не беру. Ты не пужайся, не спужайся, стыд не огонь, пожара не наделает.

Вдруг, заставив вздрогнуть, человек в пиджаке крикнул:

— Встать, суд идет!

Арина чуть не села мимо скамьи на пол, Любка побледнела. За столом были судьи. Посредине — с бритым лицом, самый главный — сейчас же вник в бумаги. По сторонам двое попроще: они равнодушно отвернулись от стола на толпу и ждали. Главный нашел бумагу и начал читать.

Наморщив лоб, уставив глаза, девка слушала о том, как ее обманул Васька. Когда судья кончил чтение и вызвал ее — встала и с дрожью в голосе от вновь пережитой обиды проговорила:

— Маменька к учительше ходила, они и написали. Мы не отказываемся от иску.

— Ну, расскажите суду, как было дело.

Минуту стояла молча. Было тихо, как в погребце. Арина тянулась со своей скамьи и шептала в тишине:

— Говори все как есть, чево на него глядеть! Не воровка какая-нибудь!

— Гражданка на второй скамье — прошу замолчать, — сказал судья, — иначе вас выведут из суда!

— Мы мать ихняя, дозвольте нам объяснить.

Любка оправилась и громким деревянным голосом проговорила:

— Там все прописано в прошении. Все до одного словечка истинная правда. Не за себя пошла страмиться. Дите не виновато — не дай бог без куска хлеба останется без отца. Больше ничего не можем доказать. Может, будут што показывать — как на духу — с одним жила, с одним грех имела. Не скроешь, вот он, — Любка шагнула к столу, — весь в него вылитый, хучь патрет сымай!

Когда села — дрожала всем телом, лапти стукали о пол. От ожиданья Васькиных слов беспомощно озиралась, но со стены глядели строгие лица и не могли помочь. Когда Васька заговорил — чуть не уронила с колен ребенка в лоскутном одеяле. Он стоял боком, напряженно оттопырив локти, с потом на лбу. Шапка лежала на скамье. Судьи внимательно слушали и, казалось, всему верили; приветливо кивали головами.

— Так сказать мы знакомы действительно, — говорил он, — но не в том порядке, как они доказывают.

Судья сделался серьезным и в упор глядел на него.

— Вы отказываетесь, что были с этой гражданкой в близких отношениях?

— Ну, конечно, не без этого. Приходилось. Только в рождении мы не виноваты, товарищ судья. Как она человек, прямо сказать, гулящий — у нас свидетели есть.

— Теперь уже вы признаетесь, значит? Так и говорили бы сразу. Почему же от вас не может быть ребенка, — вы чем-нибудь больны?

— То-есть нет. Вроде я специалист на гармошке, ну по деревенскому обычаю завсегда на улице...

Любка напряженно глядела на смущенное лицо Васьки. Он запутался и умолк.

И вдруг судья задал неожиданный вопрос:

— Скажите, когда вы в первый раз легли с ней для этого дела, — она честная оказалась или уже нет?

Васька встрепенулся и махнул рукой.

— Какое там. Можно сказать — ничего подобного!

Любка словно упала в черную яму на острые колья. В притихшей зале не было воздуха. Она ловила ртом и не могла крикнуть, что он врет, что он подлец и негодяй.

— Садись, — сказал судья. — Позовите одного свидетеля, — и что-то зашептал направо и налево. Головы судей сошлись над столом, было похоже, что они нюхают бумагу.

Петька стал во фронт, вытянул руки по швам и одним духом, не ожидая вопросов, вылил все, что затвердил:

— Обстоятельственно рассмотреть с точки зрения — то мы все трое с ней гуляли. Поочередно. Как она беспризорная.

За столом заулыбались. Любка не выдержала, вскочила и крикнула:

— Перед всем народом открылась — с одним имела грех, с Васькой Мироновским. Врет он. Врешь ты, Петька, не гуляла я с тобой отродясь, за это, может, и в свидетели пошел. Укажи, в каком месте я с тобой была! — Долго волновалась и не могла усесться.

— Успокойтесь, истица. А вы садитесь, — кивнул судья Петьке.

Следующий свидетель — Колька — был явно пьян. Вальяжно разводил руками, как в своей избе, улыбался и нес сплошную отвратительную ложь.

— Может, год аль два открыла она эту лавочку. Завлеченье с их стороны настоящее. Вроде проинститутка она, граждане судьи. Если б не женский пол — можно бы рассказать, как она это дело до тонкости прошла, чист городская...

Лез к столу, уронил шапку и топтал ее валенками. Судья покраснел как кирпич и даже поднялся.

— А скажи, кто тебя самогоном угостил?

— Это они, — указал Колька на Ваську. — Потому потеря времени...

— Довольно, садитесь, свидетель!

Колька растерянно и обиженно бормотал:

— Нет, дозвольте, почему же нельзя? Мы не сами его гоним. А это мы не при чем, если она со всяким может дело иметь женское, по десять штук будет их рожать.

В глазах Любки клубилось от гнева. Броситься бы, схватить за горло, чтоб замолчал. Казалось, все в зале поверили в то, что она распутная девка. Кругом загалдели, задвигались, за столом не было уже судей. Арина дергала за платок, но она ничего не слышала и не видела, кроме тумана и желтой полы Васькиного полушубка. Истица и ответчик не двинулись с места, боялись оглянуться. Любка от стыда, Васька от страха увидеть глаза отца.

Снова сделалось тихо. Судья, не садясь, неразборчиво читал бумагу. Повысив голос, вдруг четко проговорил, подняв глаза на толпу:

— Ввиду чистосердечного признанья всех троих в сожительстве с гражданкой такой-то, суд постановил: по пять рублей в месяц на прокормление ребенка до совершеннолетия, до восемнадцати лет.

Колька бросился к столу:

— Дозвольте, гражданин судья... Это не при чем за товарища отвечать, надо разобраться в деле!..

Но судья скороговоркой бросил:

— Решение суда подлежит обжалованию в губсуд в двухнедельный срок...

Заскрипели двери, вместе с толпой Арина с Любкой вытиснулись к выходу. В сенцах, в самых дверях задержались оба Мироновские и их свидетели. Старик, багровый и разъяренный, выкрикивал матерную брань. Васька пытался проскользнуть, но не решался. Арина испуганно попятилась и оттащила за рукав Любку. В одно мгновенье в руке старика взметнулся бадик и как молния описал дугу. Васька поднял руку и откачнулся, бадик звякнул по стене на вершок от его головы. Раздался хриплый стон:

— Голову расколю сукину сыну!

Обождав, пока уедет старик и уйдут парни, мать и дочь поплелись к селу, озираясь и пугаясь каждого встречного.

7.

После суда, еще в городе, Васька и ребята загуляли с горя. Пришли в село ночью. Так и пошло. Пили сначала на деньги, потом в долг по самогонщицам. Спал Васька — где свалится, пожелтел, осунулся, ходил на распашку, без шарфа и кушака. Или потерял, или пропил — не помнил. Отчаянно растягивал гармонь.

— Годные гуляют! — кричал он и мотал кудрявой головой. — Забрили!

Приходила мать, робкая, тихая старушка, и в избы самогонщиц, и в толпу на улицу, поднимала желтое лицо в черном платке и Христомбогом молила итти домой, обещала, что отец не тронет, но Васька не верил.

В один из вечеров с пьяных глаз приперся к Ивонькиным. Тянуло к Настьке. Но сухая хищная баба, как злючая сука, встретила на пороге:

— Здравствуй, зятечек нареченный, гость жданный! Как тебя ноги занесли суда? Иди к Любке, непутевая голова, нету тебе делов здесь, иди!—И защелкнула за следом на крючек.

Хотелось повыбивать окна, но еще на что-то надеялся, отложил. Искал поговорить с самой Насткой, но на улице Настька держалась в отдалении и при малейшей попытке ускользала, как вьюн, и задорно пела:

Не стой у ворот,
Не махай фуражкой,
Я теперь не твоя,
Не зови милашкой!

— Пятерки будешь Любке носить, а с другими на сухую? То ли не жених навязался!

Шел пятый день после суда. В сумерках уже вылез Васька в помятом полушубке из избы самогонщицы на улицу и заиграл. Заслышав подмывающие звуки, девки захлопали дверями и прислушались, где играет гармонист.

Васька шел вдоль улицы, как волшебник, вокруг все разрасталась толпа, через полчаса гулянка была в сборе. Петька с Колькой пришли после всех. Холодно поздоровались и вмешались в кучу к девкам. Они уже не раз начинали ссору с Васькой за эти дни с явным намерением довести до мордобоя за суд, но он избегал драки, зная, что сторонников у него мало из-за ревности и зависти к успехам на улице.

В избах светились окошки и поливали снег розовым жидким светом. Снег хрустел под каблуками франтих в гусариках и франтов в сапогах. Гармошка пела все веселее и задорнее. Девки то совсем окружали гармониста, то вдруг отставали — сердились на Ваську за Любку и за Настьку. Петька с Колькой шептались с ними. В толпе слышалось подзуживание на ссору.

— Дураки ухастые, послухались товарища, пошли отнесли деньги в суд!

— Троих оженила, вот так девка! Теперь с приданым за городского выйдет, аль за председателя!

Васькин взгляд вдруг упал на избенку. Он остановился, осененный. Гармонь застонала и смолкла.

— Ребята, Колька, Петька, айда! — крикнул он и зашагал с дороги по глубокому снегу.

Вспыхнуло желание сорвать злобу и сделать что-либо вместе с ребятами для примирения.

Завидев толпу через окошко, Арина заметалась, в испуге затрясла Любку.

— Прячься, ледащая, не с добром идут, лезь под кровать!

— Да куды я денусь, мышу негде схорониться. Пущай, один конец. И так в темнице сижу, жизнь не мила!

Васька барабанил в окно.

— Эй, отворяй ворота шире, принимай мужьев!

— Три бутылки, три кровати ставь, — вторили Колька с Петькой и подбадривались гоготом: — Го-го-го!

Из избы донеслось:

— Хучь углы подымай, не впущу!

Васька уперся ногами и рванул дверь. Впереди ватаги ввалился в избу. Раскорячив ноги, остановился посередине пола и, тяжело дыша, как бык поводил глазами то на Арину, то на Любку, не зная с чего начать. Зыбка остановилась, только крутилась на подвеске. Васька загоготал:

— Ребята, бери зыбку, давай глядеть, что за зверь от трех родился. На кого больше схож, тому всю контрибуцию платить!

Арина как натянутая струна стояла наготове.

— Тише ты вякай, дитё напужаешь, не тебе за ним ходить!

Васька осклабился и пьяными руками потянулся к зыбке. Позади со смехом лезли парни, за ними в открытую дверь заглядывала вся улица. Несло холодом. Арина с криком бросилась на Ваську и вцепилась за грудки.

— Только шелохнись — в горло вопьюсь как волчица, — прохрипела она, словно подавилась.

Любка молча вне себя оттолкнула Петьку и обхватила пьяного поперек туловища.

Васька отделился от пола и поплыл раскорячив ноги к двери. Хватался за косяки, бил наотмашь по голове. То ли был озадачен, то ли был очень пьян — дал вытащить себя в сенцы. Скверно выругался, растянул гармонь и, нажав на все лады, издал оглушительное рычанье. Кто-то из ребят крикнул на улице:

— Пошли, а то он, стерва, опять под шары подведет!

Лунный свет бросал тени на голубой снег. Песни не пелись, девки раскучали. Улица стала расходиться. Сквозь муть в глазах Васька вдруг заметил, как Настька отделилась от девок и пошла одна в свою сторону. Не отдавая себе отчета, о чем будет с ней говорить, он закинул за спину гармонь и побежал за нею. Девка оглянулась, показала кулак и, весело развевая юбку, пустилась на утек. Петька с Колькой толкнули друг друга, прихватили третьего и быстро зашагали следом.

— Ваську бить пошли, — просто решили в толпе, — айда глядеть!

Васька бежал, протянув руки для равновесия. Девка куда-то мгновенно скрылась, ее уже не было на дороге, но он продолжал бежать, не слыша за спиной скрипа снега. Петька подставил ему ногу. Думал, что споткнулся, стиснул зубы и выругался. Вскочил, хотел снова бежать, но его не пустили.

— Стой!! Получай пятерки!..

Петька ударил сбоку и через ногу повалил Ваську на прежнее место лицом в снег. Поняв в чем дело, Васька скинул гармошку с плеча и бро-

сился на противника; сзади со всего размаха новый удар полыхнул по уху. На снегу сцепились все четверо, молча нанося удары.

Слышалось пыхтенье, бормотанье и хлест ударов. Васька был кренок, как дубовый коренек, от которого отскакивает топор. Лицо его пылало от горячей крови, от непрерывных ударов из глаз брызгал искристый фонтан, мешая видеть врагов, но он не давался. Удачными тяжелыми ударами он опрокинул двоих и прохрипел торжествующе:

— Мать вашу... нарезались! — но снова свалился в снег. Третий, соединив в одно оба кулака, с разбега оглушил в висок. Падая, рассчитал так, чтоб навалиться на Петьку, и обхватил его горло, как тисками. Пальцы выворачивали, ломали, они трещали и, наконец, разжались от удара каблуком по лбу.

Девки жались друг к дружке и темная стена, как стадо овец, то надвигалась, то шарахалась прочь. Парни крикливо спорили и готовы были вмешаться в драку.

Завернув полушубок Ваське на голову, ребята били его уже без сопротивленья. Удары хлестко сыпались на обнаженную из-под разорванной рубахи грудь.

В толпе вдруг раздался пронзительный вой. Не выдержала одна из девок. Не переставая выть, побежала по дороге. Мгновенно улица опустела. Васька остался один. Ворочался в снегу, плевался, хрипел, долго не мог распутаться в полушубке и встать с четверенек.

Зацепив каляной рукой за ремень гармошки, толкая об нее коленом, Васька вышел на дорогу. Шмыгал по лицу рукавом, размазывал кровь, не знал куда итти. Тень впереди качалась. В тяжелую голову сквозь узкую щелку пролезла мысль: «У Любки можно ночевать, авось не прогонит. Суд судом, а не замерзать же на улице». Несколько мгновений колебался, что-то похожее на стыд удерживало его. Но махнул рукой, выругался, сообразил, в какую сторону итти, и, выписывая ногами, поплелся по улице.

Аринина изба глянула темным недоверчивым глазом. Кругом была ночная тишь. Громко постучался.

Любка и Арина соскочили с печи и подкрались к окну.

— Васька опять, — прошептала Арина, — не показывайся, ради создателя. Постучит и уйдет. А то выйти ухватом проводить, окаянного!

В окно, освещенное луной, глядело страшное кровавое лицо без шапки.

Любка дрожала, прижимала руки к груди, чтоб не стучало сердце.

— Маменька, пускай взойдет, дюже избитый, замерзнет на дороге.— Руки ее метались, хватали материну рубаху. — Пущай взойдет, маменька!

— Каб не впустила после его милостей!

Снова раздался стук по стеклу.

— Не впустишь, сволочь?! — И следом сильный удар вышиб гнилую раму. Стекла посыпались на пол.

Васька уже был на дороге. Короткая широкая тень шагала впереди, размахивала руками и грозила:

— Только вдарь попробуй. Нет правов, прошла ваша воля, а ночевать обязан пустить. Бороду вырву, плешь продолблю, — только тронь!..

8.

Все село знало, какой скандал был ночью у Мироновских. Васька долго не выходил на улицу. Вышел — худой, будто ростом меньше стал, не на парня был похож, а на мужика. Без гармошки и шапка была уже не на ухе, а как у всех людей.

— Волосьев-то поменело, видать? Вихор-то аль в чирюльне обстригли? — смеялись девки.

— Тоже спуску не дал, даром, что пьяный был, — неохотно огрызался Васька.

Много толков было. Мужская часть стояла за старика, женская — за Арину. Ваську жалели.

— Объегорили малого отец с братом. Парень все-таки был работник, слова плохого до этого нельзя было сказать.

Ребята толкали Ваську сгресть Любку в закоулке один на один и выбить из нее душу. Но он был растерян, не знал еще как и что делать.

Положение его в отцовом доме стало странным. Он оказался батраком у отца с братом. Ездил по сено, молотил на току, ворочал навоз, но руки плохо слушались, не лежала душа к работе. Из головы не выходил приговор суда, а с ним полная безнадежность что-нибудь устроить хотя бы в будущем.

Платить по пять рублей— значит отдавать весь хлеб, какой родится; не платить — всю жизнь хорониться от закона, от описи, не заводить лишней скотины, лишней вещи. Жеребца видеть не мог. Несколько раз, выбрасывая навоз, бил его в катухе толстой палкой, вымещал злобу на брата. Как на отнятое глядел на плуги, на веялку под навесом и готов был взять железный лом и исковеркать все до звания. Не доставайся никому!

Любкой никто не интересовался в этой истории. Если и вздохнула какая молодайка или разведенная, или как она же обманутая девка — то где-нибудь в кутке, втихомолку.

Зима плыла в голубых вечерах день за днем к весне. Любка — как отрубила после суда — не ступила через порог из избы, боялась ребят. Жизнь разломилась как коврига на два ломтя. Арина жалела и бесилась, глядя на нее.

— Вот и сиди весь век в девках, как краля благородная. Думала, утешит на старости лет дочка, — утешила, как же! Только и жди — голову отвернут. Или сам Васька, или Колька с Петкой!

Иногда и впрямь казалось — нет другого исхода, как веревка.

Единственную надежду, смутную и постылую, представляло замужество. Но женихи, которые объявились за короткое время после суда, были не молоды, немилы и бедны. Все трое были «пролетаристы», как звали их в селе. Захаживал сапожник Сафроныч Ежик, — маленький, согнутый, как стручек, и хромой вдобавок ко всему. Предлагал взять в починку обувь, какой не было. Приносил смазанные дегтем полуботинки и долго прикидывал взглядом к ноге Любки.

— Куда они мне, на нос одеть, — говорила девка, — подари другой, какая помоложе!

— Вы примерили бы, как бы велики еще не оказались, — говорил он. — Мы ж никакой цены не кладем за них!

Арина и разговаривать с ним не хотела. Таких ей не надо было и даром.

Каждую неделю заходил пастух с козлиной бородкой, — высокий, тонкий, прямой, как кнутовище. Рваный, торчащий желтым мехом полушубок его был подпоясан крученой лозиной. Зимой он плел корзинки, поэтому считал себя мастером на все руки. В первый же приход оглядел дверь, тупым топором подтесал порог, приладил — стало меньше дуть.

— Как оно без мужика в хозяйстве, — говорил он: — бабьей рукой и гвоздя не забьешь!

Ясно было, зачем ходят такие женихи. Предполагаемые пятнадцать рублей для нищих людей казались большим жалованьем, а изба с коекакой рухлядью — имуществом. Но Арина знала себе цену. Те же пятнадцать рублей позволяли быть разборчивей. Принимался и усаживался за стол только один Кузьма Петрович, — рябой гражданин неизвестного званья. До войны был сельским писарем, за пьянство был уволен, пропадал куда-то, явился после войны и в самый голод женился на вдовелавочнице. Когда жена после революции вновь открыла лавченку — был изгнан сначала из лавочки за растрату жениных денег, а потом и из мужей. Но за ним было преимущество, он был грамотный, «образованный» и мог помочь в тяжбе. Да и остепенился как будто. Два года на виду, ни разу не был пьян.

Любка, глядя на его глаза, всегда представляла себе маленьких черных тараканов, а рябое лицо его напоминало решето. Он засиживался подолгу, отрывал от дела и все рассказывал, как он по-«доброму» разошелся с женой.

— Нынешний закон, можно сказать, слободный, хороший — только несправедливый. Женскому полу — все удовольствия, а мужчине — ничего!

Пил фруктового чаю много, один выпивал целый самовар. Сначала снимал рыжее залатанное деревенским сукном пальто, потом оставался в одном жилете.

— Взять хоть теперь взыскание алиментов. Дело новое, трудное. Это мало, что суд определил, — надо знать, как опись сделать, когда, что аписать у ответчика. Сокрытия и в старое время было сколько хочешь, о теперь научились все, и концов не найдешь.

Арина благоволила к образованному человеку.

— Что мало пили, вода не купленная, взял зачерпнул, да еще самовар согрел!

Ходил Кузьма Петрович в облупленных калошах, зашитых суровыми нитками, на тоненькие ноги одевал для тепла широкие голенища. Однажды он прямо сказал:

— Большой труд и рыск надо положить на это дело. Народ темный, и хитрый. У него все есть, на жеребце катается, а пойди с описью — он бедняющий. Надо знать, согласны вы на наше соединение законным браком, — тогда будем хлопотать существенно, ближе к делу.

Любка упрямо твердила матери отказом. Но с женихом держалась сдержанно. Жизнь с каким-нибудь, но с мужем все же обещала отдых от страха и беззащитности. Особенно, когда думала о ребенке: сердце мягчело, как воск, и она почти уступала:

— Только дюже он, маменька, старый, да на мыша синенького похожий. Да чудной какой-то, ни мужик, ни кто!

— Больно надо тебе, кто он есть. Будет об хозяйстве думать, вырушит с Васьки да с ребят алимент — можно поправиться, чего тебе еще надо? Ждать молодого — сама стара станешь!

Не спалось, не лежалось, постыл был белый свет. Но как ни думалось — деваться было некуда. И, глядя на осевший и пожелтевший снег под лучами весеннего солнца, Любка все приветливее встречала человека с таракашками вместо глаз.

9.

Так прошла зима.

Занавозилась дорога, вышли в новом опереньи куры и петухи с красными гребнями. До самого вечера старательно разгребали лапами и уже кое-где закудахтали — занеслись. На полях вылезли белые волосы и затемнелись темные потные плешины. Наступила страстная неделя. По улице в строгих черных платках потянулись старухи с крючковатыми палками. Донкал будничный колокол.

Как-то утром, в необычное время, зашел Кузьма Петрович и сказал с таинственной улыбкой:

— В совет надо сходить, супризик есть.

— Да говорите, кому иттить-то?

— Истицу вызывают, Любовь Степанну. Исполнительный лист пришел.

Арина скинула с себя кацавейку.

— Иди сейчас же, авось средь бела дня никто не тронет, да спроси, как по ему получать надо!

Любка, оглядываясь по сторонам, шлепая по жидкому как кисель снегу, побежала в совет. Солнце играло в каждой луже и пускало дрожащих зайцев на белые избы. Словно вышла в первый раз после болезни. Встретив знакомую девку, постояла.

— Давно не видать тебя, Любка, — чист в монастырь записалась!

— Запишешься, милая, — улыбнулась Любка, — охота под ихние кулаки шею подставлять!

— Отбили бы раз и перестали. На пасху на улицу вышла бы. Скушно, поди, сидеть-то?

— А то, милая, не скушно!

В совете было много народа. Из рамок глянули, как и в суде, строгие лица. После солнечного света дунуло холодом. Постояла в стороне и робко подошла к столу. Секретарь заложил перо за ухо и поднял голову.

— Исполнительный лист тебе. Вот распишись в получении.

— Неграмотные мы.

Секретарь недовольно поморщился, окликнул ближнего мужика и ткнул в бумагу пальцем.

— Распишись за неграмотную. Учат, учат, а все неграмотные!

Любка держала в дрожащей руке лист и не уходила. Ждала, когда секретарь снова поднимет голову.

— Тебе чего? Иди, дорогой не потеряй, дома в сундук спрячь на память.

— Как это в сундук?

— Очень просто. Ничего с них не получишь!

— Щож так?

— Поделились все, последние портки не снимешь, вот що, — и перо забегало по бумаге.

«Аль тоже боисси заплатить кому?» — чуть не сказала Любка и повернулась от стола.

Снова шагала по солнечным зайцам. Забота с лица исчезла, как только сбежала с крыльца. Так и пошла бы все мимо, мимо, за околицу, в поле, до края неба, снег таял бы под ногами, курчавилась бы трава, над головой пели бы жаворонки. Легла бы в золотую высокую рожь и глядела на белых ленивых уток — облака в синем море.

Из-за плетня с проулка неожиданно выехал Васька. Возил навоз на пашню. Оба глянули друг на друга и опустили глаза. На грязной телеге лежали вилы, обмотанные красной навозной соломой.

— Здравствуй, Любка, аль не признала? — Васька потянул вожжи и остановил лошадь.

Лапти словно прилипли к грязи, Любка вспыхнула и насунула на глаза платок.

— Надо бы не узнать...

Васька поматывал спущенным через грядку лаптем, — Любка дрогнувшим голосом сказала:

— Поди сердце на меня до сих пор носишь за суд?

— А ты за прежнее небось не забыла? Поквитались значит. И на улицу не ходишь. Ребята пождут, пождут и забудут какая такая есть.

— Когда мне от ребенка ходить. Аль забыл про это? Отходилась, отгулялась, видать, с тобой с одним и то хорошо.—Любка глотнула горечь. — Вам все шутейные дела...

Васька поднял вверх лицо и зажмурился от яркого синего неба. [Д]ень был действительно отменный. Солнце наливало тело могучей силой, [х]отелось потягиваться и лениво разговаривать среди улицы с каждой [в]стречной девкой. Даже на Любку не было зла.

— Лист получила — теперь с милицией придешь в гости? Только [з]ря. Мы вроде оба теперь голь одинаковая, — медленно сказал он, — [п]ролетаристы!

Любка шагнула мимо задних колес.

— До свиданьице.

— Обожди, слово сказать хочу. Дюже тетка Арина серчает? Не про[г]онит, если на праздниках в гости приду?

Любка шлепала лаптями по луже и не оглядываясь крикнула в ответ:

— Коль с добром придешь!

Сама не чувствовала ног. Щеки пылали в белом с крапинками пла[т]очке.

«Вот еще навязался на дороге»,— думала она и едва удерживалась, [ч]тобы не оглянуться. На минуту стало жалко парня, похудевшего и по[с]мирневшего. Но день снова разгладил щеки, и зайцы засверкали в глазах.

Арина подозрительно встретила девку.

— Аль веселого чего наслухалась там, штой-та морда красная?

— Жарко нынечка, чуть не бегом бежала из совета, ребят боялась.

Кузьма Петрович одел очки на веревочках и жадными таракашками [о]бегал по листу.

— Милиции препоручено исполнение, — сказал он, подняв очки [н]а лоб.—Это сурьезная заковыка. А то ежель городскому исполнителю — [д]а одни подводы ему не хватит всего алимента.

Сидеть в темной избе Любка не могла. Выбежала на улицу, отвалила [от] окошка дымящийся навоз, взяла обломок лопаты, согнала воду [от] крыльца. И все это скоро, торопливо, словно вот-вот придет кто-то. [Д]осадно было на свою слабость, но кровь приливала к щекам без спроса, [са]ма, незваная.

Когда ушел Кузьма Петрович, Арина снова приступила к Любке.

— С чего это спрашивается из морды твоей брызжет? Только высу[н]лась из избы и раскраснелась вся. Смотри, девка, другого принесешь [в] зыбку — со свету сживу анчутку, так и помни!

— Жених сидел в горнице — вот и смех взял, — выпалила Любка.—[Д]юже он чудной, право слово. Да день погожий, на сердце легче стало.

10.

Отгулялись праздники. Мужики поехали с сохами в поле, столбики [пы]ли закрутились по дороге. Васька не зашел ни разу. Любка с сердцем [на]жимала ногой на лопатку, вгоняла в землю, словно хотела приколоть [е]ею. Уже не глядела и не слушала, кто идет или едет по улице, под чьей [ру]кой гремит об лисицу ведерко.

С матерью нельзя было слова сказать добром, после первой попытки получить по исполнительному листу. Милиционер сначала тянул, со дня на день откладывал, потом неохотно пошел за Ариной, с закрытыми глазами бродил по Мироновскому двору, спотыкался о бороны и колоды и только твердил:

— Ничего наглядного нет. Инвентарь не имеем право. Тем более у них имущество в отдельности. Единственно — мелкий скот — овцы, но по дележу не достались ответчику.

У Петьки и Кольки было то же самое. Сквозь строй торжествующих и насмешливых глаз прошла Арина. Лаялась, хваталась за утирки, за самовары, норовила влезть в сундуки, но на все ей совали в нос бумагу о разделе.

— Чтоб сгореть вам на мелком огне, окаянным спекулянтщикам, — плюнула она на последний порог, — но попомните слово мое: сами принесете, да не приму ни копейки, сгниете в остроге!

От неудачи Кузьма Петрович стал несколько холоднее, но еще не терял надежды. Сидел в Арининой избе за столом и сочинял заявление. Мусолил карандаш в синих губах, двигал очки до самого кончика носа.

— Хорошо, — говорил он, — это не обстоятельство, что в разделе. В уголовном порядке их возьмем. Привлекем по 172 статье. Имеющие отцы обязаны за распутных детей ответ держать. А потом за злостное сокрытие. Есть и такая хорошая статья на их брата — 165 и буква «а» к ней сбоку приставлена. Небось подумают: в тюрьму на сухой хлеб итти или заплатить по закону!

Это имела в виду и Арина.

По селу, несмотря на пахоту, быстро расползся слух, что дело пойдет снова в суд. Затягивалась ременная петля. Нужда и злоба бежали по проторенной дорожке рядом. Соседи с любопытством ждали — что будет.

Кузьма Петрович делался все смелее с Любкой. И однажды, когда она сидела одна в избе, склонившись над брошенным сыном, он торопливо оглянулся и зашептал:

— Любовь Степанна, как ничего из иска вашего не получилось, то нам нет интереса ходатайствовать. Вы девица понимающая об чем разговор. Должны гордость свою положить в шкатулку до следующего времени и не глядеть на наши года и на нашу красоту. Без законного брака мы, конечно, тоже не согласны. Но это в один час — дойти да райвика.— Он дрожал мелкой лихорадкой. — У вас понимание такое, что мы деревянные или железные. Но все люди и пьют и едят одинаково. Тем более с супругой мы не живем два года, в апреле сравнялось, двадцатого числа.

Любка даже не поняла, о чем бормочет жених, так далеко были ее мысли.

Кузьма Петрович снова оглянулся на дверь, и вдруг его руки очутились на мягкой груди Любки. Черные таракашки остановились и вни-

лись в ее глаза. Любка вскочила, размахнулась и тяжелой ладонью треснула по таракашкам. Они исчезли. Скороговоркой прыгнула матершина. Любка вновь размахнулась, но никого уже не было. Раздался торопливый топот в сенцах. На полу испуганно закричал мальченка.

— Не надо мне ничего от вас, кобелей плешивых! — крикнула Любка в дверь.

Испуганно схватила с пола ребенка и прижала к бьющемуся сердцу. «Что теперь будет?» Долго стояла с туманом в глазах. Потом вышла на крыльцо и закричала:

— Маменька-а-а! Мамаша, подите сюды!

Через минуту Арина стояла в подоткнутой юбке с граблями в руках перед дочерью.

— Ну, чего тебе тут разобрало?

Любка с отчаянием рассказывала все без утайки. От каждого слова лицо Арины серело.

— Ой, нет моей моченьки, не стерпела я, вся затряслась трясучкой от его рук поганых и сама не знаю што наделала...

Глядели друг на друга испуганными глазами, словно случилась огромная беда, когда ни кричать, ни ругаться не поднимается язык.

Всю неделю ждали Кузьму Петровича. Любка мучилась и боялась взглянуть на мать и как-то сказала:

— Вы б, маменька, дошли до него, может простит, не дюже я его вдарила.

— Да уж схожу, хуже позор перенесла. Все одно — все тычут в глаза — хахалем твоим называют.

Арина торопилась насажать намоченную свеклу, уже давшую ростки, и к вечеру пойти. Но случилось совсем иное. В избу тихонько, словно на облаке вплыла смирная, тихая старушка — мать Васьки. Поулыбалась, помигала глазами и присела. От неожиданности хозяева стояли с открытыми ртами. Старушка ласково оглядела Любку, потом перевела глаза на мальченка на полу.

— Вон уже какой вырос он у тебя. Садитесь, аль гостья сидеть будет, а хозяевам и сесть негде. Любаша, ты выдь на секунду, — мы, старухи, тут об секрете поговорим.

И она зашептала:

— Вот што, Аринушка, не губи ты его, Васятку несчастного. Об этом и пришла просить. Тюрьмой не исправишь. Не дай господь, присудят — арестантом придет из этого вардома по нонешнему — злобу пущую принесет. Сватать я пришла — вот что. Надо когда-нибудь говорить. Васятка не будет перечить, а ты с Любушкой в уголку пошушукайся, да мне дай ответ. С этим большим делом я и пришла. Как ни зло, а худого ни я не скажу про твою девку: и в теле, и в уме, и с лица красавица, ну и ты не скажешь, я знаю, укора Ваське.

Арина сидела не шевелясь. Разбирало закричать, затопать, но лицо старушки, мягкое и морщинистое, как сафьян, тлело и светилось добротой и простотой.

— Давно надо об этом, — сказала она.—Какую пропасть теперь вырыли, чем ее закладешь, — какая жизнь ихняя будет после такого зла?

— Об этом ты, родная, не заботься. Не стариков сводим. На постели не подерутся, а днем некогда. Стерпится-слюбится.

— Бить будет, вот чего боюсь пуще смерти!

Старушка разгладилась и сделалась строгой.

— Без этого, голубушка Аринушка, нельзя. Люби как душу, а тряси как грушу, говорилось в старину. Будет угождать — не зверь, ничего худого не будет. Проживут не хуже других. Где уж очень-то любимых мы с тобой видали на своем веку?

Любка несколько раз в нетерпении входила в дверь, но старушка махала рукой.

— Погоди ты, помеха, не все заплатали, прорехи остались. Внучка-то, аль как бишь его, Васятку-то, пусти с рук в избу, пущай на бабку старую посмотрит.

Девка не находила места. Наконец, ее позвали.

— Вот, Любушка, от Васятки я к тебе слово принесла: пойдешь за него замуж, аль нет? Коль согласна — так и скажу ему пойду.

Арина не спускала беспокойных глаз с дочери. Решалась судьба. Любка стояла с горячими щеками, прятала руки за спину, ресницы ее дрожали.

— Не знаю я... — она вдруг побледнела, — не думала я об этом...

— Послушайся сердца; ты помолчи, пущай оно скажет.

В избе было тихо. Тяжело сидела печь на черном убитом полу, стояли упав головами в угол ухваты, даже мальченка затих и глядел большими глазами на мать, словно ждал ее слова.

Любка бросилась к старушке на шею.

— Ой, матушка, да как скажу я, коль не любит он меня вовсе!

— Кабы не любил — не послал бы к тебе, да и я сама не пошла бы.

Любка оторвалась от старушки, схватила мальченка с полу и выбежала на улицу. Гостья поднялась.

— Ну, вот, девичье сердце и вылилось все тут. До свиданья, Аринушка. Как дело потребует — я втупрожь прибегу. Тянуть нечего и так в нитку вытянулось, того гляди оборвется.

11.

Тихая старушка была в четверг, а в воскресенье к Арине ввалилось трое гостей. Сам Мирон Василич с женой и Васька. Чинно расселись и долго молчали, побеждая вражду и злобу. Арина суетилась, накрывала на стол, хотя подать было нечего, кроме солонины, оставшейся от праздника.

Любка краснела, вскидывала глаза на Ваську, искала в его лице облегченья сердцу. Особенно после слов тихой старушки в нее ожила надежда на любовь Васьки. Но он сидел в своем новом пиджаке и в сатиновой голубой рубахе, прямой, твердый, словно выглаженный. В окна глядели соседские ребятишки и застили последний свет. Первый заговорил старик.

— Шли и думали: примет нас Арина, аль от порога оборот сделает?

— Да што это вы, Мирон Василич, — искусно удивилась Арина, — глаза проглядели на праздниках еще. И угощенье держали, а теперь вот нечем и попотчевать. Любонька, проси гостей дорогих откушать, што бог послал.

Любка двигалась словно по стеклу; готова была убежать, как будто голая стояла перед людьми.

Едва пригубив закуску, старик положил вилку на деревянную доску, вытер усы и бороду красным платком и сделал формальное предложение.

— Об чем не надо помнить — позабудем, друг на друге искать перестанем.

— Знамо, кто старое помянет — тому глаз вон, — сказала Арина и громко вздохнула.

Васька глядел внимательно в дно картуза, который не выпускал из рук.

Старик сурово повернулся к нему.

— Чего ж своего предлога не делаешь невесте? Может она не в согласии.

Арина торопливо ввернула:

— Сосватались без нас, пущай и предлоги ихние без нас. Ихний верх и покрышка, пущай живут. — Любка, добежи, возьми самогону бутылочку. Нынче Комариха гонит, чугун верхний у суседа брала.

Старик поднялся, за ним, безмолвно и боязливо, тихая старушка.

— Нет, уж желали б без него, сватьюшка. Время трудящее, — свадьба будет — будет время и выпить. Не по таким временам в расход лезть.

— Это уж так, — согласилась Арина.

Гости низко откланялись. Васька тоже двинулся к двери.

Старушка боязливо отстала от старика и остановила сына дрожащей рукой.

— Ты б посидел, куда спешишь? — зашептала она: — посиди с невестой, небось не старые времена — до свадьбы прятаться друг от друга. Посиди часок.

Арина с поджатыми губами пропустила гостей вперед и вышла следом, чтоб проводить по улице. Васька вернулся и сел на скамью на самый краешек у двери. Вертел картуз и не поднимал глаз. Любка подсела рядом.

— Скушно вам со мной? Не девка я, нет чем завлечь теперь...

Парень сделал усилие, взял ее руку. Неуклюже держал. Словно боялся помять или сломать. Но и от этой ласки Любка заволновалась и замерла. Вдруг закинула другую руку ему на шею и прижалась грудью к твердому плечу.

— Сердешный мой, жданный мой...

На голубой сатиновой рубахе расплылись темные пятна, словно от крупных капель дождя. Мальченок подтащился на четвереньках к ногам и с узелком на спине, с голым задом был похож на смешного щенка. Любка от ребенка вновь перевела глаза на Ваську.

— Большой уже стал, косить скоро будет... не увидим, как вырастет помощник.

Лицо Васьки оставалось твердым. Ему хотелось поскорее освободиться от обязанностей жениха им же брошенной жены.

12.

Решено было без церковного венчания. Ни Мирон Василич не промолвился словом, ни Арина не настаивала.

— Обживутся если по доброму, завсегда окрутить можно, — сказала Арина соседке.

На запись поехали на вороном жеребце. Свидетели были: соседка с Любкиной стороны и сосед — с Мироновской. Никакой родни ни та, ни другая сторона не пригласила. Подписались, словно не о себе, не о своей жизни дали обещания, а просто заехали напоить лошадь и кстати зашли в совет.

Любка сидела в телеге на высоко взбитой соломе, покрытой чистой дерюгой и глядела на носки новых полуботинок. Подол юбки, подшитый шелковой оборкой еще зимой итти на суд, переливал на солнце радугой, но не было ни гордости, ни радости сидеть ни с женихом, ни с мужем. Васька думал о вороном жеребце, который сильно спал с тела и неохотно бежал рысью.

Остановились у Мироновского крыльца. Ни подружек, ни встреч. На столе стояла закуска в тарелках, за столом три старухи в черных платках.

— Так-то по-скромному, по-тверезому-то и лучше, — сказала одна,— и денежки в сохранности и без греха. — И все чувствовали неискренность ее слов.

Через час, как простые гости, сошли с крыльца и пошли к Арине. Васька всю дорогу не проронил ни слова. Ковырял носком сапога сухую весеннюю грязь, Любка плелась, приотстав на шаг. Буднично ехали мужики с сохами и боронами и неохотно снимали шапки перед молодыми. Только один рыжий, как солнце, жеребенок нарушил печальную дорогу. Отстав от матери с колокольчатым ржаньем промчался мимо, повернулся и, сверкая глазами и поднимая легкую пыль перламутровыми копытами, унесся назад.

У Арины сидели гости — все бабы. Кувшин с самогоном кланялся не переставая. Глаза блестели, руки делали широкие жесты. Завидев молодых в окошко, встали в дверях и затянули свадебную старинную песнь:

Среди лета, Петров день,
Сине море замерзало.
Ой, люли, люли замерзало...

Подбежала Арина с бутылкой, кругом закричали:

— Горько! Горько!

Васька неохотно нагнулся к Любке и прикоснулся губами к щеке.

— Ишь, нацеловались допрежь времени, знамо нет охоты, не антиресуются!

Бабы пьяными глазами оглядывали молодых, лезли с разговорами, с советами; пахло потом, сделалось душно. Простоволосые и растрепанные обмахивались руками, утирались исподней стороной верхних юбок. Васька выпил два стакана без закуски.

В сенцах баба в синем платке, брошенная мужем с тремя ребятишками, сидя на пороге, обнимала другую, плачущую горькими слезами.

— Пущай мы отстрадаимси, — не к тому, кума, время идет. Только нельзя, видать, сразу сделать. Сколько в нас этого старого порядку. Дело путаное, трудное. Может десять лет, а может тыща лет пройдет времени. Как полова, от хлебушка отвеянная, улетим мы пылью горькой. Останется зернышко чистое, как в горсточке, и посеется в погожий день. Верь моему слову, болезная, вырастет на земле доля женская. Хучь не дождемся мы с тобой, горемычные, лета ясного, зато детки за нас порадуются...

В избе, в полумраке гаснущей лампочки, плавали большие глаза и, не мигая, глядели на Арину. Положив локти на стол, она не видела ни Ваську, ни пьяных баб, только одну Любку держала в пьяных глазах.

Васька со злой насмешкой в лице поднялся из-за стола. Любка встала тоже. В избе притихли и блестящими глазами проводили молодых до дверей. Арина встала лицом в передний угол и перекрестилась.

— Дай бог в добрый час. Только не надеюсь я своим сердцем на ихнюю жизнь!

Баба в синем платке, пропустив Любку с Васькой, не сдерживая голоса, продолжала:

— И эта — половушка горькая, мякинушка легкая, не на радость родилась...

Любка заперла за Васькой дверь в клети и в темноте откинула одеяло с постели. Клеть была низкая и маленькая. Сквозь продранную крышу заглядывали звезды.

Васька, не раздеваясь, долго и неподвижно лежал рядом с Любкой. Настороженно глядел в темноту и слушал бабий певучий голос с порога. Поднималась и росла злоба за свою жизнь. Заслышав тихий сдержанный плач, завозился.

— Чего, дура, завыла? На мокрости и лежи, отодвинься, там хучь всю ночь разливайся.

Любку трясло. Она отодвинулась, но по шороху соломы слышно было, как встряхивалась она от сдержанных рыданий. Через несколько минут она тихо прошептала:

— Сними сапоги, ногам чижало в них, аль давай я сниму, — и робко взялась, чтобы снять.

Неожиданно, так что сразу не поняла, что случилось— со страшной силой ударило в грудь и опрокинуло к двери. В ужасе протянула руки в темноту, но Васька еще раз согнул ногу и ударил стиснув зубы. Каблук стукнул во что-то твердое. Из глаз Любки брызнули искры. В эту минуту она не могла закричать, чтоб прибежали люди и увидали ее страшный позор. Позор ненужной женщины, побитой в первую ночь. В темноте послышался только шопот, похожий на отчаянный крик:

— Да за что же бьешь ты меня!

— Зато, не ходи пузата раньше времени, — выдавил злобно Васька и, нащупав дрожащее тело, размахнулся и опустил костлявый, как кистень, кулак.

— До тех буду бить, пока бумаг не отдашь!

В боку Любки екнуло, она задохнулась и от невыносимой боли свернулась в крючек.

В тесной клети была тишина. Плавали красные искры и неподвижно лежали два живых человека.

От избы, где все еще гуляли бабы, доносился голос:

— Хлебушек неизвеянный... Ни в печи не поднимаемся, ни себе ни людям не гожаемся... Когда ж придет времечко — очистимся мы, людьми-гражданами будем? Будем проживать жизнь свою светлую?..

Это все сидели на пороге две бабы и жаловались друг другу. В их тоскливых глазах поднималась неутоленная упорная надежда на сказочное бабье счастье. Как слепые плелись пьяные руки, словно шарили никем не положенный клад. Горько бились меж постылой загубленной бабьей жизнью и одинокой никому не нужной — девичьей. Узкая улица меж двух высоких стен вела в небо. Звезды тихими лучами шептали о непроходящей молодости и любви, о согласной жизни в труде и в горе, в отдыхе и радости.

13.

На утро Арина, впиваясь глазами в избитое лицо Любки, пытала:

— Это он тебе присандачил? Говори сию минуту!

Любка стояла босая, с распущенными волосами, и упорно отпиралась, словно виновный перед следователем:

— Да што вы, маменька, в темноте набежала на спицу, што хомут весили, когда батюшка был жив.

Арина металась по избе.

— Ой, сукин сын, што ж это он делает! Одевайся, сейчас в совет поведу, пущай об разводе бумагу пишут!

Вдруг позади от двери раздался злой насмешливый голос:

— Сошлись, разжалобились, опять подавать хотите!

На пороге стоял Васька. Он неслышно прошел босыми ногами сенцы и слышал разговор. В одних исподниках, в рубахе без пояса, он улыбался искривленными губами.

— Жрать-то у вас будет что, аль так натощак живете?

— Сичас блины будут, садись к столу, — сказала Любка и схватилась за лучину.

Поев, Васька обулся и ушел куда-то. Явился к обеду хмурый и грозный. Не глядя на жену и тещу, ел щи, двигал брови все ниже, о чем-то напряженно думал.

— К отцу и братцу ходил, — сказал он, наконец, — избу требовал. Тоже в суд надо. По-хорошему с них снопа старновки не получишь. На Петьку с Колькой, негодяев, тоже подать придется. Все знают, как они делились. Овцы к отцам записаны, а все равно вместе живут. Да делились после суда, за взятку.

Арина сдержанно молвила:

— Каб греха не нажить, последнего угла решат.

Васька вдруг, словно вспомнив, поднял тяжелые глаза в упор на тещу:

— Где бумаги, которые на меня, лист исполнительный, дай суды!

— Да на што он тебе?

— Не надо — не требовал бы, — Васька повернулся к Любке. — Твои бумаги, а не чьи, — спроси их с матери!

Любка вздрогнула и поглядела на мать.

— Да отдайте, маменька, на кой они нужны теперь?

Васька опустился на скамью и сжал зубы в ожидании. Его мутил вид грязной полуразваленной глиняной печи, он прикидывал, что будет стоить сложить новую из кирпича. На тяжелую его руку села большая муха с голубой спиной, посидела и вдруг испуганно ударилась о стекло и загудела однообразным зудом. Арина не выдержала тишины и умоляющих глаз Любки, бросилась к сундуку и, взлохматив внутренности, кинула на стол завернутые в чистую тряпицу бумаги.

— На, жри! — крикнула она.

Васька развернул. Среди клочков был черновик Кузьмы Петровича о привлечении к уголовной ответственности. Лицо его вытянулось, но сдержал себя. Жадными глазами утонул в исполнительном листе. У Любки закружилась голова, она села на табурет.

— Вася, да не надо... Так проживем, небось не безрукие какие... до смертоубивства дойдете... прости ты их всех...

Васька, словно не узнавая ее, удивленно поднял глаза.

— А на меня подавать надо было?—и выругался скверными словами.—В таких хоромах весь век жить будем?

Он медленно свернул лист, заложил в карман и вышел. Мать и дочь не двинулись.

О стекло все билась голубая муха, наполняя тишину зуденьем. И от этого безнадежного звука еще больше сосало где-то под сердцем.

Арина очнулась. Твердая и острая, резким движеньем распахнула окно.

— Врешь, не дамси я тебе, хучь и бумагу отдала своими руками, старая дура!

По земляному прохладному полу ползал Васятка со смешным узелком на спине.

Любка плакала. Сквозь слезы перед ней лежала бабья жизнь, как серая, сухая и колкая дорога.

В бескрайние низкие поля, — под синим равнодушным небом с ленивыми белыми утками — облаками.

Разин Степан.

Роман.

(Продолжение.)

А. Чапыгин.

VI. Голова Сакмышев.

На площади Яика-городка под барабан пешего бирича яицкие жители овещались: «что приехал в город государев служилый, большой челок, голова Сакмышев из Астрахани, что всех зовет в воротную башню храм Спаса нерукотворного». На площади выстроились стрельцы, придшие из Астрахани, в малиновых кафтанах приказа Головленкова; охожие, глядя на стрельцов, шугили:

— Не подошла Яику осина, малины нагонили с бердышами?

— Не едины бердыши — пищали тож и карабины!

В церкви воротной башни забрякал колокол.

Жители, пестрея одеждами, голубея, алея кафтанами, шли в церзь — с моря на город несло теплой влагой... яблони были в цвету, тополи іенели, отсвечивая серебром...

В церкви после креста вместо проповеди седой протопоп в выцвей ризе и фиолетовой камилавке сказал народу:

— Людие! Не расходитесь в домы — будет к вам спрос от служиго государева человека.

— Слушим, батя!

Впереди к царским вратам выдвинулся в малиновом кафтане, при іле, длинноборoдый, русый человек, широко по-никониански щепотью молился, приложился к образам Николе, Спасу и богородице.

Народ роптал:

— Троеперстник!

— То новшец!

Голова, слыша возгласы, не ответил, вошел на амвон у бокового ідела, махая шапкой, зажатой в правой руке, и, сгибаясь взад, вперед, что кланяясь, начал громко грубым голосом:

— Вопрошу я вас, люди яицкие, вот! Как воры были на Яике со нькой Разиным, что в прошлой месяц в море ушел, то куды Стенька

подевал государеву цареву грамоту, что привезли ему для уговору из Астрахани послы от астраханского воеводы князя Ивана Семеновича и чли ему и дали тое грамоту? — Мой спрос первой и сказывайте, не кривя душей, бо в храме божием, господь бог, угодники и царь-государь вас всех к нелживому ответу зовет.

— Кратче вопрошай, голова.

— А как разумею — так и прошу, — вихляясь спереди назад, ответил голова.

— Да чего ты, как древо по ветру, мотаешься?!

— Обык так, не в том дело! Вы после, теперь пущай за вас духовной отец скажет... — прибавил голова.

Седой протопоп в сиреневой камилавке вышел из боковых дверей алтаря, встал противу царских врат, не оборачиваясь к голове, перекрестился медленно и каким-то козлиным, тонким голосом ответил:

— Перед господом богом даю ответ, что того, куда подевали государеву цареву грамоту, не ведаю! — И снова неспешно ушел в алтарь.

— Много проведал, голова?

— Проведаю! Эй, кто знает? — сказывай...

Серели бородатые лица, истово крестились большие руки, мелькая синими рукавами, золотились и смолью отливали волосы на головах — полосы света протянулись из узких башенных окон, пронизывая клубы пара, от потных тел пахло над головами ладаном, кудряво вьющимся синеватым облаком — по низу тянуло дегтем от сапог.

— Кто не ворует противу великого государя — сказывайте!

Продираясь в толпе к амвону, махая стрелецкой шапкой, синея кафтаном, пролез человек.

— Грамоту, атаман, Стенька Разин...

— Сказывать надо — вор!

— Стенька Разин в тое время принял, послов тож не возбранил и круг деля того собрал, а говорил послам государевым тако:

— Государевым, царевым и великого князя всея Руссии... — поправил голова.

— «Грамота оно есть грамота, да кто ее послал? Сумнюсь! Сумнясь не мыслю, чтоб она была государева доподлинная, и много про то знаю: царь меня хоша простит, да бояра не жалуют... боярам я на сем свету не верю», а куды подевал он тое грамоту, того не глядел!

Выступил торгаш из яицких стрельцов, крикнул:

— Чуй, голова! Я ведаю.

— А? — Ну!

— Так как атаману...

— Вору! Говорю вам — вору-у!

— ...Разину грамота тоя не показалась, что не верилось ему, как вины его великий государь отдает...

— Стой-ко ты, яицкой! В грамоте, то мне ведомо — не указано было, что вины вору великий государь отдает... не было того слова в грамоте..

— Ну и вот! Он, атаман, тое грамоту подрал и в песок втоптал, да молыл: «когда другая, доподлинная грамота ко мне придет, тогды я и повинную дам»!

Голова, мотаясь на амвоне, шарил по толпе глазами, сказал громко:

— Эй, государевы исцы! Спишите, что сказал сей яицкой торговая ли посацкой, имя его тож спишите, да сыщите про него доподлинно — что таков?

Толпу будто ураганом шатнуло.

— Не править городом — государить к нам наехал!

— В бога рылом тычет, а сыщикам весть дает!

— Эй, голова, худой твой закон!

— Для вас худ — для меня хорош! Все изведаю — не скажете добром, того, кто не сговорной, возьму за караул.

— Берегись так городом править!

— На усть-моря живете — ведаю, что спокон веков разбойники, а очи великого государя недреманны и десница крепка царева! Яцына Івана уходили...

— Рано лаешь народ! Спрашивай преже...

— Еще вот! Куда вор Стенька Разин угнал ясырь татарской, что ахватил на Емансуге под Астраханью?

— Девок с женками в калмыки продал, мужеск пол с собой увел море.

— Куды крепостные, большие пушки вор уволочил, оголил стены?

— Пушки, что помене, с собой забрал — большие в море утолок, а еще говорил: «а город Яик срыть надо — помеху чинит многу вольному юду-у».

— Во-о што!

Кто-то злым голосом невпопад крикнул:

— Мы, служилой сыщик, людям головы, как кочетам, умеем верть!

— Эй, кто от вас в храме божьем угрозные речи кричит?

— Сам ты храм - от кружечным двором сделал, альбо приказом иск чинишь!

— Исцы! Запишите речи тех людей и сыщите про них.

— А Яик, как атаман сказал, не устоит — сроем!

— Исцы-ы!

— Кличь лучше стрельцов!

За окнами башни раздались выстрелы из пушек и ружей, потянуло открытые окошки пороховым дымом. Бухнула на раскате угловой ашни сторожевая пушка, и с колокольни взвыл набат. Голова, потряхиая брюхом, схватив в правую руку пистолет, в левой держа шапку, іежал с амвона, исчез в алтаре.

— Завернуть что ль чорта?

— Пождем!

— Кто бьет с пушек?

— То на море — Сукнин с Рудаковым запасные суды захапили, побегли...

— Ушли?

— Стрельцы, вишь, упредили — в камышах дозор крылся...

После слова «стрельцы упредили» голова, придерживая сбоку саблю, вышел из алтаря.

Народ уходил из церкви.

За городскими воротами, на обрыве, стоял голова Сакмышев, привычно мотаясь взад-вперед, кричал, махал обнаженной саблей:

— Псов ведите в башню! Сам погляжу — заковать их, и крепкий к тюрьме караул чтоб...

В гору с берега вели десятка с два казаков и стрельцов в голубых кафтанах, все были с руками, закрученными назад. Впереди есаул Сукнин, руки также связаны, есаульский кафтан с перехватом разорван, правая пола волоклась, черные волосы капали на шее кровью. За ним, хромая, опустив седую голову, шел древний Рудаков, зоркие глаза, не мигая, глядели из-под серых бровей — вид старика с опущенной головой был упрям и злобен.

Голова, всунув на ходу саблю в ножны, пыля песком, шагнул к связанным, ударил кулаком в лицо Сукнина; крякнул:

— Кхя! Вот те, государев супротивник — вор! — Неуклюже размахнулся еще и тяпнул Рудакова в седой затылок.

Из носа у Сукнина закапала кровь, но он молчал, шел, как прежде. Рудаков ответил на удар матерно.

— Подберу на Яике палача, я вас, воров, в бане умою и выпарю!

— Не сразу подберешь, царева сука, а соколы улетят! — громко проворчал Рудаков, кося глазами.

— Я ж им ноги изломлю, не улетят!

По приказу головы: «найти одинокую избу у одинокого!» стрельцы долго шарили по городу, и Сакмышев остался доволен: изба, в которой поместился он, стояла близко к воротам в степь и не курная, с полаткой в печи — жил тут, сказывали, воровской казак, сбежал к Разину. То еще по сердцу было голове, что хозяйка-старуха глухая крепко. В передних углах лицевой стороны голова приказал стрельцам приладить факелы и зажечь. На столе в медных подсвечниках, привезенных с собой, зажег четыре сальных свечи. У дверей в углу поставил заряженную крупную пищаль, на стол деревянный, широкий, с голой доской, положил два пистолета, бумагу, чернило и три гусиных пера. На лавке под окном лежал его кафтан на случай вздремнуть.

Спать голове не хотелось, он и в дороге от Астрахани не спал, опасаясь засады воровских людей, а в городе, после всего виденного, пугали

сякие шорохи. Город сонный мнился ему лишь временно притихшим — акмышев упорно ждал набата, чудились ему злые лица горожан, таящих зое — воровское... хотел писать — не писалось и сна не было. Тяжко идеть в избе, пошел на улицу.

У избы на карауле пять стрельцов, пять бердышей белели в лунном iете лезвиями.

В полукафтанье сером, на боку сабля, без шапки голова, проходя имо избы к воротам, сказал дозору:

— Водки куплю! Не дремли, робята.

— Не бойсь, Афонасий Кузьмич!

— Стоя не спим!

За воротами бескрайная мутно-желтеющая под луной степь. Теплый зтер несет запах далеких солончаков. Голова постоял за воротами, слушиваясь — послышался ему тонкий не человеческий свист, потом алекий рев, похожий на рев верблюда. Над его головой со стены мотну-ось крупным комом сова, улетая защелкала и, медленно паря в опало-м воздухе, распластала в вышине широко мохнатые крылья... недалеко ллакал заяц, уловленный ночным хищником. Голова пошел обратно город — у ворот стены два дозорных стрельца, один в мутно-красном лунном свете, другой в тени — у затененного сумраком кафтан казался рным, лицо серое.

— Водки ставлю — не дремлите, робята!

— Не спим на дозоре!

— Мы, голова, не дремлем! — И когда начальник прошел дальше, релец прибавил: — Седни тебе молимся, а завтре неровен час и за ртань уцепим!

Другой на слова приятеля отозвался смехом:

— Надо бе к башне сходить, да уж ноги тупы... ништо-о! Там дозор енкой — а все ж как там воры?.. Закованы — ништо! Ворота в степь валю... калмыки и всякие находники лезут, стрельцы — чорт их душу — ворят ласково, а рожи злые?..

Из холма в кустах и в даль под стену протекал ручей, сверкая под рывом.

— Должно та вода из тайника [1]) башенного, что лишня есть.

Над ручьем под сгорком черные лачуги бани, иные землянки, ые рядом рублены в угол. Между черных бань поблескивают луной е те же торопливые струи.

Сакмышев повернул от дороги к воротам в сторону городских роений. Срубы черны, с ними слились кудрявые деревья в пятнах, мутно-леных в свете месяца и черных в тени. В лицо дышит теплым ветром, хнет травой, ветром шевелит пышную бороду стрельца, волосы, кажется ему — ветер нагоняет сон, утихает тревога дня, голова нно думает:

---

[1]) В крепостях-башнях были колодцы на случай осады.

«Черные узоры... быдто кто их украсил слюдой да паздерой — черное в серебре... — но вздрогнул и чутко насторожил ухо. — Пустое. Мнилось, что будто на колокольне кто колоколо шорнул. — Пустое... провались ты, тьма, душу мутит, а сна нет... с чего это меня тамашит завсегда в тьме ужастием? Зачну-ко писать!» — Волоча ноги идет в сторону пяти сверкающих лезвий.

— Поглядывай, робята!

— Не бойсь, голова, зло глядим!

Факелы коптят, копоть от них густо чернит паутину на потолке избы. Оплыли свечи. Голова поправил огонь. На широкой печи со свистом храпит старуха, пахнет мертвым и прокислым в избе.

— Эй, баба чортова! Не храпи. Страшно, а надо бы окна открыть?-Храп с печи пуще, с переливами, с выдуванием воздуха.

— «Векоуша — глухая? Бей батогом в окна — не чует... — Голова, двинув скамью, сел. Над столом помахал руками, будто брался не за перо, за бердыш, оттянул к низу тучного живота бороду и, привычно кланяясь, подвинул бумагу. — Перво напишу черно без величанья?» — Склонился, обмакнул перо.

«Воеводе Ивану Семеновичу князю, отписка Афоньки Сакмышева Как ты князь и воевода велел писать мне о Яике городке и доводить, что деется, то довожу без замотчанья в первой же день сей жизни. Отписку слю с гончим татарином Урунчеем, а сказываю тебе, князь, про Яик-город доподлинно. Перво: в храме Спаса нерукотворного опрашивал я городовых людей про вора Стеньку Разина, про грамоту твою к ему. Прознал, что тое грамоту он, вор, подрал и потоптал. Другое — Еманьсугских татаровей ясырь женок и девок он в калмыки запродал, а мужеск пол с собой в море уплавил и на дватцать четри стругах больших ушел к Гиляни в Кюльзюм морем, а буде слух не ложной есть, то давать ся будет шаху Абасу в потданство и тебе бы князь дать о том слухе отписку в Москву боярину Пушкину, чтоб упредить вора государевым послом к шаху. Для проведыванья слухов на море и ходу по Кюльзюм - морю слите, господины князь Иван Семенович с товарыщи, в подмогу кого ладнее, хошь голову Болтина Василея — ту народ шаткой, смутной и воровской, учего для море близ! В церкви на меня кричали угрозно и в тое время, как я уговаривал яицких не воровать и сказывать о грамоте ясыре татарском и протчем дванадесять казаков со стрельцы ворами Лопухина приказу, что еще на Ловле-реке сошли к вору Стеньке, своровали у меня, захапили суды в запас для маломочных кинутые вором Стенькой на Яике, шатнулись с огняным боем в море, да мы их с божьей помощью уловили и заводчиков того дела Сукнина Федьку, да воровского казака кондыревца Рудакова, заковав, кинули в углянуую башню и держим за караулом до твоего, князь-воевода, указу, а мыслю я их пытать, чтоб иных воров на Яике указали, а воров ту тмы-тем — много! И кричали в церкви (что вор Стенька Разин грозил Яик срыть) и они-де тому рады, да и сами того норовят, а коли государевой силы не будет беречь город, так и пущай

)оют, я мню так: что лучше б Яик отнести по реки дальше от моря, где це рвы копаны и надолбы [1]) ставлены и строеньишко есть, а ту ворам]егать сподручно... мало хлопотно будет такое дело городовое завести — ıменю к горам много, город строить, а ведь Черной Яр, по государеву ıреву указу унесли же в ино место, инако он бы в Волгу осыпался...»

Не дописав грамоты, голова ткнулся на стол, почувствовал за все ıı и ночи бессонные дремоту, сказал себе:

— А, не ладно? Кости размять — лечь надоть...—Встал полусонıй, поправил факелы, задул свечи, не снимая сапог, отстегнув саблю, нулся ничком на кафтан и неожиданно мертвецки, как пьяный, заснул.

В густой тени, упавшей на землю от городовой стены и башни, нявшей своей шлыкообразной полосой часть площади, толпились рельцы в дозоре за Сукниным и Рудаковым. Мимо стрельцов, расхажиющих с пищалями на плече, проходила высокая, стройная баба, разря:нная по-праздничному, за ней, потупив голову, подбрасывая крепкие ги по песку, шла такая же рослая девка с распущенными волосами, цветном шелковом сарафане, под светлой рубахой топырилась грудь.

— Э-эх!

— Эй, женка! Кой час в ночи?

— А кой те надо, служилой?

— Полуночь дальня ли? Нам коло того меняться.

— Еще мекаю я с получасье до полуночи? — Баба подняла на луну ıову.

— Э-эх, дьявол!

— Ладна, что ли, баба-т?

— Свербит меня глядючи! Ладна.

— Эй, женка! Чье молоко?

— Не, не молоко, служилые — квас медовой с хмелиной...

— Большая в ем хмель-от?

— Малая... для куражу хмель! — Баба остановилась, сняла с плеча ıьшой кувшин.

— Чары, поди, не здогадалась взять?

— Не иму — девка будто та брала? На имянины к брату идем, / и квасок в посулы.

Стрелец подошел, заглянул в кувшин.

— Э-эх! Квасок, дай хлебнуть разок?

— Не брезгуешь? — Испей, ни што...

— Ты, знаю, хрещена? — Чего брезгать!

— Я старой веры! — Баба взяла у девки заверченную в плат сереıную чару.

— Чара хошь воеводе пить!

---

[1]) Частокол.

— В посулы брату чара — пей!

— У-ух! Добро, добро.

Подошел другой.

— Тому дала, мне пошто не лила?

— Чем ты хуже? Пей во здравие.

— Можно и выпить? Ну, баба!

— Пейте хоша все — я брату у его на дому сварю... имянины-т после завтре — будем ночевать.

— Кинь брата! Не поминай...

— Мы добрые — остайся с нами.

— Ге, черти! Дайте мне?

— Все вы службу государеву справляете, за ворами, чтоб их лихоманкой взяло, караулите — пейте, иному кому, а вам не жаль!..

Десять стрельцов, чередуясь, жадно сосали из чары густое питье.

— Диво! Во всем городу чорт народ, а вот нашлась же хрестьянская душа?

— Стой пить, — ты третью, мы только — по другой.

— Пей, да мимо не лей!

— Э-эх! Чорт-тя рогом рогни.

В лунном сумраке заискрились глаза, языки и руки заходили вольнее.

— Полюбить ба экую?

— Не все разом — пейте, полюбите, время есть — по муже я давно скучна...

— Э-эх! Да мы те, рогай-тя бес, сразу десяток подвалим.

— Слышь, парни? Любить женку отказу нет — ты вдовая?

— Вдовею четри года.

— Я пищаль ужотко суну к стене?

— Кинь!

— Песок сух и бел — ржа не возьмет!

— Сотона ей деется, коли ржа возьмет!

— Пропади ёна пищаль! Плечи мозолит десятки лет...

— Устряпала!

— Утяпала-а!

Кинув пищаль, стрелец запел, обнимая бабу:

> Постой, парень, не наляй,
> Сарафана не марай.
> Сарафан кумашной.
> Роботы домашной. Э-эх!

Другой, вихляясь на ногах, крикнул:

— Век ба твое питье пил!

— Дьяволовка! Зелье ж сварила голова, как не пил, глаза видят, а руки-ноги деревянны есть!

— Я первой тебя кликнул — валиться будем, так я и первой по тому делу?..

— Ладно — только допивайте!

— Допьем! Нешто оставим?

Один, пробуя взять с земли пищаль, бормотал:

— Робята! Как ба Сакмышев не разбрелся? Нещадной он к нам!

— Не трожь пищаль — кинул и я! Перст с ним, головой.

— Хо, хо! Степью шли, сулил водки, еще от него нынь не пивали.

— Сам пьет! Я б его родню голенищем...

— А кинем все, да в море?

— Его уведем!

— В мешке? Ха, ха, ха.

— А ей-бо в мешке!

— Ха, ха, ха! Стоит чорт...

— Хо, хо...

— Ждите тут! Баба вам, я девок больше люблю — мекка ли, дай пощупаю?

— И я!

— К чорту свояков!

— Нет, ты годи! Браты, эй, уговор всем итти к девке, ай ни кому?

— Всем! На то мы служилые...

— Вот хар-ы! [1])

— Хар-осел — мы хари!

— Хар-ы!

— Годи мало! В Астрахани у ларей дозор вел кизилбашких, учился сказать — ты бача! [2])

— И — дурак! Бача за девкой не бежит.

Девка в шелковом, светящемся при луне, сарафане, слыша сговор, отодвинулась к площади. Стрельцов вид ее манил и особенно разожгло хмельных, когда на их глазах она расстегнула ворот рубахи. Стрельцы, ворочая ногами, двинулись за ней, уговаривая друг друга:

— Не бежи, парни-и... Спужаете!..

— Перво — ободти-ть, друго — прижать в углу-о, по-воински!

— Толково! Уловим так.

— Эй, только не бежи! Она, вишь, резва на ногу, мы тупы...

— Меня худо несут!

— И ме-е-ня становят ноги!

— Вертаемся?

— О-то, правда! Ближе к дозору...

Трое вернулись, сели на порог башни, где после Разинского погрома вместо дверей была деревянная решетка, уже поломанная. Семь остальных упрямо шли за девкой.

— Уловим стерву!

— К башне ба? А то голова.

---

[1]) Хар — осел, персидское слово.

[2]) Мальчик, заменяющий женщину.

— Я б его, голову, новым лаптем!

Девка гибкая, яркая, подобрав подол сарафана, сверкая смуглыми коленями, обольщая голой грудью, недалеко впереди шла и, стрельцам казалось, подмигивала им, дразнилась. Дразнясь, пролезала из переулка в переулок сквозь дырья в тыне в хмельники пушисто зеленые, пахучие, клейкие на белых и темных тычинах.

Стрельцы волоклись за ней с похабными шутками, будто связанные на одну веревку, распаленные желанием поймать, загнать ее в тупой закоулок. Иные жалели, что город чужой — места неведомы, бестолково мотаясь на ногах шумной ордой, громко дышали, запинаясь, матерились — по их дикому пути как бы телега с камнями ехала.

— Запутались в городе?

— Сказывай-ко, а башни?

— Башен без числа — ходи к ним всю ночь, все не те, кои надобны!

Двое остановились делать необходимое, роясь в штанах с угрожающими, строгими лицами ткнулись друг в друга, выругавшись, обнялись, сели и, как лишь плотно коснулись земли, одолел сон. Еще двое отстали, спрашивая — не чорт ли ведет их? рассуждали о башнях, но башен в воздухе не видели. Трое других, подождав отставших, потеряли и забыли предмет своего обольщения — ругая город, что будто бы устроен на каких-то песчаных горах, где и ходить не можно — сапоги тяжелеют от песку, разбрелись врозь, бормоча что-то о башнях, про дозор и пищаль, путались бесконечно в сонных, теплых переулках, очарованных зеленоватым маревом луны.

Баба огляделась, когда стрельцы ушли, подошла к башне-тюрьме, прислушалась к дыханию спящих троих служак, потрогала их за волосы, потом вынула завернутый под фартуком в платок небольшой бубен, ударила в него наружной стороной руки с перстнями. На дребезжание бубна из-за башни вывернулся тонкий юноша со звериными ухватками, в выцветшем зеленом кафтане — его лоб и уши как будто колпаком покрывали черные гладкие волосы, ровно в кружок подстриженные. Баба сказала без ласки в голосе:

— Хасан! Как уговорно — сломай решетку, залазь в башню и с Федора, да старика спили железы.

— Ходу я! Хуб [1]... иншалла? [2])

Юноша, изгибаясь, прыгнул на решетку, она хрястнула и развалилась, его фигура мелькнула зеленоватой полосой в глубине башни, и шаги смолкли.

Все закованные Сакмышевым казаки и стрельцы вышли из башни — за ними, как призрак мутнозеленый, мелькнула фигура гибкого юноши с черной головой — исчезла и женщина с кувшином. На площади дели-

[1]) Хуб — ладно, хорошо.

[2]) Если захочет бог? — Персидск.

нсь на пять, на десять человек, двигаясь, переплетаясь с тенями в лунном свете. Иные, получив приказание, крались с саблями, топорами к домам, где спали стрельцы, приведенные головой, и там, куда поставлены дозоры у домов, шла молчаливая, почти бесшумная борьба без выстрелов. Яицкие кончали гостей астраханских, а кто сдавался, того обыскивали, отбирали оружие, отводили на площадь временно под караул. В левом и правом углах стены в башнях работали лопатами по пять человек, иные катали боченки.

От тюремной двери перетащили в сторону сонных стрельцов, трясли их за нос, за уши, но стрельцы спали мертвецки, непробудно.

— У Федора не баба — ведьма!

— Пошто?

— Сварит зелье, хлебнешь — ум потеряешь!

— Ох, и мастерица она хмельное сготовлять!

— Эй, у вас фитили?

— Ту-та-а! Ране еще, сверби да трут сунь, без труту не затравит порох!

— Ведаю, брат! Какой сотона от Москвы ли Астрахани наедет с чином, тот и суд расправу чинит, да сыщиков, палачей подбирает, яицких пытать...

— На Яике пошло худое житье, царевы собаки одолели!..

— Ге-х! Кабы под царевы терема довел бог вкатить бочечки?

— Ужо как Степан Тимофеич? А то вкатим пороху под царевы стены!

Высокая фигура в синем полукафтанье с саблей двинулась к башне.

— Браты! Как дело?

— Вкопано, Федор Васильич!

— А, так? То подольше фитили и сами пять на площадь — гостей взбудим, в сполохе посекем кто не с нами...

— Казаки да стрельцы наши справны ли?

— Казаки и горожане справны — нынче астраханцам дадим бой, не таков как на море!

— Засады есть?

— Всего гораздо!

— Еще мало подроем и фитили приладим.

Сукнин пошел к другой башне.

Сакмышеву голос отца сказал:

— Афонька! Проспишь зорю, барабан!

Сонный голова повернулся на лавке, упал на пол. Ударился головой о половицы, глухо стукнув затылком и задниками сапог. Сел на полу.

— Кой, прости бог, говор? Чул, будто мертвой бате сказал, а что сказал? Помню: «барабан»!

Голова разоспался, встав, потянулся к лавке — недалеко в углу трещало. Протер сонные глаза, увидал, что факел покосился, прислонясь

к древней божнице, поджигал ее — у икон дымилась фольга — эк-ты угораздило! Взял с изголовья шапку, зажал факел и захлопал огонь. Что-то взвыло за окнами, голова отодвинул сплошной, деревянный ставень маленького окна, прилег ухом и подбородком на подоконник. Сакмышеву послышался чей-то окрик, в ответ смутные гулы. Не надевая шапки, голова спешно вышел из избы. Пять бердышей дозорных стрельцов были воткнуты рукоятками в землю, лезвия сияли, как пять серпообразных лун, упавших и недостигших земли.

«А, стрельцы? Своровали, дозор кинули!»

Мотаясь взад-вперед, голова стоял перед бердышами и чувствовал, колет за ушами, будто шилом, и по широкой его спине каплет холодный, как вода из колодца, пот. Мотаясь, вытянув шею, стал слушать — услыхал свист, острый разбойничий, какой не раз слыхал от казаков на Волге. Свист повторился в другом месте.

«Безоблыжно — то воры наплыли с моря? Проспал я, — бежать! В степь бежать, може на своих разбредусь?»

Скоро вернулся в избу — зубы начали стучать, со лба закапал пот. Надел кафтан, пристегнул саблю, сорвал с шапки отороченной бобром и островерхой парчевой лоскут, знак начальника — сунул в карман, взял из угла на плечо тяжелую пищаль, выйдя, пошел к воротам в степь. У пилонов ворот, с той и другой стороны, по-прежнему стоят два стрельца, голова проходил мимо их, бормоча привычно, хотя слова путались в пушистых усах:

— Не спи, робята! Водки ку-у-плю...

Стрельцы протянули поперек ворот бердыши.

— Приказ! С полуночи за город и в город не пущать.

— То мой приказ — я вам начальник, голова!

— Кто?

— Голова Сакмышев Афонасий...

— Шапка не та!

— Рожа чужая, такого не ведаем!

— Да, что вы?! Пустите меня.

— Отыди-и!

— Засекем, полезешь!

Голова пошел от ворот, подумал:

«Воруют, аль приказ мой держат? — Не пойму! Ужли пропадать? К башне бы, да без караулу одному итти опас... по рожам вижу — воруют стрельцы! Закопаться бы куды?..»

Оглядываясь, он спешно свернул в сторону с дороги, почти сполз со сгорка к ручью, сунул в куст тяжелую пищаль, согнулся, залез в предбанник черного сруба, сел на лавку, дрожал и плотнее запахнулся в кафтан.

— Надоть кафтан обменить, нарядной много, дареной воево-о-д-ой...

Его мысли потушило страшным гулом, казалось, затряслась вся гора, на которой устроен город. С потолка бани хлынул песок и мусор, голова подпрыгнул на лавке — гул повторился еще.

— Эх, не ушел! Проспал... нет, стрельцы воры, я учул... теперь ...да! — Яик зорят, рвут стены?..

Он тихонько крадучись, чтоб не скрипеть дверью, гораздо пролез ...баню, ощупью нашел полок, хотя в оконце било отблеском луны от ручья ... под полком серебрилось на черном светлое пятно — залез на полок, ...е еще ощупываясь, вытянулся головой к окну. Лица его не было видно, ...шь в отблеске лунном светилась широкая борода. Голова, открыв рот, ...чти не дыша, слушал и разобрал крики:

— Тащи, робята, пятидесятников, полуголов!

— Се-еки!

Сакмышев ждал, когда крикнут его имя и чин, прошептал:

— Конец мне, стрельцы сошли к ворам!

Услыхал знакомый голос, последний, что он слышал:

— Должно в бане шукать?

— Вот они стрельцы от воро-о... — и быстро скорчился вглубь ...лка, утянув голову.

У дверей бани затрещал насыпанный к порогу щебень и уголь, ...визжала сухая дверь, откинутая злобной рукой.

— Эй, браты! Тут ен.

— Тяни чорта!

На площади Сакмышев не узнал города — вилась на большое про...ранство серебристая пыль, вся площадь была завалена кирпичем, ...ломками камней и штукатуркой — передней стены города не было, ... было и угловых башен, одиноко торчала воротная серединная башня ...церковью, железные ворота в башне были сорваны, рвы кругом засы...ны обломками кирпича и дымили той же серебристой пылью.

Толпились люди в бараньих шапках, в синих балахонах, стрельцы ...голубых и малиновых кафтанах; оглядывая своих стрельцов, Сакмышев ... узнал их — лица приведенных им из Астрахани казались злыми ...непокорными. Сакмышев слышал, как голоса обратились к кому-то:

— Васильич! Как с воротной, сорвать ее нешто?

— Нет, браты! — ответил высокий в синем полукафтанье; голова ...нал того заводчика Сукнина, которого ударил кулаком, когда пой...ли на море казаков.

— А, уж заедино ба рвать-то?

— Воротная башня, вишь, с церковью — отцы и деды в ей веру ...равляли — не мешает нынь, пущай стоит!..

«Стрельцы своровали... проспал я...» — думал голова.

Высокий, зоркий зашагал к Сакмышеву.

— Посекет! За саблю берется?

— Как есаул? Посечь его голову?

— В мешок! Пущай Яик мерит... царевым гостям в Яике места ...ого...

— Хо, хо! В мешок! Тащи, робяты-ы, рядно-о.

Голова был высок ростом, весь не поместился в мешке, лицо и борода выглядывали наружу.

— Затягай вязки!

Сакмышев, похолодевший, молчал, его в полулежачем наклоне прислонили к груде кирпичей, собирали камни, совали к нему в мешок. Есаул Сукнин оглянулся на Сакмышева и как бы вспомнил.

— А, да, забыл! — подошел и пнул сапогом с подковой в лицо Сакмышеву.

— Ай! а-а-а... — Голова начал выть, не смолкая, из глаз его текли слезы, из носа, изуродованного сапогом врага, ползла по бороде густая кровь.

— Моя ему послуга в память и долг!

Голову в мешке, набитом вместе с ним камнями, подкатив телегу, тащили к берегу реки свои же стрельцы в малиновом.

Было утро, с моря шли прохладные облака туманов. На устье Яика и моря грузились хлебом, мукой и порохом плоскодонные паузки. Топоры там и тут грызли дерево, и падали на землю влажные щепы — делались на паузках мачты, крытые будки. На иных судах на новых мачтах уж белели и синели паруса. На горе на груде кирпичей плакала высокая нарядная баба — плакала, причитывая по-старинному, как над покойником. Сукнин Федор крепко обнял причитающую и медленно пошел прочь, сказал:

— Остался я от Степана Тимофеича, а ты знаешь, Ивановна, что с того пошло?

— Ой, медовой мой! Куды я без тебя?

— Милослив бог — свидимся-а! — Сукнин спускался к берегу.

Седой, без шапки, весь в синем, старик Рудаков кричал:

— Поспешай, есаул! — Дела много указать надо людям.

— Иду, атаман! — И, обернувшись, крикнул: — Золотая моя Ивановна! Не горюй, не рони слезу — свиди-и-мся-а!

С кручи горы, со всего разбега в паузок к Рудакову прыгнул черноволосый юноша в зеленом выцветшем кафтане.

— Иншалла! [1]) Ходу з вамы...

— Ладно, Хасан! Иди, за послугу уговорно свезем в Кизылбаши.

Оглянулся на гору Сукнин, не утерпел, вернувшись к жене, обнимал ее, она висела на нем и плакала навзрыд.

Рудаков крикнул:

— Не медли, Федор! Сам знаешь: конной дозор в степи углядел, воинский люд с воеводой идет к Яику, надо нам упредить царевых сыщиков — самим уволочи ноги и к батьку Степану уплавить стрельцов, казаков, да и тех, что от Сакмышева к нам пристали-и!

— Знаю, атаман, и-и-ду! Прощай, кованая — не те, вишь, времена зачались, чтоб казаку дома сидеть!.. Не зори сердца — поди! Иду, атаман.

---

[1]) Если захочет бог.

На берегу стрельцы, опутав веревками мешок с плачущим головой, пели:

— Дайте ходу — дяде в воду-у!

— А-а-а-а! — слезливо, по-детски, скулило в мешке.

— Го-го-о-п!

Мешок взвился над омутом. Булькнув в Яик-реку, он погрузился, пуская пузыри, белые дуги и кольца волн.

— Плавай, воеводин дружок!

— Не сыщешь про нас больше!

Через час красно-синяя, на серых барках с цветными парусами, ухая и напевая песни, отчалила яицкая вольная дружина, стучали и скрипели уключины угребающих в Хвалынское море, а к вечеру того же дня пришел из Астрахани голова Василий Болтин чинить Яик и наводить порядок.

(Продолжение следует).

Колокола.

(Из хроники 900-х годов).

(Продолжение).

Иван Евдокимов.

Глава XII.

История о шапке.

Задолго до того, как Аннушка перенесла вещишки к Егору, зимой, Кукушкину помяло руку станком. Ползимы он болел. Но когда зажило, у его станка давно уже стоял другой. И стал Кукушкин на чистой городской половине паять и починять барскую кухонную посуду, а с Зеленого Луга, с Числихи, из Ехаловых Кузнецов носил он домой самовары и лудил. Но вдруг надвигались безработные недели, Кукушкин переходил с одного завода на другой, и его не брали, он голодал, должал, прятался от товарищей. Вил он по городу, как убежавший из зверинца зверь, и без памяти совался под ноги к прохожим.

На Толчке, в базарный день, били вора. Кукушкин, шатаясь в народе, первый услышал, как закричала какая-то женщина:

— Вор! Вор! Украл у меня! Держите!

Женщина, сжимая одной рукой кожаную ручку от ридикюля, другой показывала на уходившего, хорошо одетого человека.

Кукушкин заколебался, но женщина показывала на него. Кукушкин кинулся вперед, схватил вора... Тот, ухмыляясь, толкнул его, вырвался и, бледный, как лежавший на крыше снег, возмущенно закричал:

— Это безобразие! Как вы смеете? Обыщите меня!

Люд навалился. Будто затрещал, обломился большой забор и упал на бледного человека. Били на раздавленной тысячами человечьих ног снежной дороге, совали тычками в грудь, в бока, жали и давили живот. Кончили бить, когда вор был, будто изрубленное мясо в мясной лавке. Волоса у вора слиплись в красной жижице. Не смотрели под багровыми волдырями глаза. Пальто рваными лохмотьями торчало вместо рукавов, воротника, и на груди лежал вырванный клок жилетки, привязанный на часовой цепочке к карману.

Выворотили карманы, обшарили — и не нашли денег. Человек лежал, размазывая рукой кровь по снегу, молчал и слабо вздрагивал скрюченной, истоптанной ногой. Не нашли денег — и отхлынули, побежали, уходили, боязливо оглядываясь.

— Ошибка, братцы!

— Бабу бы надо отвалтожить чередом! В грех ввела!

Человек лежал одиноко на дороге, всем видный и жалкий и укоряющий. Лошади с возами объезжали человека. Сидор Мушка бежал от будки, ныряя в хлипком, как студень, снегу. Люд стоял кружком вдалеке и отодвигался дальше и дальше от человека, не отрывая от него жальчивых, беспокойных глаз.

Кукушкин отошел вместе с другими. От ошибки, проколовшей будто насквозь зудящей болью сердце Кукушкину, он забыл о голоде, не мог глядеть на поверженного из-за него, издавленного побоями, человека. Кукушкин грустно бегавшими глазами скользнул раз-другой по молчаливому люду, отвернулся и быстро пошел с Толчка.

На Прогонной улице он еще раз увидел человека. Красной кучей его везли на извозчике городовые. Кукушкин простонал, остановился, замер, задрожал морозной спиной и сводившими на ходу руками. Он сунул руки в карманы пальто — и рывком вырвал правую руку. А в руке был ридикюль.

Кукушкин будто стал нагой. Он в ужасе оглянулся по сторонам и, не попадая в карман, начал засовывать ридикюль обратно. Таясь от прохожих опущенными глазами, сдавив ридикюль в кармане, Кукушкин враз колотившему сердцу, торопливо и крупно зашагал домой.

Он не дошел до дома, не дотерпел... Прикурнул на густой и пухлой, как поднявшееся белое тесто в квашне, снежной скамейке на бульваре, осторожно вынул ридикюль, раскрыл его и обомлел. Ридикюль был полон серебра и кредиток. Кукушкин вскочил и почти побежал по бульвару, запыхавшись, будто загнанная на скачках лошадь.

Дома Кукушкин вывалил деньги в шапку сквозь пальцы, без звона, чтобы не услышали соседи за деревянной чуткой перегородкой — и раздумался надолго, тяжело, мучительно...

«Снести? Отдать?» — шептал кто-то в уши.

Но денег было двести рублей. Кукушкин зажмурил глаза, не выпуская рук из шапки, стоявшей на столе мягкой ласковой бадейкой.

«Вор! Вор! Вор!» — стреляло в виски.

И пришла такая простая и напуганная мысль:

«Кто же поверит?»

И будто кто-то сказал в комнате:

«Не поверят!..»

Кукушкин обрадовался. Он спрятал под подушку деньги, схватил пустой ридикюль, сунул его в карман и опять выскочил на улицу.

Проходили часы. Кукушкин бродил по городу, не решаясь, не находя удобного места, чтобы выкинуть ридикюль. Дома ледяными вышивками окон, заборы щелями, калитки, побелевшими от инея кольцами, улицы прохожими, собаками, извозчиками глядели на него и мешали. Люд проходил мимо — и, казалось, ухмылялся хитро и плутовато над ним.

Кукушкин вернулся домой. Подошел к крыльцу. Вдруг он оглядел в страхе и тревоге полу у пальто. В прохудалом пальтишке у кармана была дырка. В дырку выглядывал металлический глазок ридикюля. Кукушкин сразу вспотел и чуть не крикнул. Он сдавил в кармане ридикюль вдвое, прижал к телу подальше от дырки, простонал неслышно внутри себя, подумал и поворотил от крыльца. Руки сжались твердо, жестко.

У архиерейского сада он вырвал ридикюль из кармана и швырнул его за забор сильным освобождающим кидком. Ридикюль закружился, задел за корявые пальцы тополей, открылся, отскочил от сучьев и упал в снег по сю сторону забора.

Кукушкин отчаянно завертелся на бульварной дорожке, придвинулся к блиставшему на снегу ридикюлю, протянул руку, желая закрыть ладонью блеск ридикюля от себя самого и от надвигавшихся по бульвару прохожих, а потом подпрыгнул на боковой тропке и помчался прочь. Он покружил, заметая следы, по Толчку, по Прогонной и зашел на свою улицу с другого конца.

Два дня Кукушкин крепился. Он зашил деньги в тюфяк толстой складкой. Он ходил голодный по городу, ища работы, но ходил недолго: его тянуло домой, ему мешала толстая складка мечтать о почерневшей и накипевшей кастрюле, о самоварной полуде, о протекавшем оцинкованном ведре и прогоревшей в плите коробке из духового шкафа.

Кукушкин подпорол складку и вынул первый полтинник. И как разменял в лавочке, как опустил в карман гладкие медяки и серебряную чешую гривенников — стало весело, свободно, легко. Твердым уверенным шагом заходил Кукушкин по земле. Оделся. Берег мятую руку в фуфайке. Чистил сапоги. Не покупал извозчичьи папиросы «Трезвон», а покупал папиросы «Дюшес». И деньги не убывали...

Ехал Кукушкин в конке. Давили его на холодной площадке в пред-рождественские обжорные дни. Пахли ветчиной и снедью улицы, кухарки, саквояжи, плетенки, звенели винные бутылки в сутолоке, и булькалось вино в недолитых до горлышек посудинах. Ехал и Кукушкин с покупками, прижимая их к груди и отстраняя от них лезущий в набивку люд.

Скинул Кукушкин пальтишко дома, повесил его на недавно заведенную вешалку, расставил покупки на столе, отковырнул мерзлой колбасы, протер отпотевшую бутылку зубровки — и важно и удовлетворенно шагнул по комнате. Потянулся Кукушкин за папиросами в карман пальтишка и будто укололся в кармане... Замирая, не спеша, вынул Кукушкин из кармана темный незнакомый бумажник. Кукушкин откачнулся от пальтишка, погладил себя по голове, ущипнул за ляшку и устало уселся на стул и устало повесил голову. Озноб прошелся по телу и застыл крупкой.

Кукушкин вытряхнул бумажник. Бумажник развернулся на три раствора. А в растворах лежали сотенные, двадцатипятирублевки, десятки. Кукушкин сложил их грудкой, подсчитал и стал удерживать в груди больно надавившее в горло дыхание.

«Тысяча, тысяча, тысяча... и пятьдесят рублей» — завертелись в голове желтые, белые, зеленые, синие флажки кредиток.

Кожа на бумажнике была гладкая, нежная, как женские холеные руки, кожа пахла духами и каким-то неуловимым, необозначаемым, безымянным запахом краски. И когда Кукушкин исстриг ножницами бумажник на темные стружки, а стружки искрошил, завернул в бумагу, и ночью подбросил в наст на бульвар, ему стало жалко бумажника.

Кукушкин не спал ночь. А все праздники он пролежал на кровати, подымая испуганно голову на всякий денной и ночной шорох за перегородкой, за дверями, за окнами. Никто не приходил.

Кукушкин разглядывал ночами деньги и, ликуя, трепетал, отсчитывал вперед, на сколько долгих месяцев, годов ему достанет чудесных денег. А потом он холодел, плакал от незнания, и кто-то, казалось ему, подкрадывался тихонько невидимый, какой-то враг злой и беспощадный. Тогда Кукушкин уходил на окраины, за чистую городскую половину, подальше от Зеленого Луга, от Числихи, от Ехаловых Кузнецов, занимал столик в трактирах и молча пил. Он напивался. К нему подсаживались пьяницы завсегдатаи. Кукушкин угощал. Во хмелю он плаксиво кричал:

— Чорт! Чорт! Чорт! Чорт на меня работает!

Пьяницы обнимали Кукушкина и ласково шептали:

— Эх! И золотой ты человек! Гер-р-о-й!

Кукушкин дрался, раскидывая ногами и одним немятым кулаком собутыльников. А те, будто шутя, загораживались, увертывались и опять льнули-льнули-льнули, как летние мухи на пенки в жарко медном вареньевом тазе.

В похмелье Кукушкин ждал прихода неизвестного, беспощадного врага, усовывал под двойное дно, выделанное им в стуле, который раз пересчитанные деньги, ласково разравнивал их там и от грома закладывал ваткой. Но никого не было, но никто не приходил.

Скрывая свои сокровища, пряча от самого себя страх, прячась от пронырливо, казалось, глядевших людей, Кукушкин снова искал работы, лудил самовары, паял и чинил барскую кухню.

— Работа есть? — спрашивал Тулинов.

Кукушкин испуганно взглядывал.

— До отвалу.

А Кубышкин говорил:

— Ты, парень, што-то в мясо не идешь! Живешь будто и ничего, а чахнешь!

— От руки это...

Кукушкина вдруг окачивала, в сторожке у Никиты, как пыль, печаль. Он не досиживал до конца, срывался с лавочки и, будто гнались

за ним, быстро перелезал под ветлой, гнал себя по молчавшим лугам, врывался домой, в темноте ошаривал стул с двойным дном и крепко-крепко держал... Воры не приходили. Только кто-то, кто-то передвинул стул к дверям.

Кукушкин пропускал собрания. За ним заходили. И вели его. Сердце ныло, как метельный ветер в трубе на юру, на пустыре... Он не слышал слов, речей.

На четвертой неделе поста вышел Кукушкин купить олова в железные ряды. В проходных железных рядах была толчея. Кукушкину отвесили олова в лавочке. Вместе с оловом он принес домой золотые часы.

Кукушкин застыл, как омертвелое дерево на пожарище. Часы сползли с руки и хлопнулись о пол. Стеклышко выкатилось, попрыгало и хрустнуло мелкими звездистыми скважинками, будто лед под колотушкой. Золотая крышка сдвинулась с места и согнулась. Кукушкин сам не знал, как ступила нога на часы, а часы мягко подались, словно улезая под пол, он торопливо надавил и затоптался, запрыгал, заплясал на золотой каше.

И тогда Кукушкин занемог. Не пилось. Не елось. Не спалось. Он не заглядывал ночами под золотой стул. Он отшвырнул его в угол и навалил на него тяжелый слесарный инструмент.

Потом еще раз принес с базара Кукушкин старенький кошелек, а в кошельке было только два двугривенных.

И Кукушкин не стал ждать. Он взвалил на плечи стул, зажал в руке старенький кошелек, без шапки, без пальто, с помутневшими осенней мутью глазами, вышел на улицу.

В участке Кукушкин молча перевернул стул, высыпал на пол деньги, бросил в грудку кредиток старенький кошелек и дико закричал:

— Это не я! Это не я!

Пристав дал знак. Городовые схватили Кукушкина, повалили и связали.

Кукушкин проснулся от тяжелого, как впившиеся в тело и затекшие веревки, сна. Он оглядел камеру. На нары вскочила мышь из уголка и забисерила светлыми глазками. Кукушкин улыбнулся. И будто только от его улыбки мелькнул серый пушок в воздухе — и исчез. Раннее солнце заглянуло сквозь решетки и повесило на стене острый, истекающий к полу, алый меч. И как легкий прыгун мячик покатилась печаль от Кукушкина. Он вздохнул и, будто спеленатый и сладко проснувшийся в тепле ребенок, потянулся довольно...

Глава XIII.

Продолжение истории о шапке.

Кукушкин рассказывал, жандармский офицер записывал. Кукушкина уводили, жандарм хохотал, давя скакавший живот под жилеткой. Золотые брелки на цепочке прыгали и звенели, будто на жандарме была

цадета масляничная сбруя. Сначала допрашивали в участке. Из участка передали уголовному розыску. Из уголовного розыска передали жандармам. Три месяца передавали, а Кукушкин все рассказывал и рассказывал... Три синих папки начинались снова. У жандармов Кукушкин засел крепко и надежно.

— Да, да, — тянул жандарм, — я не спорю. Ну, а скажите, почему же у вас мы нашли в столе, под столешницей, нелегальную литературу? Вы понимаете, что значит нелегальная литература?

Кукушкин незаметно дрогнул.

— Нет, не понимаю, — просто ответил Кукушкин и только тут вспомнил, как он прятал под столешницу книжки и листки. И Кукушкин укорил себя за неосмотрительность легким укусом губы. Жандарм ухмылялся.

— Сказать проще — запрещенные сочинения. Да, вы знаете! Вы притворяетесь!

И жандарм застрожал:

— Прошу вас шутки бросить!.. Может быть, вам и под столешницу кто-то подкладывал книжки, а не вы сами их туда прятали и делали известные приспособления? Вы сами явились нашим наводчиком. У стульчика вы изволили смастерить двойное дно? Мы сделали вывод: а почему бы вам и у стола не повторить подобное устройство? Что вы теперь скажете?

Жандарм снисходительно и скромно откачнулся в кресле и оглядывал Кукушкина.

— Что я скажу? — повторил Кукушкин, прислушиваясь к своему голосу и равнодушно останавливая невидящие глаза на светлых пуговицах жандарма. — А ничего не скажу.

Жандарм весело просмеялся.

— Как же так ничего? Вы не рискуете тут подсунуть нам басню о деньгах?

— О деньгах я говорю не басню, а истинную правду, — заволновался Кукушкин.

— Скажите, когда вы были последний раз на собрании? И были ли с вами Егор Тулинов, Егор Яблоков и еще... Сергей Соболев? Они нам очень много рассказали про вас. Особенно про вашу дружбу с Просвирниным, про ваши разбои на Зеленом Лугу. Видите, от нас ничего не скроется! Мы давно за вами следили. Вам выгоднее не остаться в долгу перед вашими болтливыми товарищами. С ними у нас разговор короток, вас же мы оберегаем, потому что мы чувствуем, как вы случайно попали в уголовную и в революционную шайки.

Кукушкин взвешивал вкрадчивый, ласковый голос жандарма. Запаляясь ненавистью, он резко грубил:

— Чего привязался? Все сказал... Книжки мои. Нашел на улице. И конец. Ни на каких собраниях не бывал. Мало ли у меня товарищей из рабочих? Чего зря перебираешь фамилии? И врешь!..

Жандарм ласково протягивал руки.

— Ну, ну, поосторожнее! Не надо так возмущаться. Спокойствие, спокойствие... Волнение выдает человека...

Кукушкин овладевал собой.

— Не хитрите, ваше благородие! И товарищей моих в Иуды...

— Так, так, — живился жандарм. — Вы не допускаете с их стороны предательства?

Кукушкин засмеялся. Жандарм раздраженно переложил нога на ногу.

— Эх, ваше благородие! Вот ты и попался! Нечего им выдавать меня, когда нечего выдавать-то! Ничего секретного за мной нет. Ха-ха! Ка-а-к подкатился? Умо-о-о-ра!

— Вы думаете, мы не знаем, что Просвирнина убил Егор Яблоков? Знаем, знаем... Мы знаем все. И вы напрасно упорствуете! Хе-хе!

Из недели в неделю, месяцами, впивалось острое шило жандарма. Кукушкин вскакивал ночами от прострельнувшей по полу мыши, от задувшего в рамах ночного ветра, от собственного кашля — и отстранялся в тревоге к стене.

Кукушкина перестали водить на допросы. Кукушкину показалась еще молчаливее камера, еще страшнее эти облупленные старые стены. Кукушкин вгляделся в один крошащийся у окна кирпич стены, потрогал его холодное темя, из выдолбинки выползла жирная, белобрюхая мокрица. Кукушкин поморщился от боли, резнувшей в ногах и задергавшей быстро-быстро, как отбегала, шевеля задом, мокрица по стене. Никто не заглядывал в камеру, будто за стенами камеры была безлюдная пустота, не было ничего, некому было прийти оттуда, и никто больше никогда не придет. Кукушкин вызвал жандарма.

— Я же сам, сам принес вам деньги! — закричал Кукушкин.— Вы записали это?

— А как же? — холодно ответил жандарм. — Вас заела запоздалая совесть: вы и принесли деньги. Это в судебной практике довольно обыкновенно. Это часто бывает. Преступник приходит и сознается. Вон, в деревне, мужики каются перед всем народом... Больше ничего не имеете сказать?

Страх закричал в сердце сразу. Кукушкин давно выглядел каждую ложбинку стен, каждое клопяное пахучее пятно со смешавшейся кровью, быть может, тысяч сидевших в камере до него, каждый грибок сырости, наползавший с полу — и тогда месяцы обернулись годами, и он забился с головой под подушку, рыдал под ней — и опять позвал жандарма.

— Вы эту шапочку знаете?

Жандарм нежно подбросил на ладони меховую шапку с кожаным верхом и серым кантом на сшивах. Кукушкин удивился.

— Это моя шапка.

— Хе-хе! Нет-с, не ваша! Шапочка эта принадлежит отъявленному негодяю и налетчику Мишке Ноздре. Вы знаете такого?

— Не-е-т.

— Будто? Может быть, вы на карточке узнаете его? Дежурный, проводите господина Кукушкина ко мне в кабинет.

На большом зеленом столе грудкой лежали фотографии. Жандарм поднимал одну карточку за другой, направлял на нее из-под министерской жестяной треуголки свет и наблюдал за глазами Кукушкина. Жандарм время от времени стасовывал карточки и показывал Кукушкину одни и те же лица. Прошли мимо и обожгли глаза Иван, Кленин, он сам... И вдруг засверкало живыми глазами темное и жесткое и пьяное лицо Просвирнина. Кукушкин в испуге ухватился за карточку Просвирнина, и руки заходили враскачку:

— Воспоминания-с! — подхихикнул жандарм и вырвал карточку.— Он предлагал нам свои услуги. Мы не взяли. Он нам не подошел. Он не пользовался доверием рабочих. Но, но... делал весьма полезное дело, запугивая рабочих буйствами, от увлечения революционной пропагандой. Не знаете! Не знаете! Не знаете!

Карточки, как в карусели плывущие лошадки, сменялись одна другой. Кукушкин задержал одну, всмотрелся, вспоминая...

— Ага! — затаился жандарм. — Напрягите, напрягите память! Где вы его встречали?

Кукушкин обрадовался.

— На Толчке... Вор это. Его при мне били. Я его первый схватил.

— Мы знаем, что вор. Но кто он? Как вы его называли между собой?

Кукушкин грустно и укоризненно посмотрел на жандарма.

— Кто мы?

Жандарм сердито воскликнул:

— Да ваша шайка! Не хотите ли, я вам покажу и еще некоторые вещественные доказательства вашей деятельности?

Жандарм выдвинулся из-за стола, повернул лампу под треуголкой светом на шкаф и открыл дверцу. На полках в ряд стояли шапки с коканым верхом и серым кантом на сшивах.

— Тут-с девятнадцать шапочек... Двадцатая ваша шапочка. Все одинаковые... все с отличительным кантиком... все по особому заказу. Не вы их заказывали в шапочной Мошкова?

Кукушкин покачал головой, изумленно не сводя взгляда с жандарма.

— Тэк! Тэк! — веселился жандарм. — Ну и актерище сидит в вас! Ка-а-к ловко вы умеете играть! Да, жаль, жаль, очень жаль, что ваши таланты направились в дурную сторону. О! Наш народ очень богат самородками! Я всегда это говорил и буду говорить. Что вы молчите, господин Кукушкин? Где вы достали вашу шапочку?

Кукушкин пошевелился и радостно заулыбался, будто он нашел давно потерянную и забытую вещь.

— Я у Мошкова, у Мошкова... Я купил шапку у Мошкова.

— Дежурный! — громко выкрикнул жандарм. — Отведите господина Кукушкина в камеру. Усилить стражу. И больше меня не вызывать.

Двери камеры захлопнулись. В дверной глазок вздувались две свечи часового и тухли. Кукушкина не выпускали из камеры. Параша воняла в углу, словно где-то чистили ночью и днем ретирады, и кислый, едучий запах пропитал стены, потолки, кровать, руки и волосы. Кукушкин зажимал нос, но запах мочи и кала был в дыхании, пах весь мир, пахли мысли и крики и слова Кукушкина.

Он бил кулаками в дверь. Эхо сбрасывалось гулом и каталось по коридорам. За дверями грозили часовые и не отпирали. Опухшие кулаки были розовы, будто не кожа была на них, а выцветший на солнце кумач. Под содранными ногтями запеклись густые черные ягодки крови. Кукушкин стучал локтями, пинался, терся спиной, кричал, хрипел и выл в задвинутое дверное веко.

Когда он не утихал часами, в камеру врывались конвойные, отшвыривали его от дверей и били. Кукушкин не унимался. Его привязывали к кровати, выламывая изжеванную станком руку. И тогда Кукушкин извивался от боли, тускнели осенними стеклами и плакали глаза, он стонал, как роженица в схватках.

В осенние линючие дни камера забархатела сизой и сивой плесенью, грибница поднялась от полу до потолка, и по стенам бежала намыленная густая вода. Кукушкин дрог. Белье было сыро и вяло. Оно прилипало и стягивало на спине, между ног, подмышками, хлюпало и чавкало жвачкой, слюнявилось, харкало, гнило... Вместе с ним гнил Кукушкин.

Страх одолел. Заныла больная рука и напомнила о пожарище. Во сне привиделся сараюшка на пожарище. И будто второй раз в него стрелял Тулинов. Красная струя летела-летела-летела—метилась в грудь. Старый Кубышкин нюхал бородкой, пришепетывал, наклонялся, будто зыбка на очепе, и скрипел, скрипел... И разгорелся, разлился красный огонь злобы...

В октябре камера ослизла, как протухшая падаль. Кукушкину казалось, он червивеет в ней, слизнет... И так будет всегда. А за воротами, только немного нешироких кукушкинских шагов, мокрая улица, на голове у ней потное усталое небо, и люди идут одни, обходят грязь, вытянулись по улице черным гуськом... И будут они ходить с работы на работу, будут ходить так, будут останавливаться на мостках у кротегусных зарослей с острыми мечами перилец — и закурят, толкнут друг друга, засмеются...

Кукушкину захотелось пойти на Зеленый Луг, на Числиху, в Ехаловы Кузнецы и понести оттуда к себе с блеклыми побегами на боках самовар для полуды. А дома, на кровати, в углу, в субботу захотелось вытянуть ссохшуюся за неделю спину — и так весело, устало полежать... И даже ходить по городу, искать работы, даже на черном ночном переулке попросить на хлеб — отрада, свобода...

Кукушкин перестал бить в двери. Он звал жандарма. Часовые смеялись за дверным веком.

— Отчаливай! Не приказано звать!

Он умолял.

— Говорят ведь!

Кукушкин лег на кровать, не вставал... заголодал... И тогда пришел жандарм.

— Отпускай меня! — пробормотал Кукушкин.

Жандарм строго и серьезно наморщился.

— Вы нам дадите нужные показания?

Кукушкин помолчал... Отвернулся к стенке и злобно крикнул:

— Ну, да... дам!

— Хорошо-с!

Морозный день, как золотая фелонь, повис над городом. Кукушкин пил морозное вино воздуха и быстро хрустел по знакомой дороге в Ехаовых Кузнецах.

«Кличка ваша Серый, — зудели последние слова жандарма. — Мы ас берем на должность осведомителя. Вот распишитесь в жалованье. (венадцать рублей. Будете хорошо работать — прибавим. Не скоро, о прибавим. Раз в неделю по субботам будете извещать обо всем... мастерские поступите сторожем. Это устроено... Вас ждут...»

Кукушкин расписался, взял деньги и выскочил за ворота. Он сощуился на горевший чистыми серебряными грудами снег. Ноги помололи, несли его легко и ровно. Снег пружинил под ногами и выдавливался з-под подошвы густым выходившим тестом.

В мастерских его ждали. Через проходную будку шли товарищи, эясли за руку и смеялись:

— Во Иордане крещающийся?

— Отбарабанил?

Кукушкин отучился глядеть в глаза. Он скользил по сторонам и осил.

— К носу, к носу гляди! — шутил Тулинов. — Видно, совесть эчиста! В тюрьме потерял... Ха-ха!

Кукушкин отшучивался, а сердце палило горчичником. И Егор, Тулинов, и Сережка, и Кубышкин расспрашивали. Он рассказывал.

Старый Кубышкин завидовал.

— Дурень! Дурень! Этакое, можно сказать, навалилось счастье! накося! Страм, а не поведенье! В латерею ведь выиграл, в латерею!.. ошто, пошто было отдавать?

— Через тебя и у нас шарили. У всех. Я в засаду попал. Зашел тобой — и чок, — вспоминал Сережка.

Кукушкин молчал. Дежуря в будке, когда проходила вся смена, мастерские за спиной грохотали, шипели, шуровали, Кукушкин ежился скамье, ныл молчаливыми думами, печально озирался, вздыхал, и будто о-то говорил тихонько из каждой щели, из сучков, через крышу только но слово: «Серый! Серый! Серый!».

Он глядел из будки на высокое и чистое небо, на кужлявый в снегу род, но не было, но не приходила радость. Будка была той же камерой.

Камерой казался и этот город. И это высокое чистое небо было крышей камеры. А не все ли равно: маленькая или большая камера для человека?

Первая суббота непоправимо подползла к Кукушкину. Злоба прошла, остался стыд и позор. Но в субботу после шабаша он пришел в жандармское и стал у дверей в кабинете.

— Показания надо давать в письменной форме, — строго выговорил жандарм. — Вы скупы на показания... Что вы молчите?

Кукушкин пошевелился и трудно передохнул:

— Все... было... благополучно...

— Странно! Мы от других агентов имеем другие сведения.

— Я не знаю.

— Помните, — и жандарм сжал кулак, — помните наши условия: или свобода, или опять камера и... Сибирь! Привыкайте к работе... заводите разговоры... проникайте в кружки, на собрания... Мы следим за вами. Не думайте увиливать! Побольше, побольше инициативы, Кукушкин! А то...

Жандарм встал и подошел к нему вплотную.

— ...а то рабочие узнают про вашу секретную службу... Мы... сумеем распространить среди них... через наших старых агентов такой... маленький, маленький слушок... Да-с! Выбирайте! Вот! Ага! Уже страшно?

Кукушкин прислонился к двери и побелел.

— Да. Мы были слишком к вам доверчивы, — садясь на стул и упираясь глазами в Кукушкина, весело заговорил жандарм, — что выпустили вас, предварительно не опросив, как следует, конечно, в расчете на будущее, когда вы... Я хочу сказать... выкинете из головы всякие прежние бредни и будете служить, как подобает настоящему служаке. Что вы знаете о подпольной типографии? Не приходилось ли вам оказывать какие-либо услуги Арону Зелюку?

Кукушкин свободно ответил:

— Нет. Я ничего не знаю.

— А сами вы ходили на собрания?

— Ходил.

— Адреса квартир?

Жандарм ерзнул на стуле к столу и приготовился писать.

«Серый! Серый! Серый!» — заколотило в глаза, глаза ожгло, будто из глаз упали на щеки угольки и раздулись на щеках багровыми языками.

— В лесу, — тихо выговорил язык неправду...

И стало легко, ясно...

Жандарм недоверчиво всмотрелся в Кукушкина и положил карандаш.

— Что-то?.. Это не так?..

Кукушкин холодно, спокойно, не отводя взгляда от насмехавшихся глаз жандарма, сказал:

— Я еще не успел... Я первый раз был в лесу. Тут... повредило руку... Тут... с этими... деньгами связался...

— Но кто вас приглашал в лес? И когда?

— Первого мая. Пошли все...

— Как так все? Кто все?

— Сами знаете кто: Егор, Тулинов, Сережка... со всех заводов были ребята. На Прогонной ходили...

Жандарм исподлобья осматривал Кукушкина и пристукивал по столу пепельницей.

— И это все?

Кукушкин кивнул головой.

— Хорошо. В следующий раз поговорим более подробно.

Кукушкин бормотал, будто оправдываясь:

— Я что же? Я не привык...

Улицы шептали в уши:

«Серый! Серый! Серый!»

Но сердце мягчело и сладко ныло: прошла первая страшная суббота. А дома опять свалилось отчаянье, давило на впавшую грудь, хриело пересохшим горлом и стыло в усталых замутневших белках крас ыми сеточками бессонниц. В будке смеялись проходившие товарищи.

Кончив дежурство, Кукушкин бродил по городу, забирался на без юдные пустыри, уходил на Чарыму, неся, как ношу на сгорбленных лечах, тоску. А за ним бродил другой, остерегающий человек. Кукушкин е оглядывался, но он чувствовал упорно смотревшие в спину два нанятых лаза. И в этом была радость...

«Не ваш, не ваш», — будто шептали губы.

Ночью в середине недели, Кукушкин лежал на кровати с незасы авшими глазами. Месяц зачерпнул ковшиком серебра и плеснул в окно, ролил на пол, обрызгал стену. Серебряные дорожки шевелились, пол али по комнате высматривающими сторожами. Кукушкин уставился руг на стену. На гвоздике висела шапка с кожаным верхом, обсыпан ая месячной пылью. Кукушкин привстал. Будто шапка отодвинулась г него сразу ровно на столько, насколько он привстал. Он повторил: шапка опять отодвинулась. Месяц закачался за окном, потемнел, — апка ушла в полумглу и осторожно, медленно, таясь, то выходила, пряталась... Месяц обогнал облака. Круглое серебряное блюдо месяца одлезло под шапку, и она рассеребрилась изнутри побелевшим мехом, каном верха, и будто передвинулась на блюде. Кукушкин вскочил, жмурил глаза, наметился и вцепился вместе с гвоздем в шапку, сорвал , рванулся сам — и поймал шапку, сжал ее, засунул под тюфяк и лег нее. Серебряное пустое блюдо плавилось и плыло по стене, загиба сь краями, тускнело, нагорала на нем мелкая чернь, крапила его... укушкин закрыл глаза на миг — и вместо блюда на стене был уже не льшой и потухавший шарик, потом шарик перевернулся в пазу в кури-

ное яйцо, еще дальше прокатился по пазу в угол и остался надолго там серебряным наперстком.

Кукушкин давил собою шапку, и шапка будто рассказывала ему. В шапошную Мошкова пришел человек и заказал двадцать кожановерхих с серым кантом на сшивах шапок. Человек этот уплатил вперед за шапки и оставил Мошкову книжку с корешком. Заходили разные люди в шапошную Мошкова, подавали ему талон и получали шапки. Мошков подклеивал талоны в корешок и выдал девятнадцать шапок. Двадцатую шапку забыли, талончики засунули, потеряли... Пришел Кукушкин и купил двадцатую шапку. Пришел опять тот заказчик за двадцатой шапкой, а шапки не было. Потопал у прилавка, погрозился — и ушел. Мошков посмеялся... А тут в ночь подкралась полиция... Искали талонную книжку, водили, возили на допросы Мошкова... По шапке Кукушкинской выловили девятнадцать карманников, двадцатый, Кукушкин, сам пришел. Сновали кожановерхие, серокантные на сшивах шапки на Толчке, в магазинах, в Гостином дворе, в конках, заглядывали в открытые пазухи с бумажниками, на брюшка с золотыми цепями, на ридикюли на тонкой женской ручке зевачие, стригли, высаживали, терлись в сутолоке... Завидев родную шапку, украв, совали, как в свой карман, в карман Кукушкинский бумажник, часы золотые, старенький кошелек с двумя двугривенными. Оттого и пришел первый заказчик: Кукушкин деньги воровские на двойное дно положил...

Кукушкин вспомнил, как жандарм открыл шкаф с шапками. И, вспомнив и засунув под тюфяк руку, ощупав свою воровскую шапку, он заплакал, грузно ворочаясь под грузными отчаянными слезами.

Кукушкин расклеился, расщелял, как судно, выкинутое разливом на речной берег. Судно набочилось, отскочили поперечины, перекосило обшивку, искоробило нутро, и киль отвалился.

«Серый! Серый! Серый!»

И опять пришла суббота. И опять пошел предавать.

Крадучись, вечерком, Кукушкин долго кружил около жандармского отделения — и не решался.

Шли январские гапоновские дни. В мастерские проносили прокламации, и Сережка совал ему первому. Покупал Кукушкин газеты, прилипал к черным пояскам букв, въедался в них слезившими глазами, и буквы, как клопы, наливались кровью. Был недавно в солдатах Кукушкин в Петербурге, на Загородном, ходил на Неву, грыз семечки в Александровском саду, стоял на Дворцовой площади долгие усталые часы на смотру и глядел на светлые царские окошки полнощекого румяного Зимнего дворца.

И Кукушкин вспомнил, не вспоминая. Выехал на коне со двора чугунный памятник — царский дядя Николай Николаевич — и в сердце, точно на площади, рвануло во все стороны:

— Сми-и-рно-о-о!

Был тонок и писклив голос у царского дяди, будто у глухой бабы, и был царский дядя худ и прям и длинен, как древнее било, а на верхушке сидела маленькая с кулак голова. Он поехал по солдатским коридорам. Лицо его было и серо и немо и щербато, как дворцовая набережная. Глядя и не видя синими бусинками глаз, Николай Николаевич редко открывал рот — и тогда голос-пискун вонзался острым шилом:

— Здорово, молодцы!

Кукушкин опять услышал этот царский голос... И он побежал с Дворцовой площади вместе с рабочими, полез на решотку Александровского сада, накололся, упал в снег, пополз, а сзади пронзительно кричал Николай Николаевич, щелкая ладошами:

— Пли! Пли! Пли!

Кукушкин застонал. И вдруг он вздрогнул: кто-то подошел к будке, загородил свет, улыбнулся ему и протянул руку... Кукушкин откинулся к стенке, отстраняя руками: перед ним стоял Николай Николаевич...

Кукушкин с криком вскочил — и сразу забелела в глазах чистая и пушистая пелена полянки. Он робко, не веря, улыбнулся, опустил потом глаза и не смел поднять их: шла суббота.

В мастерских днем была сходка, летучая, как один поворот колес. Ныла измятая простреленная рука. Но он был чужой, он был враг.

«Серый! Серый! Серый!»

И он, Серый, должен был явиться сегодня...

Кукушкин решился. Он подошел к двери, потрогал холодную медную ручку... Дверь раньше растворилась и на улицу прохромал Кленин. Кукушкин обмер. Вдруг улица будто зажглась тысячами бесстыдных фонарей... Глаза ударились о глаза. Он крикнул. Кленин только поднял руки на голову, а Кукушкин уже подсек хромую ногу пинком, плюнул лицо, ударил, закричал:

— Преда-а-тель! Преда-а-тель!

Кукушкин долго топтался остервенелый и страшный, царапал лицо, впивался в Кленина неразжимающейся рукой... Кленин катался о земле и виновато твердил:

— Кукушкин! Кукушкин! Кукушкин!

Из жандармского выбежали жандармы, отволокли Кукушкина, подняли Кленина и под руки увели в подъезд. Кукушкин вырвался — кинулся в темноту. Закричали вдогонку:

— Стой! Стой!

Ахнули бегучие наганы... Пронеслись, как большие камни, пули. сменил дребезжащий, нагоняющий шлеп многих ног... Кукушкин уходил. Он выскочил на Прогонную улицу. Погоня отстала. Кукушкин вдруг остановился, прижался к круглой афишной вертушке, постоял, одумал...

На крутом спуске звенела желтыми вечерними огнями конка, Кукушкин пошел ей навстречу. Он долго стоял у рельс... И отшатывался от трензеля звонков. Так и шли мимо и уползали от него конки. И не

уползли... Кукушкин огляделся кругом, махнул рукой и нырнул под одну такую тяжелую толстобокую, громыхавшую железными круглыми лапами, конку.

Кондуктор схватил рычаг... Конка поперхнулась... Осадила... Но прежде она уже наступила на Кукушкина, чмакнула густое мясо, забрызгала кровью лошадиный зад и коротко, торопливо, наспех крикнула...

Глава XIV.

На Чарыме обсыхал летами маленький каменный остров. Был он в пяти верстах от города. Приставали к нему в непогоду рыбаки и жили на нем чайки. Туда ночью и выехали на лодке товарищ Иван, Егор и Тулинов.

На острове полыхал костер. Будто загоралось озеро в одном месте, вспыхивало и не могло загореться пожаром. Огонь вспыхивал и утихал — и тогда казался он маячной лампой на бакене. Тулинов греб, упираясь в вязанку собранных на берегу дровишек. Егор правил. Товарищ Иван неподвижно сидел в середине лодки и молчал. Под лодкой слабо курлыкала и переливалась вода. Весла черпали ее широкими ладонями и мерно стучали на уключинах. Лодка, сбиваясь в темноте с дороги, гнулась, как гибкое тело, под кормовым веслом, костер и лодка, казалось, плыли друг другу навстречу.

Огонь становился все различимее и яснее. Застраняли его порою спины. И тогда лодка шла на розовевшие отсветы в темноте. На полдороге осторожно сменились: Егор перешел на весла, Тулинов на корму.

Подъезжая к острову, Егор три раза свистнул. И три раза ему ответили. Лодка вошла на освещенное полотно воды. Сережка наклонился с каменистого шершавого берега и схватил лодку за нос, уберегая от камней. Он подержал лодку, покуда из нее выходили, а потом все вместе подернули ее на берег и навалили на железную цепь грудку камней.

У костра было много народа. Поворотились к приехавшим — и ждали, разглядывали. Старый Кубышкин потеснился на камне и дал место товарищу Ивану. И сразу зашептал ему в ухо:

— Со всех заводов ребята есть. Дело наклевывается. Ребята все наподбор. Егор, как цыган лошадь по зубам узнает, мастер людей нюхать.

Рассаживались кружком у костра. Сережка подкинул дровишек. Костер повеселел, засмеялся золотым ощером углей, зафукал красным роем пчел, повалил мохнатый спутанный дым, покидался туда-сюда, начал укладываться к земле.

Тулинов закашлялся, товарищ Иван отмахивал дым, другие низко наклонялись в колени, а Кубышкин выругался:

— Пошел, пошел, едун! У меня, братцы, глазной закат. Будто кислое яблоко на зубах дрызгает... Не кидай больше горючего. Одной лампады нам хватит. Неровно рыба кит выплывет со дна на огошек.

— Кит о двух ногах.

— Совсем и огня не надо. Собрались все...

— Полиция верные сообченья имеет от провокаторов... Поди, ищет?

— Глаз бы друг дружке не выколоть — и ладно.

— Дело минутное. Каждый знает, для чего собрался.

Сережка потоптался тогда на костре, и две большие головяшки ыкинул в воду. Костер перестал дымить. Огонь копался в золе и шипел, ак кипучая вода между камней.

Товарищ Иван вынул из кармана вчетверо сложенный листок, ачнул пенснэ на переносице и подвинулся к огню. Все уставились на елый смятый листок, будто держал в руках товарищ Иван не виданную икогда раньше вещь.

— Мы, товарищи, — заговорил он, — в прошлый раз обо всем отолковались. Повторяться не к чему. Собираться больше не станем, окуда не проведем на местах намеченное ранее. Сегодня выслушаем олько последние сообщения с заводов и выработаем наши требования.

Товарищ Иван замолчал. Егор прибавил:

— Завтра надо приступить к делу. Все уж обмозговали. Затяжка — ред. Долго ожидать — старость придет. Фабриканты подготовятся. I стачка пойдет хуже. Врасплох на медведя наскочишь, он медвежьей олезнью всю дорогу изгадит, а в лоб да с подходцем итти, ружьем дразить, встанет на дыбы и под себя подомнет.

— Дай мне поговорить, — тут перебил Кубышкин, — не ндравится не тары-бары растабары. Ребята все готовы. Сам знаешь, мастерские нас гудут, будто ветер в трубе гу-гу-гу-гу... Кой чорт! Чего тут прохлаждаться? На других заводах тоже в носу не чешут. Ждут только сдвиуться с места.

— И у нас!

— Мы готовы!

Товарищ Иван начал опрашивать заводы. Говорили коротко, будто зали слова, совсем не отвечали, а кивали головой. И Кубышкин веселился:

— О! О! Чем не солдаты?

А Егор спросил:

— Кому товарищи, начинать?

— Мастерским!

— Кожевенному. У них свисток больно звонок!

— Ткачам!

— Кому, как не ткачам: пятнадцать тысяч народу. Тряхнут мощй — наводненье на Зеленом лугу.

— Гляди, горит как дворец-то у них? Будто поп в ризе. Башка-то борной камилавки выше.

— А мы — будто плоты по земле плывут. Червяки, а не огни у нас. народу щепотка.

— Может, не загадывать, ребята, у кого раньше выйдет?

— Сказал, дядя, тоже чушь. Тут разноголосица и получится!

— Не шутку затеваем!

— Бабам трепать у колодца впору так языком!

— Наметить беспременно надо.

— Мы начнем, — сказал твердо ткач.

Он сидел поодаль на большом камне и сверху смотрел на красную жаровню костра. Будто все сразу пересели с места на место и оборотились к нему.

Чарыма тихо шевелилась о гладкие камни, закутывалась темным одеялом ночи, подтыкаемым в берега. Лодки горбатыми рыбами, вынырнувшими из-под камней, ходили на привязи. Островок, как вершина каменного дерева, вцепившегося корнями в озерное дно, покачивался спросонья. А над ним повисли с неба серебряные кисти звезд. В дальней черни неба сияла и моргала бесконечными серьгами, четками, бусами, ожерельями ткацкая фабрика. Ткач, а за ним будто все, глянули на сонмы ночных огней фабрики, и будто прислушались: не кричит ли завтрашний тревожный и радостный гудок? Снижаясь до грудей, до пояса, до колен ткацкой фабрики, прижимались к ней и справа и слева нечастыми огнями другие заводы и фабрики-маломерки.

— Товарищи! — говорил Иван, — на каждой фабрике и на каждом заводе есть свои особые нужды. Пускай отдельно их и предъявляют на местах. Обсуждать нам их не зачем. Так и примем. Заготовлены требования?

— Есть!

— Уложено все, как следоват!

— Ясно — у токаря одно, у слесаря другое, у кожевенника не похоже на молотобойца!

— Но есть общие требования, — перебил товарищ Иван: — с ними надо выступить от всех фабрик и заводов. Их нам надо разобрать. Прошу высказываться!

Торопясь, захлебываясь, дыша над костром цыгарками, сгруживаясь в черные глыбы, рабочие обсуждали счета Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов сверкавшим вдали фабрикам.

— Администрацию долой!

— На тачки ее! Запором от ворот!

— Мы Четыркина с мастерами вытряхнули!

— У нас завтра, вывезем!

— Третьеводни мастеришка мы одного за ворота — пинком!

— Ночью не работать! С бабой поспать некогда!

— При огне работы хуже нет. Глаза будто иголкой подтыкает свет. Тяжело ночью. Развозит, как два дня проработал без отдыху.

— Спят все дьяволы на свете, а ты, будто фабрика — пароход: у топки стой.

— Прибавки!

— Прибавки!

— Восемь часов!

— Восемь часов!

— В восьмерку я выработаю столько да пол-столька, да четверть-столька!

— Знамо дело!

— Товарищи, — шевеля листок в руках, заканчивал Иван, — организация завтра отпечатает эти требования и распространит.

— Не все, не все! — выкрикнул Сережка. — Царя бы... к чорту! Министров!..

Рабочие засмеялись. Кубышкин ерзнул на камне.

— Об них речь опосля!

— Кубышкина в цари выберем!

— А тебя в наследники!

Старик кинул в Сережку картузом. Сережка поймал картуз и сунул к себе за пазуху.

— С крестным ходом! До города не отдам, старичина!

Кубышкин махнул рукой, огляделся, ухмыльнулся, стащил с Тулинова картуз и надел на себя. Тулинов вздрогнул, схватился за голову, засмеялся — и остался сидеть так. С Сережки кто-то сзади сорвал картуз и швырнул в темноту. Рабочие засмеялись, меняясь картузами и быстро шныряя руками над костром. Кубышкин прижал картуз на макушке и перегибался в сторону, вытесняя Ивана. Улыбаясь, товарищ Иван встал с камня.

Чарыма медленно и лениво переодевалась. Обозначались смутными пролежнями берега, а на них черными кучами, кочками осоки, камыши. Ветер начал поддувать от Николы Мокрого, из Заозерья, с Лысой горы, от Василия на Етке. Он шатался, не находя дороги, подгонял ежиком зыбь, подхлестывал на пути островок и будто относил его со своего места.

— Пора, ребята, по домам, — вдруг сказал Кленин.—Как бы на полицию не наткнуться. Она шнырит...

Егор, Тулинов, Сережка, Кубышкин переглянулись. А Сережка подошел сразу к нему и тихонько сказал:

— Ты погоди: дело есть. Наши поедут последние. Все сразу — место хорошее — полиция расчухает...

Кленин присел на хромоножке и ничего не ответил.

Лодки отталкивал от берега Анс Кенинь, откидываясь назад и налегая грудью. Чарыма катилась к городу. В корму, в спину дул попутный ветер. Три, низко осевших восьмерика быстро уходили, правя к берегу. На виду подрастал водяной бобрик, и скоро лодки, казалось, вывернулись из-под людей, люди сидели на воде, их несло, топя и окидывая брызгами. Ранний предутренний туман начал вылезать со дна. С неба заскользили бледные кисеи, они наматывались одна на другую. Над выцветавшими мельканиями ткацкой фабрики с маломерками будто пошел снег и закрыл их, запорошил хлопьями.

— Ну, какое еще, ребята, дело? Пора спать! — лениво зевая, сказал Кленин.—Фуксом я попал сюда. Не для чего совсем. Кажись, все накручено на катушку!

Тогда на шею легла ему тяжелая, упругая, как гибкий очеп, рука Анса Кенинь. Кленина окружили.

— Понял теперь? — крикнул, плюясь слюной, Тулинов.

Кленин пожижел и побелел, как туман, обволокавший остров.

— Что вы, что вы, ребята?

— Провокатор! — загремел Егор. — Предатель!

Старый Кубышкин наклонился к земле, выбрал с острым мысом камень, забормотал, дрожа бородкой и головой и просовываясь к Кленину:

— Дайте, дайте мне, старику, первому размозжить ему голову!

Кубышкина обнял Сережка и вытряхнул у него камень.

— Погоди, дедко, успеешь... Дай допросить.

— Я.. я... нет, — не глядя ни на кого, трудно выговорил Кленин.— На меня наплели!..

Потом он быстро приподнялся на хромоножке, выпрямился и закричал дико, отчаянно, краснея и натуживая горло:

— Давай очную ставку! Кто, кто, кто сказал?

Чарыма плеснулась, захлестнула крик, он улетел к пустым берегам, в осоки, в луговины, перекликнулся там и стих...

Сережка засмеялся. Анс Кенинь сжал зубы. Они не укладывались один на другой, соскальзывали и стучали.

Егор допрашивал:

— За сколько ты нас продавал? С какого ты времени торговлишку открыл?

— Ты... ты не ходил в жандармское? — рыдая, спрашивал Тулинов.

Старый Кубышкин визжал:

— Ты... ты не говорил на Кукушкина... Не он, не он Иуда, а ты.

Анс Кенинь тряс Кленина за шиворот. Голова его моталась на жилистой шее, и ножка, уставая стоять, приседала.

Спокойно и резко говорил Егор:

— Не отпирайся! Аннушка тебя видела у жандармского. Мы не поверили. Выследили тебя. Я тебя выследил... И Сережка. Сегодня ты донес бы о забастовке?

Кленин молчал. Со всех сторон вцепились в него руки. Все дрожали. И под дрожащими руками Кленин тихо шатался, словно падал, и ему не давали падать, держали его на ногах.

— Сволочь, говори! — заревел над ухом Анс Кенинь.

Кленин моргнул глазами... Глаза шмыгнули между плеч и голов на Чарыму. Все было бело вокруг, непроницаемо, узко. Кленин увидал нос лодки, уключины, всплеснувшие руками весла, а кормы уже не было видно. Кленин жалобно и злобно выбросил, как камень в воду, отчаянный вопль:

— Спасите! Спасите!

Сережка схватил его за горло, давнул и перервал крик. Анс Кенинь тяжело ударил сверху по темени. Кленин охнул, юркнул головой вперед и прикусил язык. На губах выдавилась красная пена и в лузгах лопнули один за другим маленькие пузыри слюны.

— Завязывай его, завязывай! — завизжал старый Кубышкин.— Пора, пора ему помирать!

И еще раз спросил Егор:

— Не скажешь ничего?

И опять завопил Кленин:

— Караул! Караул! Спасите!

Анс Кенинь зажал ему рот рукой. Тулинов и Егор вывернули ему руки назад. Сережка торопливо полез в карман, вытянул тонкую бечеву и скрутил руки. Старый Кубышкин вцепился в лицо и густо харкнул ему в глаза. Кленин завертел глазами и встряхнул головой. Харк пополз от глаз и остановился на щеке...

— Иуда, — стонал Кубышкин, — хуже Иуды...

Кленина столкнули на камни, прижали... Сережка скручивал бечевой ноги. Кленин вытерся щекой о камень и смазал харк. Он будто перестал понимать, думать. Он только лежал на земле, а над ним толклись какие-то посторонние ему люди, связывали ноги, совали ему в карманы пиджака, брюк, за пазуху камни. Кленин вздрагивал от холодных, коловших тело камней, но свыкался, шевелился, укладывая движением удобнее камни на груди, на боках... Над ним говорили шопотом, и шопот дрожал:

— Не всплыл бы?

— Где же с таким грузом?

— Щуки и окунье полакомятся!

— Щуки, нет... Окуни — те хорошо клюют на мясо.

— И раки не откинут.

— Гад ведь какой, ребята?

Кленин слушал, различал голоса Сережки, Егора, Тулинова. Ныл во рту прокушенный язык, дергало под коленком на хромоножке, а глаза глядели, будто отпотевшими, ничего не видевшими осколками зеркала.

— Надо отвезти поглубже.

— Спустим ногами.

— Пузырь ему нальет, он стояком на слежку и встанет на дне.

— Не накрыли бы, ребята, нас на берегу?

— Знает полиция али не знает про собрание на острове?

Тут Кленин заморгал-заморгал глазами и, будто его спрашивали, спокойно сказал:

— Знает.

Вязавшие руки остановились. Но Егор засмеялся.

— Откуда она знает? Я его позвал на заводе вчера, а места не сказал. Сережка за квартирой следил. Кленин сидел дома. Буде огородами

вылазил, да не к чему ему было огородами. Сережка за ним зашел и привел.

— Да. Тогда не знает.

Кленин вздрогнул. Он прищурился на Егора насмешливыми глазами, но от каждого слова Егора глаза разворачивались, умирали и круглели ужасом.

Сережка весело шутил:

— Ничего у тебя не выходит, Кленин! Облапошили мы тебя... Долго ты не давался. По случаю пришелся. Веревочку сам на себя нес... Мы с Егором по шпионской части тоже доки. Большая докука будет жандармам.

Кленин сморщился. Из глаз выкатились слезы. Тулинов начал хлопотать:

— Пора, ребята! Больно долго возимся с прохвостом. Себе дороже. Бери, Анс, за голову, а я за ноги. Нагрузили камней много... Пожалуй, не унесем? Сережка, ты главной камень у ног-то поддерживай на весу. Мне не осилить зараз всего. И в лодку всем нельзя: перекувырнем вместе с ним.

Кленина подняли. Середнюю часть тела сразу оттянуло мешком, камни тупо врезались в тело — и Кленин заныл...

— Не любо? Не любо? — зашипел Кубышкин.

Сережка кинулся на Кубышкина:

— Держи, старик, лодку: рано залоговать! Помогай!

Кленин перемог боль от камней, завыл и забормотал:

— Товарищи! Ребята! Братцы! Не буду... не буду! Заслужу!.. Пожалейте бабу мою!.. Одна останется!.. Девчонку... сироту... пожалейте!..

Кубышкин крякнул, топнул с плачем ногой, схватил за руки Тулинова и остановил:

— Погоди, погоди!..

На Кубышкина злобно закричали — Егор, Сережка, Анс, Тулинов.

Старик замялся и тихонько выговорил:

— Ребята, ладно ли делаем? Побить бы... да клятву?..

Кленин зарыдал, извиваясь плетью.

— Силантий Матвеевич! Силантий Матвеевич!

Тулинов толкнул Кубышкина плечом. Егор навел на него упрямые, угрожающие глаза. Старик плюнул и пнул с визгом Кленина в отвисавший на перегибе зад.

— Какой я тебе Силантий Матвеевич, душегуб? Не пачкай меня своим величанием!

Кленина понесли. Он забился, завертелся, размахиваясь телом, накренял лодку... На живот сел ему Сережка и крепко ухватился за борта. Выдавливая ему лопнувшие зубы, разрывая щеки, он воткнул ему в рот острый камень... Крик смолк... Кленин гнусел носом слова жалкие и косноязычные...

На берегу остались Егор и Кубышкин. Лодка скользнула в туман. В тумане заскрипели уключины, гнусил, стихая, нос Кленина, колоти-

нсь в борта волны... А потом уключины перестали скрипеть, в лодке авозились, застучало гулкое дерево под сапогами... А потом тяжело :люпнуло...

Кубышкин выждал, будто видя в белом снегу тумана, как укладывалась разевавшая пасть волна и как мелкие-мелкие-мелкие торопливые узыри лопались на ней и шли со дна. Дрожащими губами Кубышкин казал курившему Егору:

— Спустили!

И сразу стали слышны уключины. В тумане заплескалась будто ольшая черная рыба — и лодка выскочила острым носом к островку. ережка озорно закричал:

— Силантий Матвеевич, утопли!

Старик ничего не ответил. Он неловко забирался в лодку, долго римеривался, подтаскивал лодку к себе, придерживал рукой и, накоец, шагнул на середину. Егор оседлал нос и оттолкнулся от берега.

В тумане без пути и дороги ковылялась Чарыма, и вместе с ней юкачивался туман, покачивалась лодка, покачивались люди... Лодка ıла наугад. Долго ехали в тумане и не сказали друг другу слова: за них оворили чайки. Проснулись голодные птицы на поемных лугах, в осоах, на кочках — и закричали. Спряталась под белой пеной тумана Iарыма, гуляли станами осмелевшие рыбы, слышали они чаечные крики не уходили вглубь.

(Окончание следует).

Лето 1925 года в Париже.

(Из дневника).

Илья Эренбург.

...Мне удалось легализироваться и перед полицией и перед социальной совестью. Так оседает, кстати, пыль, оседлой становится шаткая тень, рыскавшая по ночам возле застав, оседлой и даже полезной. Не выдержав свободы и голода, я прикрепился. В мои обязанности входило перегонять баранов со скотного рынка Виллет на соседние бойни. За десять часов работы я получал двенадцать франков. Этого хватало на чуланчик в номерах, гордо именовавшихся «Отелем Монте-Карло», и на три порции жареного картофеля. Кроме того, мясники, растроганные удачной сделкой, порой давали мне франк — другой. Я сердечно благодарил их и с жадностью поглощал телячью голову, облитую кисленьким уксусом. Вечерами приходилось довольствоваться хлебом и еще световыми рекламами. Грех жаловаться — я жил неплохо, забыв о мире, о хороших обедах, о главлите и о «попутчиках». Аккуратно считал я зады баранов, исхлестанные роковые зады, на которые рука погонщика занесла свою тоску или ухарство, считал их, пересчитывал. Я ни о чем не думал.

Несколько слов о профессии, дабы устранить возможные недоразумения. Забудьте музейные ландшафты, вечерний отдых и сельский перезвон! От рынка до боен было 300 метров — крестный путь стольких-то голов. Порой бараны упирались и, сбиваясь в огромную кудластую сороконожку, трагически мычали. Я кричал тогда «Э! Э!». При чем голос мой, бывавший вдоволь нежным, когда приходилось заговаривать барышень или читать публично некоторые главы из «Жанны Ней», ухитрялся теперь пугать этих агонизирующих тварей. Иногда приходилось и хлестать растравленные спины. Вокруг меня сновали люди в синих просаленных блузах, твердя о килограммах и франках. Мне казалось, что движутся не бараны, а только фунты разносортных котлет. Труднее всего давались последние шаги. Бойни делятся на участки, соответствующие городским кварталам. Мой — «Гренель» — помещался в конце. Баранов приходилось прогонять по лужам родственной крови, то трагически яркой, как эмалевая краска, то окисшей и темной. Мои монотонные окрики покрывались воистину

отчаянными ариями закалываемых животных. Слыша смерть, что рядом, за поворотом, жирную и гадко крякающую смерть в синей блузе, бараны останавливались. Какую власть имеют понукание или даже палка там, где крохотное тепло, уют теплых ночей в загоне, смак жвачки еще борются со смертью? Тогда надсаживаясь и обильно потея (отчего брызги крови и грязь на моем лице замешивались в тесто), я становился на корточки, и нудно проталкивал вперед это живое, блеющее мясо.

Час спустя скаредно скрипели весы, и сорок су чаевых обращали мою меланхолию в кроткий полусон над сальной тарелкой соседней харчевни.

Я завидую крестьянам — этой растительной жизни, корявым корням низкорослого кустарника, предохраняющим сердце и от ветров и от обольстительного ахания паровозов. Еще более завидую я профессиональной стойкости иных людей. Выходил же в Москве 20 года, среди пафоса и вшей, листок, чинно обсуждавший различные марки старого фарфора. Почему я принимаюсь на любой почве? — сказали «живи!», дали штаны и миску супа, готово — живу. Мои годы напоминают водевиль с переодеваниями, но ей-ей я не халтурю, я только подчиняюсь. Я могу писать «Хуренито», а в жизни исправно мычать и проделывать соответствующие триста шагов, как самый заурядный баран. Измены здесь нет — ведь никто никогда не поставил мне на сердце клейма «такой-то»,— просто меня перепродавали из рук в руки, измены нет, есть смена, чередование профессий, стран, так называемых «убеждений» и еще шляп. В марте я был писателем, насколько помнится, читал в Брюсселе обстоятельные доклады о современной русской прозе. В июле мой мир определялся, вместо Бабеля и Федина, вышеозначенными задами. Писал я, скорей всего, потому, что так пошло уж — «писатель», это слово в паспорте и на устах знакомых делало жизнь, как блок-нот и перья, как рецензии, письма издателей, счета за комнату или неприятная легкость дня натощак. Теперь, ложась ночью на тряскую койку «Отеля Монте-Карло», где, переварив сало соседних боен, жирнющие мухи засиживали маршала Фоша, где маршал этот всю ночь глядел на меня кобальтовыми глазами, полными вечности и старого сала, я не помнил, кто я. Оставались только неистребимые приметы: крупная родинка на плече, общая немощность, угрюмое сердцебиение, когда нечаянно повертывался я на левый бок, дабы отстать от маршаловых глаз — да, это я здесь, я, Эренбург, рабочий боен в Виллет. Я забыл, что в печатном листе сорок тысяч букв, что мороз в Москве труден и высок, что стихами Пастернака можно дышать умирая, как кислородом подушки. И однажды вспомнив это, вспомнив также иное, о чем здесь не место говорить, я сбежал вниз и к немалому удивлению хозяйки, суетясь, даже задыхаясь, стал требовать чернил. Да, да, не рюмку кальвадоса, чернил. Скорее! Чернила шли за лекарство. Я написал жене: «Если ты поправилась, приезжай. Я живу неплохо, но мне кажется, что я погибаю. Впрочем, это только — мнительность от медленного пищеварения. Телячья голова очень тяжелое блюдо. Прости, что я пишу тебе все неинтересные вещи.

Я не знаю, где сейчас выставка Ренуара, и с кем флиртует Бузу. Если удастся это выяснить, сообщу дополнительно. Но лучше всего приезжай. Приезжай, обязательно приезжай!».

Письмо это я не отправил. Я разорвал его, позволив себе столь классический жест, несмотря на наклеенную уже марку. Я затрудняюсь сказать, от чего мне было больнее отказаться в ту минуту — от нежных чувств или от этих шести су. Я попросту струсил: — приедет, изумится: где? что? какие бараны?—станет плакать, выговаривать за то, что небрит, давно, вечно, небрит, грязен, ободран, упрашивать переехать к ней в пансион, словом, начнется нечто скучное, хлопотливое и ответственное. Придется, чего доброго, снова сесть писать. Нет — уже лучше кричать: «Э! Э!». Так не вылечили меня и чернила.

Лето стояло на редкость душное. Изъятье воздуха сказывалось в разбухании лиловых жил на висках, в их настойчивом грохоте, еще в хронике бульварных газет, где тривиальные самоубийства перебивались трупами в корзинах или шайками маскированных бандитов. Выхода требует в такие дни человеческое естество. Возле поэзии и преступления неуклюже барахтаются различные головы — в канотье, в каскетках и просто лысые, как задыхающиеся рыбы возле проруби. Женское мясо горячей своей сыростью вызывает тошноту. Бойчее всего торгуют мороженым и огнестрельным оружием. Запахи не могут подняться вверх, но и ползают по мягкому асфальту, запахи свиного сала, пота, иодоформа. Ночью стены еще держат жар, и голова в духовке наспех обдумывает все сложные детали мести. Те, кому, может быть, и следовало бы мстить, рыжей (модной ныне) пудрой загара присыпают свои анемичные корпуса на взморьях Нормандии или Бретани. Остаются солнце и полицейские. Духота, июльская духота ощеренного города, нож в зубах истомленного сутенера, химический лимонад, младенцы в чахоточных скверах, приседающие «за маленьким» и «за большим», голос, тоска — нет, меня ничем не обделили!

Подошли праздники — 14-е июля. Мясники сняли синие блузы, они уехали за город есть крутые яйца и дышать бензином «фордов». Блеющие нежно смертники получили, таким образом, три дня отсрочки — они могли переваривать жвачку и славить Третью Республику. Что мне было делать? Кричать — «Э!-Э!» толстозадым барышням? Танцовать фокс-трот? Лирически вспоминать события французской истории? Я не знал, как изжить эти три томительных дня. Не было слышно заводских гудков. Опущенные шторы лавок требовали чувств взаправду исключительных. Ночью люди не спали. Они проделывали различные механические сокращения и невесело, но очень громко смеялись, как заржавевшие шарманки окраинных кабаков. Веселились, пожалуй, только держатели питейных заведений; поднимающаяся ртуть термометра и труд, не зря пропавший, парижского народа, взявшего, как говорят, Бастилию, увеличивали жажду. К концу второго дня, остановившись возле престарелой торговки овощами, которая жалко водила полуистлевшим уже задом в такт фокс-

ıоту, я закрыл глаза и застонал. Как я хотел подталкивать моих баранов! раздники, однако, длились.

Я позволю себе здесь признаться, что нет института, который так бы угал меня, как этот. Вот она, громадная площадь, обычно запруженная ıтомобилями и пешеходами — теперь же залусканный зал некоего торества, подмышники, скорлупа китайских орешков, красный сироп, остаıвившиеся белки тысячи глаз, остановившиеся стрелки разомлевших ıферблатов, великая скука, да, она, неизменно она! Спешите, автомобили, ıвите прохожих; заводы, кромсайте мясо и сталь; шумите, как леса ıдии, листы перепуганных и наглых газет — если вы и не жизнь, то ıть ее иллюзия! Милые будни, трудные будни — нельзя остановиться — ıкнут, отбросят, задавят, некогда думать — какое счастье!

Вдруг перерыв тока. Пошленький, говоря откровенно, трюк из :пящей красавицы» хронически повторяется. Доменные печи тоскливо тывают, наподобье покойников. Черная пыль траурно скрипит под ıгами зевающего сторожа. Заумно блеют бараны, не смея ни жить, ни ıереть. Где-то между седьмым и восьмым этажами висит лифт, храня ıе в пустынном пролете курсы предпраздничной биржи и дыханье обсчиıвшихся кассиров. Еще выше — нежно воркует, учитывая выпавшую ıузу, жирный голубь, тот голубь, что вчера мог быть, а завтра будет на ıловой карточке ресторана, обрамленный неизбежным горошком. Еще ıше — обсосанные леденцы собора Сакре-Кэр, зной, теория относительсти, тоска. Люди же празднуют. Чтобы не сидеть, они качаются под ıганье фаготов, чтобы не молчать — смеются: все это только непроизволья отдача давней жизни, агония туфель и пиджаков. Засыпающие ребята ıяют слюну. Премерзко чешутся неопределенные собаки. Музыканты ачивают в легкие уныние и выдыхают его обратно, в виде воя, железного ıа, икоты, лживой, выдуманной суеты. Тогда и люди начинают чесаться. ıво входит и выходит, эпически, как библейская жизнь. Делать нечего. ти некуда. А праздники все длятся, длятся, длятся.

Я сел за столик, как все, выпил рюмку рома, выпил кружку пива, ругался, несколько раз сплюнул, потом выбрал жиденькую мастерицу пользуясь общей сумятицей, попробовал потанцовать с ней, хотя этому все не обучен. Дама моя сильно пахла керосином: у нее, вероятно, ıли волосы. Я угадывал перхоть и одиночество. Пожалуй, я мог бы йти с ней спать, но нет же, кто спит в эту ночь? Кафэ открыты, музыıты усердствуют. Я подсунул красотку первому ротозею, а сам перешел орешки. Нечто баранье овладело мной, чтобы меня не упрекнули в снозме, скажу привычнее — я задремал.

— Перехватил, бедняга? Ничего, подбодрись. Эй, гарсон, еще два ıьвадоса.

Исчезли сразу покой этих недель, бараны, телячья голова, глаза ршала Фоша — все. Довольно, впрочем, считать оплошности — это ıько утомит и меня и вас. Я покорно проглотил кальвадос. Более того, ıимая ритуал дружбы, я наспех смастерил нечто вроде приветливой

улыбки. За рюмкой быстро последовали другие. Луиджи, видимо, успел разбогатеть. О собирании окурков вряд ли приходилось думать: он угостил меня папиросами с золотым мундштучком. Увидав кожаный портсигар, я застеснялся и попробовал было втянуть в себя бурые ободки рубашки, но это мне не удалось. Шутка ли! Я сидел с управляющим итальянским баром на улице Шатодэн. Управляющий — это может пить кофе, глотать бриоши, важно подзывать лакеев: «еще!..». Это пост!

Как удалось Луиджи столь быстро подняться? Он мне не сказал об этом. Он вообще не говорил мне ни о чем. Нельзя было назвать его молчаливым, напротив, он охотно плевался цифрами, женскими именами и зазорными, достаточно специальными, терминами. Чувственные губы тогда целовались со стеклом рюмок и с газовыми звездами. Однако нелегко было составить из этого рассыпанного набора хронику его дней. Бар на улице Шатодэн? Хорошо. Но при чем тут туринская красавица Лина, «звезда», вероятно, десятой величины фильм «Глория», при чем тут старинное трюмо, антиквар — м-р Грель, умеренная оппозиция газеты «Стампа», две фальшивые депеши, дрожь лиры, решающая поездка в Фонтенбло, где некто Рикати, Луиджи и упомянутая Лина подписали «домашний договор»? Я так и не понял. Мне показалось это модной головоломкой («слова крестом»), взятой из газеты, и, тупо ухмыляясь, четырьмя или пятью рюмками, уже доведенный до мудрости, обобщающей все, я только тихо заметил: «Город в Халдее из двух букв «Ур», кантон Швейцарии из трех букв «Ури» — Луиджи, а ты никогда не писал стихов?» Оказалось, писал — этот фантаст, переспрягал все глаголы, — конечно же писал, замечательные стихи, ничуть не хуже д'Аннунцио о раненой свободе, которая рычит как абиссинский лев, так же о грудях некой Ады, напоминавших заоблачные магнолии. Браво, Луиджи! Еще рюмочку погонщику баранов, из всех звуков он теперь знает только один: «Э! Э!».

Впрочем, стихи никак не относятся к делу. Нельзя же упомянуть обо всем — о мраморном галстухе Луиджи или о свойствах кальвадоса. Если б это было романом, сомнительный цвет этих глав определенно уступал бы здесь место пресловутой «завязке». Появление смуглого фантаста начинало оправдываться. Я не мог благодушествовать над очередной рюмкой. Среди беспредметной мечтательности Лин, Ад и диких цифр я вдруг опознал нечто знакомое. «Пике» — это имя я слыхал. Но когда? Ах, та ночь во дворике и асфальт Елисейских полей! Вот зачем я некогда родился на горбатой Институтской улице, среди увлечений Тартаковым и жесткого простонародного снега, зачем жил тридцать пять лет, загромождая мир стоптанной обувью, печатными листами и пеплом трубок, зачем ушел от любви, от литературы, от уюта моего толстяка — устранить какого-то Пике, вероятно, густо-фиолетового банкира с геморроем, с алмазными запонками, с игрушечным Пантеоном на письменном столе, с душой пушистой и сонной, как отложившая яички бабочка.

* * *

На небесном синем блюде
Желтых туч медовый дым.
Грезит ночь. Уснули люди.
Только я тоской томим.

Облаками перекрещен,
Сладкий дым вдыхает бор.
За кольцо небесных трещин
Тянет пальцы косогор.

На болоте крячет цапля,
Чётко хлюпает вода,
А из туч глядит, как цапля,
Одинокая звезда.

Я хотел бы в мутном дыме
Той звездой поджечь леса
И погинуть вместе с ними,
Как зарница в небеса.

Сергей Есенин

Финский праздник.

Медной рябиной осыпан гравий,
Праздничный люд шуршит — разодет —
Солнце — вверху, внизу Хэпо-Ярви,
Может быть Хэпо, а может и нет.

Пепельный финн в потертой кепке
Древнебородый и тот посвежел,
Место расчищено — ноги крепки,
Все приготовлены рты уже.

Медленной песни заныла нота,
Странствуя гнется, странно темна,
Гнется и тянется без поворота...

Из неподвижных рядов — короткой
Походкой выходят он и она.

Желтее желтка ее платок,
Синьки синее его жилет,
Четыре каблука черных сапог
Тупо стучат: туле-н! туле-т!

Он пояс цветной рукой обводит,
Угрюмо и молча, шагом одним
Обходят площадку, вновь обходят
И снова в обход идут они.

Стучат без улыбки на месте потом,
Странствует песня, гнетет и гнетет —
И дымнобородый с пепельным ртом
Сквозь желтые зубы нить ведет.

Упрямо и медленно ноги идут,
А звук на губах все один, один —
Как будто полки пауков придут
Струну ледянее льдин...

Но вертятся вдруг каблуки. Жесток
Их стук тупой: туле-н! туле-т!
И желтой пеной горит платок,
И синим огнем пылит жилет.

Рябины ветви как рога
Летят на них — и сразу
В глазах косых — Алтай, снега,
Змеиные искры Азии.

Рябины красные рога
Их тусклый танец сторожит —
Желтым огнем полыхает тайга,
Синей пылью пылят ножи.

Проходит тысяча темных лет,
И медленно снова: туле-н! туле-т!

Обходят опять неизменно и кротко,
Обходят площадку... Черной чечеткой
Оборвана песни нить...
Танцоры буксуют. Походкой короткой
Идут под рябину они.

С достоинством он на скамейку садится,
С цветного пояса руку берет,
Угрюмо и жестко целует девицу...
И праздник над ними шуршит и толпится,
А пепельный финн вытирает пот.

Н. Тихонов.

Родина.

Избяная сторона,
Щи-окрошка.
Полевая тишина
Да гармошка.

Перелески да леса
Да туманы.

Голубые небеса
Да курганы.

Забоченилась гора
Над горою.
Заовчинилась дыра
Над дырою.

Ветер с моря по полям
По озерам.
Да гармошка тут и там
С перебором.

Бабы водят хоровод
По рассадам.
Озорная шевельнет
Синим взглядом.

Убегает будто в рожь
От милого.
В рожь полягут, ну и что ж,
Что ж такого?

Мало что ли нам берез
Да осины?
Голубых, как небо, слез
Да кручины?

А раздолья мало что ль,
Не хватает?
Молодая суходоль
Расцветает.

Голубой во ржи платок
На рассвете.
Ах, сидит, сидит дружок
В сельсовете!

А вокруг одни луга
Да просторы.
Да наметаны стога
Словно горы.

Загуляла старина
Не на малость.
Волга синяя до дна
Растрепалась.

Волгачи да моряки
Океанцы.
По деревне старики —
Иностранцы.

Бороды с усами нет,
Просто гладко.
В хате Ленина портрет
Для порядка!

Как от моря до Москвы
Дует, веет.
Тут детина головы
Не жалеет.

Тут березы все белы,
Куропатки.
Задирают подолы
Без оглядки.

Эх, рожай да не тяни,
Не стесняйся.
Колокольчиком звени,
Разливайся!

От Капказа, от горы,
 До Китая
Кроет хлебные ковры
 Степь родная.

Лес да поле да завод,
 Не оплошка.
Месяц по небу плывет
 Да гармошка.

Ой, вы, степи да леса,
 Да туманы.
Голубые небеса,
 Да курганы!

Петр Орешин.

Отрывок из поэмы „Свадьба Рахили“.

Москва товарная. Чернеют буфера.
Вагоны дремлют на припеке.
И любо голубям на крыше обгорать,
Смотреть, как поезд прет с востока.
От кладовой мутнеющий помост
Поднят шатром над мостовою,
По нитям рельс пришел чугунный гость
С курчавой белой головою.
Приемщики оглядывают кладь.
Как шум дождя, гремят сухие кожи,
И можно сутолоку узнать
По цвету лиц, по запаху рогожи.
Но как-то вечером в прохладе голубой
Сошлися двое у вагона:
— Работаем бок-о-бок мы с тобой,
А дни идут, и мы все незнакомы...
Над водокачкою собачий лай
Висел прозрачною заплатой:
— Ну, что ж, я, Полетаев Николай —
— Я — весовщик Семен Раскатов. —
И долго шли под ясною луной
Среди домов, унявшихся от скуки,
Лишь падал свет далекий из пивной
На изголовье переулка.
— И, как ладонь, у ног тепла земля,
Люблю бродить, заглядывая в ставни.
Стянула грудь трамвайная петля
Дорогомиловской заставе.
Стучат мне часто: Полетаев.
Я захожу в пивную или дом,
И только вижу рюмок стаю,
Отмеченных веселия крылом.
Бессонной ночью встану с койки,
Часы мечтательно тихи...

О соловьях и о помойке
Пишу рабочие стихи.
Встречает нас разгульная пивная,
Зайдем в нее — содом, табачный дым,
Подсядем к столику, загрезит жизнь иная
Таким вот сморщенным, согнутым и худым.
Нам парочку и покрупней горошку...
Все безвозвратно одиноки дни,
И у стола поскрипывают ножки
От суетливой, частой беготни.
— Ну, чокнемся, товарищ Полетаев!
Я перебил тебя, таков досужий час,
Когда от нас ничто не улетает,
И даже тень в окне похожа на рассказ.
Я сам себя спрошу: ужели это ты?
По вечерам сижу у книжных полок...
Теперь вот политграмоты черты
Привык читать по лицам комсомолок.
И рад до чортиков, что нет пути назад,
Исколот прошлого иглами,
Бывает, в нудные и черствые глаза
Вдруг вспыхнет человеческое пламя.
И будто кто зовет из стен, из-за углов,
Луна в окне примнится желтой дыней,
Мечтаешь вслух над крышами домов
О бесконечной солнечной пустыне.
Однако нам пора уж уходить...
— Ну, что ж, пойдем... — и вышли оба.
Невдалеке пролетки прыть,
О мостовую твердые подковы.

Александр Макаров.

Волжские этюды.

Вновь подбоченились и мутны кабаки,
И вновь на чайниках — цветы и поднебесье...
О, Волга, — ширь и ласковость руки,
Артельная, оборванная песня!

Где желчь песков и серая вода,
И баржи черные, и скрипы у причала,
В лабазах каменных мучные города,
Плеск голубей, и деготь, и мочала;

Где камни теплы жизнью ломовой
И рыжий дым прозрачным вьется жаром —
Над мачтами, над черною трубой,
Как над гигантским самоваром.

Там дрожью палубы, среди кулей и нар,
Хрипят котлы и бьются волны плеса,
Грохочет трюм и звоном пляшет пар,
Приподнимаются и падают колеса.

Несется ширь, гудки и мутный храп.
Несется даль — и завтра, и сегодня —
Орут гудки, ложится громом трап
И крючники качаются на сходнях.

— Давай! Давай! — И ахнет матом люк —
Плывет в дыму гулящая Самара.
Качнется свет — пакгаузы шаткий тюк
Обдаст туманом перегара.

От бочек с рыбою — соленые ветра
И промыслов пахнувшая отрава,
А из садов завялых Бухара
Льет зной спресованным пилавом.

Стеклянный рис арычных мутных вод,
Пушистый хлопок — белой розой с моря —
Бараньим жиром льется черный пот
В горячем и гортанном разговоре.

И пламя Азии, и небо, и пески,
Плеск голубей и деготь, и мочала,
И город на горах, без края ивняки,
Все — Волга плеском укачала.

— Давай! Давай! — На гнущихся мостках,
В кипеньи, грохоте, — где бревна, цепи, лодки,—
В льняных рубахах, в розовых портках
Пройдут согнувшейся походкой...

Дохнет артель — и вдруг плывут мостки,
Плывут, как вздох — и вздохом рвется имя:
О, Волга, ширь и ласковость руки!
Качай, качай, под соткою тоски
В разгульных ласках песенного дыма!

Николай Зарудин.

* * *

На небе к рассвету. Но сумрак кругом.
И вот как разведчик, обманом
Подполз к подоконнику, лег за окном
Холодный осколок тумана.

И комната — лагерь большой тишины,
Сгущенной в углах и обоях,
Но губы твои непроглядно черны
От сумрака и от покоя.

Я рядом, я здесь, я с тобой, я тоску
Принес тебе — черный подарок
За ночь, что вчера, наклонившись к виску,
Смотрела, как ты умирала.

За тонкую петлю, за выдох как сон,
За синие жилы под кожей...
Я спал в это время. Но мой телефон
Рассыпался мелкою дрожью.

Холодная трубка, принесшая весть,
Обратно уже не попала:
Я вышел, а трубка осталась висеть
И не принимала сигналы.

Я рядом, я здесь, я с тобой, мы одни.
И вот я приехал проститься
За длинные годы, недели и дни
Шрапнелей, боев и позиций.

Когда у меня наступленье и план,
И ночи над чертежами,
Когда у тебя — умирали от ран
Под скальпелями и ножами.

Но это прошло, мы вернулись назад,
Вернулись от смерти и пули
Обратно к обыденности в Петроград
И к прямолинейности улиц.

Но в комнатах каменных трудно дышать
Привыкшим к боям и просторам —
И ночь подошла, и пришлось замолчать
Хлебнувшему горечи горлу.

За это — тебе уже делают гроб,
И лечь меня рядом убитым
Зовет твой печалью отточенный лоб
И скорбь в почерневших орбитах.

Рассвет начинается. На этажи
Взлетает зеленое пламя...
Но слушай, мне трудно, мне больно не жить
С туманами и этажами.

Со всей этой теплой, своей и родной
Тревожной и странной планетой...
И как ты могла распроститься с землей
На самом расцвете рассвета!

Николай Дементьев.

Лазоревые глаза.

Иосифу Уткину.

Как узнать, что у ней за душой?..
Не назвать ни своей, ни чужой.

Кем у ней были... прадед и дед?
— Угадай!..—Лишь улыбка в ответ.

Кто она? Расспросить поскорей!
Но в ответ — только шелест кудрей.

Только с мягкой печалью обдаст
Несознательной вспышкою глаз...

Эти, в нежной лазури, глаза
Голосуют: ты против иль — за?

В ожиданьи лукавом она.
Но не я голосую, — весна!

Ох, уж этот лазоревый цвет...
Синей тенью падет на билет.

Паренек на кружок не пошел...
Паренек — кандидат в комсомол.

Как на утро заявишься в цех?
Караулят там: шутки и смех;

Хмурый взгляд секретарский — в упор...
И... сознательный разговор.

— Из-за пары лазоревых глаз, —
Скажут мне: — оторвался... от масс!

Утром — прямо в ячейку. И вот —
Неожиданный оборот:

Те глаза (так развейся, хмарь!) —
Вновь назначенный секретарь!..

Александр Жаров.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АРХИВ

Глупов и глуповцы.

(Неизданная глава).

Салтыков Щедрин.

Предисловие.

Одним из самых распространенных приемов сатиры является символический образ города. Так, у Салтыкова мы встречаем города-символы: Крутогорск, Глупов, Полоумнов, Семиозерск, Навозный, Соломенный, Непросыхающий, Паскудск, Залужск, Подхалимов и даже «На трех китах стоящий». Им противополагаются города Умнов, Буянов, Вавилон и др.

Наиболее устойчив из всех них образ города Глупова. Ему посвящены два больших цикла Щедрина: «Сатиры в прозе» (1860 — 1862 г.г.) и знаменитая «История одного города» (1869 — 1870 г.г.).

Что же это за Глупов? Вопрос, конечно, риторический. Под Глуповым Салтыков разумеет старую крепостническую, помещичью и чиновничью Россию.

Новым подтверждением этому является найденный в черновых рукописях Салтыкова (хранящихся ныне в Пушкинском доме при Академии Наук СССР) очерк «Глупов и глуповцы. I. Общее обозрение». Он тесно примыкает к ряду уже известных очерков: «Клевета», «Наши глуповские дела» и «К читателю» (из «Сатир в прозе»), а также «Глуповское распутство» и «Каплуны» (опубликованные в 1910 г. в «Ниве»).

Н. Яковлев.

Общее обозрение.

Что это за Глупов, откуда он, где он?—спрашивают меня. Глупов есть просто большое населенное место, которого аборигены называются глуповцами, отвечаю я, и думаю, что ответ мой имеет достаточно определенный смысл, чтобы избавить меня от дальнейших инсинуаций. Инсинуации эти имеют двойного рода характер: невинный и обвинительный.

Очень невинные и очень наивные люди утверждают, что я под Глуповым разумею именно Пензу, Саратов или Рязань, а под Удар-Ерыгиным—некоего Мурыгина, тоже имеющего плоскодонную морду, и тоже с немалым любострастием заглядывающего в чужие карманы. Мурыгина мне даже показывали на железной дороге, и я действительно увидел (слово неразборчиво. *Ред.)* рыжего и обладающего плоскодонной мордой. Признаюсь, я смутился. Целую

минуту я думал о том, как бы это было хорошо, если б Удар-Ерыгин являлся в писаниях моих черноглазым, чернобровым и с правильным греческим профилем, но потом, однакоже, мало-по-малу успокоился, ибо, в сущности, в упомянутом выше сходстве виноват не я, а maman Мурыгина. И все, что я в настоящее время могу сделать в удовлетворение молодого Мурыгина — это публично заявить, что сходство его с Удар-Ерыгиным чисто случайное.

Люди менее невинные подыскиваются, будто бы я стремлюсь изобразить под именем Глупова нечто обширнейшее, нежели Пензу, Саратов или Рязань. На такое предположение могу возражать только одно: оно меня огорчает. Оно огорчает меня в такой степени, что во избежание дальнейших недоразумений я нахожусь вынужденным громогласно об'явить следующее:

Глупов есть Глупов; это большое населенное место, которого аборигены именуются глуповцами.

Чтобы доказать это самым осязательным образом, я обязан войти в некоторые подробности.

Глупов раскинулся по обеим сторонам реки Большой Глуповицы, а также по берегам рек: Малой Глуповицы, Забулдыговки, Самодуровки и проч. В нем же протекает ручей, называемый Дурий брод, замечательный тем, что в летнее время пересыхает, а в зимнее — бывает вовсе невидим под снегом.

К югу Глупов граничит с Дурацким Городищем, муниципией весьма расстроенной, к западу с Вороватовым и Полоумновым — муниципиями тоже расстроенными; к северу и востоку упирается в Болваново море, названное таким образом потому, что от него, как от козла, никакой пользы глуповцы для себя извлечь не могут.

Глупов представляет из себя равнину, местами перерезываемую плоскими возвышенностями. Главнейшие из этих возвышенностей суть: Чортова плешь и Дураковы столбы. На Чортовой плеши по временам собираются ведьмы, и потому эта гора пользуется между глуповцами большим уважением. На Дураковых столбах, за неимением орлов, собираются вороны, а потому эта гора пользуется между глуповцами любовью.

Истории у Глупова нет: факт печальный и тяжело отразившийся на его обитателях, ибо, вследствие его, сии последние имеют вид растерянный и вообще поступают в жизни так, как бы нечто позабыли или где то потеряли носовой платок.

Обитатели Глупова разделяются на два сорта людей: на Сидорычей, которые (связывают свое происхождение с мраком времен, но в сущности) происходят от коллежских ассесоров, и на Иванушек, которые ниоткуда и ни от кого не происходят.

Это последнее обстоятельство самим глуповцам кажется столь странно замысловатым, что даже Глуповская академия не на шутку потревожилась им. Устроен был конкурс на тему: «откуда произошли Иванушки», и молодые глуповские ученые отовсюду спешили откликнуться на зов просвещенной alma mater. Увенчано было премией сочинение, доказавшее, что Иванушки происходят от сырости.

Но вместе с тем это обстоятельство значительно облегчает и труд мой. Приступая к определению глуповцев, как расы, существующей политически, я, очевидно, могу говорить только о Сидорычах, ибо что же могу я сказать о людях, происшедших от сырости? Сидорычи, по крайней мере, могут довести меня до какого-нибудь кол [лежского] ассесора, но до чего могут довести Иванушки? До лужи, которая заключает в себе источник сырости. Но такого рода исследование, очевидно, не может быть внесено в область литературы.

Итак, предметом моих изысканий были и будут исключительно Сидорычи. Что они происходят от коллежских ассесоров — это истина, с которой они соглашаются сами. Мало того, что соглашаются, но даже вменяют себе такое происхождение в особенную честь и заслугу. «У нас, говорят, ничего этакого и в заводе не бывало, чтоб мы предками хвастались или там по части крестовых походов прохаживались; у нас было просто: была к нам милость—нас жаловали, был гнев—отнимали пожалованное, никто как бог». Доктрина замечательная, ибо освещает принцип личной заслуги и указывает на спину, как на главного деятеля для достижения почестей. Она замечательна еще и в том смысле, что развязывает Глупову руки в будущем и дает ему возможность с приятной непринужденностью относиться к различного рода политическим предрассудкам, ибо какая же надобность церемониться с Сидорычем, которого доблесть всецело заключается в спинном хребте? Но эта же самая доктрина, так ловко обеспечившая глуповское будущее от бесполезного наплыва глуповского прошлого, вместе с тем определила и общественное положение Сидорычей.

Отличительные свойства Сидорычевской политики заключаются: а) в совершенном отсутствии корпоративной связи и б) в патриархальном характере отношений (к Иванушкам).

Рассмотрим первый из этих признаков.

Корпорация предполагает известный и притом общий целому составу интерес. Люди, принадлежащие к корпорации, могут иметь, относительно дел и вещей, вне корпорации стоящих (а эти дела и вещи составляют целый мир), убеждения весьма различные; они могут совсем не сходиться друг с другом в этом отношении, могут даже питать друг к другу непримиримую вражду; но однажды ставши членами известной корпорации, однажды признав ее необходимость и не разорвав с ней, они обязаны сохранить по крайней мере некоторое корпоративное приличие, они ни в каком случае не имеют права отдавать на поругание своих однополчан потому только, что у одного из них денег меньше, а у другого дедушка не умел ловить на лету катышки, известные под именем милостей.

Наши Сидорычи не стесняются никакими соображениями подобного рода. Хватаясь за корпорацию обеими руками, вцепляясь в нее всеми зубами, как в некоторое святилище глуповских прав и вольностей, они, однакоже, с отменным благодушием отдают друг друга на с'едение, отнюдь не подозревая, что, ругаясь над соседом, они в то же время ругаются над самими собою, и предают тот самый принцип, о падении которого вопиют, как о чем-то угрожающем кончиной мира.

«Кропаче! — говорит г. Тропачев, указывая на нахлебника [1]), — обними го». И надобно видеть, с каким ужасающим прожорством, с каким кривлянием и приплясываньем устремляется Кропачев на несчастного нахлебника, целью помять ему бока и этим невинным зрелищем позабавить своего ерзавца-амфитриона. Надобно видеть гнусное подмигиванье Тропачева, лышать его подлый хохот, чтоб все об'яснилось совершенно наглядно осязательно.

Сидорычи должны сочувствовать Тропачеву. Древле они забавлялись едвежьими травлями и петушиными боями, но постепенно это зрелище адоело. Потребовалось другое зрелище, более острое, более уязвляющее ервы: место медведей и петухов заступили Иванушки. Это зрелище было остаточно ужасное, чтоб удовлетворить кровожадности самой взыскательой, но глуповцы народ теплый и в веселостях своих не ограниченный. Им ало показалось Иванушек: посмотрим, сказали они, каковы-то будем, если удем плевать в лицо друг другу и сами себе.

И с этих пор плеванье не умолкает; затрещины следует за оглоухами, глоухи за подзатыльниками. Каждый угощает чем бог послал, каждому воздается по делам его. Жизнь кипит, веселье не прерывается ни на минуту.

Надобно видеть глуповца вне его родного логовища, вне Глупова, чтоб онять, каким от него отдает тлением и смрадом. «Я глуповец, следовательно, дурак необтесанный, следовательно, от меня пахнет», говорит вся его ежившаяся фигура.

— Vous êtez de Gloupoff, monsieur? [2]) — спрашивают его.

— Oui-c, да-с, — бормочет сконфуженный Сидорыч: — ne desirez-vous as du champagne? [3]).

И рад радехонек, если предложение его принято, ибо тут представляется возможность предпринять целый ряд растленных рассказов о том, то Глупов — страна антропофагов, что в Глупове жить нельзя, что в Глупове не имеется образованного общества и проч.

— Mais que font donc les Sydoritschs pour faire cesser un tel état des oses? [4]) — спрашивают его.

— Les Sydoritschs? [5]) — восклицает Сидорыч, заливаясь хохотом.

И тут следуют бесконечные рассказы о том, что пакостнее Сидорычей ичего свет не производил, что это народ гнусный, не имеющий никакого стоинства, никакой самостоятельности. Кроме убеждения, что они потомки коллежских ассесоров («кичиться-то, брат, тут нечем, что твой душка за столом тарелки подавал» — урезонивают они друг друга), глу-

---

[1]) См., конечно, «Нахлебник» И. С. Тургенева. Роль Кропачова исполняется московской сцене г. Калининым с ужасающей правдою.

Примечание автора.

[2]) — Вы из Глупова, сударь?

[3]) — Да... не желаете ли выпить шампанского?

[4]) Но что же делают Сидорычи для того, чтобы прекратить подобное положение щей?

[5]) Сидорычи?!

повцы имеют еще то ничем не сокрушимое убеждение, что все они — курицыны дети. На этом зиждутся все их политические принципы, и это же служит краеугольным камнем их строя, семейственного и гражданского.

— Я курицын сын: куда же мне с эдакой рожей в люди лезть, — резонно говорил груповец и остается по большей части в своей берлоге, если же выходит из нее, то извиняется и подчует шампанским. Сидорычу не может и на мысль притти, чтоб кто-нибудь мог найти его не гнусным, а потому он и на однополчан своих взирает с той же точки зрения, с какой взирает и на самого себя. В этом есть логика, в этом есть высокая справедливость. Петр Сидорыч тогда-то целковый украл, Фома Сидорыч тогда-то Якова Сидорыча в пупок поцеловал, а у Якова Сидорыча был дядя, которому на сидорычевской сходке в глаза наплевали — скажите на милость, где тут доблесть, где тут примеры возвышенных чувств? Сидорычи с жадностью подстерегают друг друга на поприще столь достохвальных подвигов, с щепетильной аккуратностью ведут им подробный счет и потом радостно поздравляют друг друга с праздником.

— Ты что на меня глядишь. Ты сам курицын сын!

— Ан ты курицын сын.

— Ан ты.

И начинают друг другу доказывать, и доказывают с толком, с чувством, с расстановкой, покуда взаимно не убедятся, что спор бесполезен и что с первого же слова очень легко можно было согласиться насчет некоторых ничтожных недомолвок и недоразумений.

И после этого мечта о какой-то корпоративной связи, мечта о каком-то уважении, которым Сидорычи обязаны друг другу потому только, что они Сидорычи! И после этого толкуют о Сидорычевском величии!..

Да позовите самого заклятого врага, посулите ему какую-угодно награду за то, чтоб изобразил вам гнусность глуповскую, — никто, ей, никто не изобразит ее так живо и осязательно, как сами глуповцы. Глуповцы из ерничества умеют создавать художественную картину; они прилгут, прихвастнут даже, лишь бы краски ложились погуще, лишь бы устроить так, чтоб никто и сомневаться не смел, что они гнусны и растленны.

Согласен, что все это очень полезно, а, главное, очень весело, но вместе с тем, однакоже, и отвратительно.

Сидорычи сами начинают смекать это, и мало-по-малу физиономии их принимают озабоченный вид. Все хочется как бы возвеличить себя, как бы дать почувствовать, что и мы, дескать, из пшеничной муки сделаны. Чтоб достигнуть этого, они прежде всего стараются как-нибудь подправить историю. «У меня, — говорит один, — такой предок был, что однажды железную кочергу в узел связал — во какой». «А у меня, — перебивает другой, — дедушка, живши в Париже, за солеными огурцами в Глупов нарочных гонцов посылал». «А мой папаша, — вступается третий, — так тот на одну француженку целых три состояния хватил по боку». Одним словом, все полезли в архив, все подыскивают что-нибудь доблестное, но крестовых походов найти не могут.

Сознайтесь, однакоже, что без крестовых походов нельзя. Крестовые походы представляли собой торжество известного принципа, и участие в них было сопряжено с немаловажными опасностями. Но какой принцип можно отыскать в связывании узлом кочерги, и какую доблесть оказал знаменитый Ванюшка, посылавший из Парижа в Глупов за солеными огурцами? Ведь этаких принципов и доблестей Иванушки могут вывалить целые пригоршни. «Ведь я, — скажет один, — ездил гонцом-то в Глупов в то время, когда Петр Сидорыч за огурцами посылали!» «А я, — скажет другой, — и каждый день девятипудовые кули на себе таскаю, да и тут не хвастаюсь!».

Понятно, следовательно, что исторические труды Сидорычей должны пропасть даром. Понятно также, что такое грустное обстоятельство должно огорчать Сидорычей выше всякой меры. Ну как это, в самом деле, никуда-таки примкнуться нельзя! И кто это, чорт, такую историю написал, в которой от первой страницы до последней все слышится «По улице мостовой», а собственно истории и не слыхать совсем?

«Обожжешься на молоке, — станешь и на воду дуть», — говорит мудрая русская пословица. Подобно сему, и Сидорычи, обжегшись на истории, начали приискивать иных средств к своему возвеличению. «Ужо если наша история подгуляла, — говорят они, — по крайней мере, будем вести себя прилично в настоящем: будем уважать друг друга, перестанем паясничать и удивим Европу своею учтивостью».

И ведь совсем было это дело у них сладилось, да злодей Кропаче как на-смех всю штуку испортил. Попросил у него, во время Сидорычевской сказки, Тропачев табачку, и даже по имени и отчеству при этом назвал. Но на Кропачѐ еще не обсох вчерашний глуповский пот: он подал табачку, но при этом так щелкнул по табакерке и такую уморительную рожу скорчил, что Тропачев не выдержал:

— А какой у тебя табак? — спросил он.

— Сампантрé! — отвечал Кропачé, неистово вращая буркалами. Этого достаточно было, чтоб рассеять все козни Сидорычей. Видя нелепое дело своего однополчанина, они разом припомнили прежнее развеселое житье, когда и в голову никому не приходило думать о каких-то корпоративных интересах. И поднялся у них тут стук и визг, и полились реки очищенной...

— А нутко, Кропачѐ, в присядку!

— А нутко, Кропачѐ, в обмочку!

И долго потом качал головой Обер Сидорыч, взирая на потехи своих собратьев, и долго повторял он унылым голосом:

— А как было хорошо пошло по началу.

— Вот тебе и пошло!

А вся причина в том состоит, что отцы-то у Сидорычей коллежские асессоры.

Поговорив о бесцеремонности Сидорычевской, перейдем к Сидорычевской же патриархальности.

Принято за правило ставить Сидорычам эту патриархальность в великую заслугу. «Вот, говорят панегиристы, каковы эти люди, что даже при всей возможности сделаться хищными зверьми, не сделались ими, но остались Иванушкам заместо отцов родных». И, в подкрепление своих панегириков, приводят примеры кротости действительно беспримерной. «Вот тогда-то, говорят, ты тарелку разбил, а я не отправил тебя в часть, а наказал дома; тогда-то ты громко разговаривал в лакейской, в то время как мы кушали, но я не отодрал тебя, как распротоканалью, а только за волосы оттаскал». Факты, конечно, убедительные, однако не будем увлекаться и анализируем их в подробности.

Нет сомнения, что не все Сидорычи обращались к полиции, что иные и впрямь предпочитали наказывать дома. Но доказательство тогда только было бы бесподобно, если б Иванушки согласились подкрепить его засвидетельствованием, что им от того было легче и что дома они чувствовали особенную приятность.

Однакоже добиться этого признания трудно, во-первых, по многочисленности Иванушек, и, во-вторых, по чрезвычайному разнообразию их вкусов. Кто знает, может быть, даже у них сохранились об этом предмете воспоминания... весьма горестные.

Но допустим невозможное, допустим, что Иванушки вопреки интересам спины все в один голос признают Сидорычей патриархами. Необходимо еще убедиться в том, какие побуждения заставляют их быть патриархами, и можно ли вменить им этот факт в действительную заслугу.

Во-первых, я полагаю, что Сидорычи если и были патриархами, то были ими именно вследствие совершенного отсутствия корпоративного смысла. Патриарх бьет, но в то же время проливает слезы; патриарх таскает за волосы, но в то же время верует, что этой любви действо в нем таким образом проявляется. У Сидорычей не то, Сидорычи просто являются патриархами потому только, что даже и сеченье не умеют подчинить известной регламентации. Между ними не выискалось достаточно крепкой личности, которая взяла бы на себя труд раз'яснить истинные начала глуповской цивилизации, и на основании этих начал составить «краткое руководство» для деятельных отношений к Иванушкам. Но будьте уверены, что если бы между ними явился своего рода Гегель, который бы взялся все эти сидорычевские воззрения привести в систему, то и они бы убедились, что патриархальность только мешает, и что можно бить и больнее и действительнее, отнюдь не выходя из рамок законности и даже не оскорбляя общественных приличий. Что доктрина подобного рода могла бы найти доступ в Глупов и даже укорениться в нем, в этом я убеждаюсь, взирая на тех юных сынов Глупова, которые, воротясь из-за границы, изумляют мир хорошими манерами. Между ними уже есть связь, между ними есть уже молчаливое согласие, в них уже слышится присутствие внутреннего голоса, который постоянно твердит им: «не ори, не ругайся, как оглашенный, не тычь зря руками вперед, но пропекай с сознанием постепенно и притом не упуская из вида чувства собственного достоинства». Число этих юных глуповцев, увеличиваясь постепенно,

в последнее время [достигло] уже достаточно громадных размеров, и я сам видел, как Иванушки терялись и бледнели при одном взгляде этих доктринеров розги и кулака.

Во-вторых, я нахожу, что была еще другая, более тонкого свойства причина, заставлявшая Сидорычей придерживаться патриархальности.

Известно, что наши сидорычевские mamans [1]) в деле любви всегда следовали правилам космополитизма, и теорию croisement des races [2]) почитали совершеннейшею из теорий размножения человеческого рода. Недаром они в молодости пели:

> Законы осуждают
> Предмет моей любви.
> Но кто, о сердце, может
> Противиться тебе?

«Никто», — отвечало сердце, и дело теории croisement des races торжествовало.

Но вместе с тем это связывало руки Сидорычам, ибо всякий из них постоянно находился под угрозой мучительного запроса: «а что если Филька, который трясется на запятках, мой брат, а что если Семка, сидящий на козлах, мой дядя?».

Согласитесь, что, при таких условиях, не быть патриархом не только трудно, но даже и совсем невозможно.

Итак, мы рассмотрели в общих чертах как топографию Глупова, так и главнейшие свойства его обитателей. Буду ли я затем говорить о гражданских и семейственных добродетелях глуповцев, о том, что они любят покушать и употребление в известные дни буженины с чесноком возвели на степень принципа (единственная корпоративная связь, существующая между Сидорычами). Нет, не буду, ибо меня занимает не домашнее устройство Сидорычей, — об этом и без меня довольно писали, — но поведение и дела их, как расы, существующей политически.

Буду ли я говорить о торговле глуповской? Нет, не буду, ибо что в том толку, что я докажу, что глуповцы некогда имели торговые сношения с Византией, когда в настоящее время они торгуют только лаптями да веревками, потому будто бы, что мелких денег совсем нет.

Буду ли говорить о воинской доблести глуповцев? Нет, не буду, ибо этот сюжет достаточно разработан нашим знаменитым военным писателем, Михайловским-Данилевским. Буду ли говорить о том, что глуповцы усердно ездят к заутрене и к обедне? Нет, не буду.

Что же это такое? спросит изумленный читатель: неужели в Глупове только и нашлось, что отсутствие корпоративной связи да некоторая патриархальность приемов?

Сознаюсь, что можно бы найти кое-что и побольше, но для меня достаточно и этого. Меня интересует собственно возрождение глуповское,

---

[1]) Мамаши.
[2]) Скрещение рас.

и в этих видах я стараюсь выяснить себе те материалы, которые должны послужить ему основанием.

Материалов этих или совсем не оказывается, или оказываются только отрицательные. Но меня это не огорчает, ибо я тех мыслей, что чем менее старого хлама налагать на будущее, тем лучше. С этой точки зрения, дикость, насилие, произвол — не страшны, а тупоумие даже утешительно. С этой точки зрения, я даже не без игривости взираю на те попытки возвратиться к прежним прожорливым основам жизни, которые по временам еще дают о себе знать довольно сурово и настойчиво. Это простое право естественной защиты, это просто страх смерти, говорю я, и прохожу себе далее.

Итак, перед нами мастерская сатира на российское дворянство. Как и в других очерках глуповского цикла, Салтыков называет здесь дворян «Сидорычами», а крепостных крестьян — «Иванушками». Он отчетливо вскрывает служилое происхождение нашего дворянства и жалованный характер его поместий: Сидорычи сами считают себя потомками «коллежских асессоров» и полагают, что «доблесть всецело заключается в спинном хребте».

Далее, Салтыков останавливается на двух характерных чертах Сидорычей. С одной стороны, — на том, что он называет «отсутствием корпоративной связи». С другой стороны, — на «патриархальном характере отношений к Иванушкам». При ближайшем рассмотрении оказывается, что обе эти черты, в сущности, совпадают.

Только один «принцип об'единяет Сидорычей, это — «употребление в известные дни буженины с чесноком». Во всем же остальном между ними нет никакой «корпоративной связи». Есть лишь повсеместное «поругание над теми, у кого денег меньше, у кого дедушки не умели ловить на лету катышки, известные под именем милостей». А раз так обстоит дело в самой дворянской среде, то чего же ожидать в отношении к Иванушкам? Здесь простое «тасканье за волосы» должно казаться «любви действом», актом «патриархального», любовно-отеческого попечения о «меньшом брате». Получается какой-то всеобщий мордобой, «затрещины следуют за оглоухами, оглоухи за подзатыльниками».

Не случайно, что Салтыкову при этом пришел на память «Нахлебник» И. Тургенева. Эта комедия (написанная в 1848 г.) долгое время находилась под запретом, как вещь «безнравственная и оскорбляющая дворянское сословие» Цензура разрешила ее к печати только в марте 1857 года и то под измененным названием («Чужой хлеб»). На сцене же «Нахлебник» впервые появился только в бенефис М. Щепкина 30 января 1862 года [1]). При этом в роли Кропачева выступал упоминаемый Салтыковым актер Калинин [2]). Быть может, Салтыков был на самом бенефисе. Во всяком случае, он видел пьесу на сцене, и она, очевидно, произвела на него сильное впечатление мастерски нарисованной картиной издевательства богатых и «просвещенных» дворян, Елецкого и Тропачева, над бедняками, «нахлебником» Елецкого Кузовковым и его другом Ивановым.

Так как Салтыков ссылается здесь на театральное представление «Нахлебника», то очевидно, что «Глупов и глуповцы» не могли быть написаны ранее 30 января 1862 г. Другая предельная дата устанавливается в связи с тем местом очерка, где изображен глуповец за границей («Надобно видеть глуповца вне его родного логовища...» и т. д.). Это место с соответствующим изменением мы на-

---

[1]) «Литературный музей», Петербург, I (1920 г.), стр. 368 — 375. Статья Ю. Оксмана.

[2]) Л. Гроссман, Театр Тургенева, Петербург 1924 г., стр. 140.

..дим в известном очерке «Русские гулящие люди за границей», напечатанном ..рвоначально в серии «Наша общественная жизнь» в майской книжке «Совре-..енника» 1863 года, а позднее вошедшем в «Признаки времени». Вероятно, Салтыков мог использовать очерк «Глупов и глуповцы», как матерьял для других ..роизведений, только тогда, когда уже перестал думать — по тем или иным при..инам — о его напечатании в цельном виде. В этих пределах (январь 1862 года — ..ай 1863 года) и должен был быть написан наш очерк, при чем скорее в 1862 году, ..ем в 1863, и ближе к началу 1862 года, чем к его концу.

14 апреля 1862 года Салтыков писал Н. Чернышевскому о т р е х рассказах для ..прельской и майской книжек «Современника» [1]). Двумя рассказами были, очевидно, ..апрещенные цензурою в том же апреле месяце «Глуповское распутство» и «Ка..луны». Не мог ли быть третьим наш очерк «Глупов и глуповцы»?

Н. Я к о в л е в.

---

[1]) «Былое», 1906 г., кн. 2, статья М. Лемке.

Пластун.

(Из воспоминаний пленного).

Н. Н. Толстой.

Писатель Н. Н. Толстой

У Льва Толстого был старший брат, рано (37 лет) умерший от чахотки, Николай Николаевич или Николенька, как его звали в семье. Он в молодости имел сильное и благотворное влияние на своего знаменитого брата, который не только сильно любил его, но и высоко ценил, считая исключительным человеком. Действительно, судя по тому немногому, что мы знаем о нем, Ник. Ник. отличался выдающимися способностями личности и его богатый внутренний мир был так своеобразен, что он повсюду привлекал к себе общий интерес и симпатию. Л. Толстой в своих воспоминаниях дает ему такую характеристику:

«Да, Фанфаронова гора — это одно из самых далеких и милых и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Ему было, стало быть, 10 — 11, когда мне было 4 или 5, именно, когда он водил нас на Фанфаронову гору. Мы в первой молодости, не знаю, как это случилось, говорили ему «вы». Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень верно, что он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно неинтересно было, что о нем думают люди. Качества же писателя, которые у него были, были прежде всего тонкое художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный веселый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоко-нравственное мировоззрение, и все это без малейшего самодовольства. Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории в духе мадам Рэдклиф без остановки целыми часами и с такой уверенностью в действительности рассказываемого, что забывалось, что это выдумка. Когда он не рассказывал и не читал (он читал очень много), он рисовал. Рисовал он почти всегда чертей с рогами, закрученными усами, сцепляющихся в самых разнообразных позах между собой и занятых самыми разнообразными делами. Рисунки эти тоже были полны воображения и юмора».

Ему принадлежала также легенда о «Зеленой палочке» и игра в «муравейных братьев» с тайной всеобщего человеческого счастья, о которой с таким умилением говорит Толстой в тех же воспоминаниях.

О литературном таланте Н. Н — ча Толстой мог судить не только по увлекательным рассказам, которыми тот восхищал своих братьев в детстве. Когда они оба были в военной службе на Кавказе в начале 50-х годов, Н. Толстой читал Л. Н — чу свои записки об охоте, и тот занес в свой дневник (29 окт. 1852 г.) такие слова: «Николенька пришел ко мне и читал свои записки об охоте. У него

много таланта, но форма не хороша. Пусть он бросит рассказы об охоте, а обратит больше внимания на описание природы и нравов, они разнообразнее и очень хороши у него». Эти записки Н. Толстого несколько лет спустя были посланы в «Современник» и произвели сильное впечатление на редактора журнала, Некрасова, который поместил статью на первом месте в книжке [1]) и писал Тургеневу: «Автор не виноват, что это не повесть, но задачу, которую он себе задал, он выполнил мастерски и кроме того обнаружил себя поэтом. Некогда писать, а то бы я указал в этой статье на несколько черт, до того поэтических и свежих, что ай-ай! Поэзия тут на месте и мимоходом выскакивает сама собою; неизвестно, есть ли у автора творческий талант, но талант наблюдения и описания, по-моему, огромный, — фигура старого казака в начале чуть тронута, но, что важно, не обмельчена, любовь видна к самой природе и птице, а не описание той и другой. Это вещь хорошая. Не знаю, насколько Лев. Ник. поправил слог, но мне показалось, что эта рука тверже владеет языком, чем сам Л. Н.».

Подобное же впечатление от этих записок и от самого автора осталось у Тургенева.

Летом 1856 г. он писал Толстому: «Чрезвычайно заинтересовали вы меня тем, что вы мне говорите с записках вашего брата, и я почти уверен, зная его, что вы не преувеличиваете. Очень мне хотелось бы их послушать». Через год (в конце 1857 г.), уже зная статью Н. Н. в печати, Тургенев пишет Льву Толстому: «Известите, не пишет ли он (Н. Н.) чего-нибудь? В его записках были восхитительные поэтические страницы». Прибавим к этим отзывам слова Фета, обратившего внимание не на поэзию природы в описаниях Н. Толстого, а на его уменье обрисовывать характеры; он говорит в своих «Воспоминаниях»: «Знаменитый охотник, старовер, дядюшка Епишка (это — дядя Ерошка в «Казаках» Л. Толстого), очевидно, подмечен и выщупан до окончательной художественности Николаем Толстым».

Итак, незаурядный литературно-художественный талант Н. Н. Толстого был замечен и признан несколькими крупнейшими нашими писателями, при самом появлении в печати первой же его вещи.

Когда четыре года назад М. О. Гершензону пришла счастливая мысль перепечатать «Охоту на Кавказе» Н. Толстого и «воскресить это прекрасное литературное произведение», он приложил к изданию свою, как всегда, тонкую и меткую характеристику статьи и ее литературных достоинств. Он писал там: «Статья и теперь читается с большим удовольствием: она подкупает обилием тончайших наблюдений и точных знаний, которое сделало бы честь самому С. Т. Аксакову или даже Одюбону и которое, однако, не загромождает изложения, текущего легко и непринужденно. Со второй страницы видно, что этот человек с таким зорким взглядом и прекрасной памятью, очаровательно свободен и ясен душевно, и чем дальше читаешь, тем большую симпатию и доверие внушает его спокойный и умный рассказ. Он ничего не подчеркивает, ничего не навязывает, он благородно сдержан без всякой сухости. В этом свободном господстве над материалом и в этом ясном спокойствии повествования — прелесть его описаний. Притом они сделаны мастерски; многие из них истинно художественны, как, например, картина ночи в начале осени, — без сомнения, одно из лучших описаний живой природы в русской литературе».

Указав и на то, что в изображении человеческих фигур Н. Толстой умеет одной чертой, самыми простыми словами очертить образ или передать выражение лица, настроение минуты, что и здесь его не покидает легкая и об'ективная манера живописи, Гершензон говорит, что эта ясность и спокойствие созерцания представляет яркий противовес бурным исканиям и несвободе тогдашнего Льва Тол-

[1]) «Современник», 1857 г., февраль: «Охота на Кавказе». Статья была переиздана в 1922 г. фирмой Сабашниковых с предисл. М. О. Гершензона.

стого, который беспрестанно выпадает из эпического тона и подчеркивает и навязывает читателю отдельные черты, так как всегда стремится к нравственной оценке или себя или человека вообще. И Гершензон высказывает справедливую догадку о том, как должна была импонировать «эта спокойная уверенность старшего брата неуверенному тогда, тревожному Льву Николаевичу». Эту же разницу между братьями Гершензон подробно проследил на образе старого казака Епишки, который получил вполне живую, но об'ективную характеристику уже под пером Н. Толстого, тогда как фигура дяди Ерошки в «Казаках», при всей яркости и выпуклости своей, нарисована не свободно, а с умыслом препарирована для противопоставления Оленину.

До сих пор считалось, что «Охота на Кавказе» — единственное сохранившееся произведение Н. Н. Толстого. Мы печатаем ниже найденную в его бумагах неизвестную, большую, хотя неоконченную повесть из кавказской жизни, «Пластун»,— она не только дает лишний образчик литературного дарования автора, как оно отразилось в первой его вещи, но и раскрывает новые стороны этого таланта. Это уже не простая передача личных переживаний — охотничьих встреч и впечатлений от природы, это попытка свободно, при помощи творческой фантазии обработать обширный разнообразный матерьял, связав его нитью повествовательной фабулы; следовательно, перед нами опыт настоящего художественного произведения, интересный также тем, что он сделан под тонким, но ощутимым влиянием известного литературного образца. Можно сказать определенно, что если бы Н. Толстому было суждено писать дальше и развивать свой талант, идя по той дороге, на которую он вступил своим «Пластуном», русская литература могла бы получить в нем своего оригинального Фенимора Купера.

О том, что образ Куперовских героев (Следопыта, Зверобоя) носился перед глазами Н. Толстого, ясно говорит брошенная им на ходу фраза в самом начале повести, и эта связь легко прослеживается не только в общем замысле героя, но и в его психологии и в отдельных ситуациях рассказа [1]). В романах Купера нашего автора пленяла не авантюрная сенсация внешнего сюжета, а те же самые черты, за которые в 40-х г.г. Белинский склонен был ставить Купера на-ряду с самыми великими писателями, говоря, что «многие сцены «Следопыта» были бы украшением любой драме Шекспира»; эти черты — великолепная передача первобытной жизни на фоне девственной американской природы, способной под влиянием природы порождать в неиспорченных сердцах благородную возвышенность духа, и, наконец, разложение этой гармонии, благодаря встрече с европейской цивилизацией.

Купер находил свой материал в быте северо-американских краснокожих племен и начавших проникать на их территорию ранних европейских колонистов; Н. Толстой усмотрел сходные явления в жизни запорожских казаков, недавних поселенцев Западного Кавказа в Черноморьи, в непосредственной близости с жившими по Кубани горцами. Близкое соседство двух народностей, их полувраждебные, полумирные отношения, постепенное укрепление русских в новом крае среди вечной борьбы и опасности — все это давало яркую окраску жизни и разнообразный, сложный бытовой уклад, и наш автор сумел легко и непринужденно насытить свой рассказ характерными бытовыми красками. Но не завоевание Кавказа и не успехи наших в борьбе с горцами составляли главный центр его внимания: его, как и Купера, привлекала более всего психологическая задача. Он дает

[1]) Например, герой Н. Толстого вместе с Зверобоем и Следопытом испытывает среди природы благоговейное, молитвенное настроение, отвращается от ненужного убийства даже животного (Зверобой жалеет, что застрелил орла при испытании ружья, Волковой недоволен, что убил лебедя для пробы), все они испытывают особое чувство при первом убийстве человека и стараются по возможности избежать этого поступка. Подобных сходных черт можно привести довольно много.

нам могучую вольную природу края и на этом ярком фоне ставит фигуру своего юноши — героя, привлекательное первобытное дитя природы с глубокими, инстинктивными нравственными запросами. При всем реализме исполнения замысел, как и у Купера, носит ясные черты романтизма, характерного для всех европейских литератур начала прошлого века; противопоставление первобытной и цивилизованной жизни и принижение последней было тогда в ходу у всех писателей, начиная с Байрона, кончая нашим Пушкиным. В самой постановке задачи у Н. Толстого (не без влияния американского романиста) видны своеобразие и самостоятельность. Обыкновенно в этой антитезе главное внимание устремлялось на выдающегося представителя цивилизации, на «высшую» натуру и ее тонкую психологию, с высоты которой герой громил и обдавал презрением весь человеческий род, а первобытная среда, в которой он искал утешения, давалась лишь в беглом очерке, в наскоро идеализированном и приукрашенном виде, она нужна была только как удобный фон для героя, как некоторая поддержка его протеста против цивилизации. В наиболее трезвых из таких романтических произведений («Цыгане» Пушкина) это бегство в первобытность приводило к обнаружению всей нравственной гнилости самой «высшей натуры», и сущности искавшей везде лишь свободы для своей грубости и деспотизма; с этой точки зрения даже «Казаки» Л. Толстого при всей своей яркости и оригинальности представляют только новый вариант «Цыган». В этом общем хоре скромно, но независимо выделяется голос Ник. Толстого. Идя по следам Купера, он в центре замысла поставил не носителя высшей цивилизации, а почти первобытное существо. Культурно-историческая задача заменена у него нравственно-психологической; для его героя не существует и вопроса об истинной и ложной цивилизации; его протест инстинктивный, идущий из самых глубоких корней личности; этот протест еще полутемный, он только пытается пробить в сознание, но он безошибочно направлен против всякой лжи, всякого насилия и обмана, откуда бы они ни шли. С верным чутьем Н. Толстой дал своему «Пластуну» исключительное, обособленное положение; он не казак и не горец, он — то и другое вместе, у него нет ни семьи, ни нормальных рамок жизни, над ним не тяготеет никакое традиционное мировоззрение: он весь предоставлен велениям своей натуры и личному опыту. Повесть оборвана, и замысел незавершен, но его постановка свежа и интересна; найти и оценить такой художественный матерьял в грубой, полудикой тогдашней жизни Кавказа могла лишь тонкая сложная поэтическая душа, какой и был Ник. Толстой.

Невольно встает вопрос: в какой мере опирается на действительность этот рассказ и много ли тут выдумки? Не говоря о бытовой обстановке и национальных отношениях, правдивость обрисовки которых говорит сама за себя и подтверждается всеми историческими сведениями нашими о заселении края, самое положение героя, занимающего серединную позицию между русскими и черкесами, отнюдь не вымышлено, а представляет нередкий тогда бытовой факт, подобный тому, что приводит историк Ф. Щербина в своей «Истории Кубанского войска». Вот его слова: «В 1847 г. пришел из гор на Кубанскую линию человек пожилого возраста, назвавший себя Василием, не помнящим родства. Целую жизнь он прожил среди горцев со смутным чувством единокровности с русскими. На склоне его жизни горец Циок из жалости к нему рассказал, что много лет назад, когда черноморские казаки только что заняли Прикубанский край, Василий был взят в плен на реке Курки 3-летним мальчиком. Узнав об этом, Василий оставил в горах жену, трех сыновей и двух дочерей и бежал к русским в укрепление Сочи. По справкам оказалось, что действительно более 40 лет назад в курене Медведовском, когда он еще находился на реке Курки, была взята в плен женщина с 3-летним мальчиком. Через 3 месяца женщина была выкуплена, а ребенок остался у черкесов».

В повести герой, один из таких выходцев, рассказывает свою историю какому-то русскому пленному. Эта форма, вероятно, тоже не выдумана автором; надо

думать, что он имел случай узнать эту историю из уст какого-либо казака, слышавшего ее непосредственно от участника. Мы принимали все меры, чтобы выяснить вопрос, мог ли Н. Толстой сам слышать рассказ из первых рук, и пришли к выводу, что не мог. Он провел в военной службе на Кавказе в два приема около 12 лет, но все время служил в восточной части Кавказа на Терской линии, и не существует никаких следов хотя бы поездок его на Кубань. Но 19-я и 20-я артиллерийские бригады, в которых он числился, в разное время отдельными своими батареями попадали временно на Кубанскую линию, и Н. Толстой мог легко встретиться даже в своей батарее, с побывавшими в Черноморьи офицерами и нижними чинами. Он же был плохой служака, но страстный охотник, и, в противоположность младшему брату, очень легко и быстро сходился с людьми. Но если даже решить, что в основу повести лег чей-то рассказ, да еще вероятно из вторых рук, это не только не умаляет литературных заслуг автора, а, быть может, выставляет его художественный талант в еще более выгодном свете; так органически сумел он слить в одно целое личность героя и его приключения с бытом и природой; выслушанный рассказ, конечно, послужил ему лишь фактической основой.

Трудно точно определить время, когда писался «Пластун», дошедший до нас в черновом виде; по быстрому, небрежному почерку, часто полусловами, по грубой бумаге самодельной тетради, по плохому качеству чернил, всего естественнее отнести черновик к периоду кавказской службы, т.-е. не позднее 1858 г., когда Н. Толстой окончательно вышел в отставку, и, быть может, скорее к концу этого периода, когда он служил уже один, без брата. Так можно думать потому, что в начале 50-х г.г. он работал над первым своим произведением и тогда же читал его, как мы знаем, брату; о «Пластуне» же Лев Николаевич нигде ни слова не упомянул, так что, повидимому, и не был с ним знаком. Заслуживает упоминания одна подробность: в повести кратко рассказано, как казак Могила убил впервые черкеса, когда тот ночью переплывал через реку, спрятавшись за плавающим деревом. Это невольно приводит на память, что при точно таких же обстоятельствах Лукашка в «Казаках» убивает абрека. Из этого сходства нельзя заключать о прямом заимствовании, речь идет о таком бытовом факте, про который братья могли одновременно узнать на Кавказе, скажем, из рассказов того же дяди Епишки; оба они воспользовались этим фактом, вероятно, не зная друг о друге, но один дал его в сжатом пересказе, а другой развил в большую картину. Но, как бы то ни было, совпадение остается и должно быть отмечено.

Читатель оценит благородную простоту и свободу рассказа, тонкое мастерство в обрисовке психики героя и непринужденность, с которой дан в повести весь характер края, его природа, быт и нравы; все изображено сочно, ярко и вместе с тем не навязчиво, не громоздко, а прозрачно и легко. Это очаровывает и сейчас, а в 50-х г.г. писать так было под силу разве только Тургеневу. В творчестве Н. Толстого сквозит его чистая мягкая душа, чуждая всего эффектного, показного, способная к сдержанному лиризму, к углубленному созерцанию действительности и к уравновешенному, об'ективному описанию, но мало склонная к активной энергичной передаче движения в мире. Теперь, после знакомства с «Пластуном», мы еще лучше и полнее понимаем, почему Л. Толстой приписывал этому брату огромное благотворное влияние на себя, и в чем оно состояло. Н. Толстой мог учить брата вдумчивости, углубленности, спокойствию, мягкости; это было как бы заменой нехватавшего Л. Толстому влияния матери; оно, конечно, не ограничивалось одним нравственным миром, а должно было известным образом давать себя чувствовать и в литературной области.

Писателя из Н. Толстого, несмотря на большое дарование, все-таки не вышло. Л. Толстой и Тургенев об'ясняли это отсутствием в нем тщеславия; это остроумно, но недостаточно. Необходимо отметить слабое развитие активности в натуре Н. Н.: он был более всего созерцатель жизни, наблюдал ее тонко и осмысленно, но не имел потребности противопоставить ей себя. Деятельность

писателя, как всякая другая, стоит лишь во всестороннем выявлении своей личности. Без большой, упорной работы и борьбы нельзя достигнуть самопознания и самоутверждения. В натуре Н. Толстого не было нужных для этого сил и энергии.

В бумагах его остались еще в виде сырого матерьяла отрывочные записи о преданиях кавказского племени Абаздехов и основанный на них краткий план повести под заглавием «Последний Нуртазали». Там все содержание основано на борьбе горских князьков друг с другом и с русскими; кровавые сцены, убийства, измены, месть переполняют конспект; известную роль играет герой «Пластуна», казак — Адиге. Вещь осталась недописанной, да она была настолько не в характере таланта Н. Толстого, что едва ли могла быть выполнена им удачно.

Кроме этих страничек сохранились еще другие — «Записки об охоте», которые, как вспоминает Л. Толстой, брат читал ему за два дня до смерти. Это — попытка дать нечто вроде прямого руководства к охоте с собаками. Записки только начаты, не представляют ничего цельного и даже характер их не вполне выяснился. По типу они более всего подходят к «Охотничьим запискам» С. Аксакова.

А. Грузинский.

Вступление.

Во время своего плена я познакомился с одним замечательным человеком: его звали в горах Запорожцем, хотя он носил прежде много других имен, как увидит тот, кто будет иметь терпение дослушать мой рассказ. Никто не знал, кто он, какого рода и племени, знали только, что он долго жил на Кубани, потом жил в горах у разных племен и совершил много дел канлы[1]), т.-е. «многим людям пить дал», как говорят черкесы, вместо того, чтобы сказать: убил. Вообще его очень уважали и, может быть, даже боялись, что почти одно и то же. У него было много кунаков между князьями и хорошими узденями, у которых он и жил в кунацкой, то у одного, то у другого, потому что своей сакли и своей семьи у него не было. С этим-то человеком я очень любил разговаривать, может быть, потому, что он рассказывал мне про Кубань, а в плену так приятно слышать хоть что-нибудь об своей стороне, и главное потому, что разговор его казался мне интересным. Он очень красноречиво описывал свою простую скитальческую, но полную приключений жизнь: он только не любил говорить о своем происхождении. Раз я спросил его: кто он: христиан или магометанин? — «Запорожец», — отвечал он. — Но какой же ты веры? — «Бельмесим (не понимаю)», — отвечал он, качая головой, хотя он очень хорошо понимал по-русски. — «Я знаю, что есть бог в горах, есть бог в степи, на Кубани, на море, везде бог... Один бог, — сказал он, подумав немного. — Когда я ходил там по Кубани (несколько неразобр. слов), я тоже видел, что есть бог, как и в горах, как и на море, когда ветер так сильно дует, что небо совсем пропал бывает! Только черные тучи ходят то туда, то сюда, и ветер разносит дождь далеко по морю, которое страшно ревет, как будто сердится, а потом вдруг море делается тихо и прозрачно, как стекло, только немного шевелится, как будто тяжело дышит, как лошадь, на которой много скакали, а на небе светло, и тучи, молния и гром далеко, и сквозь небо видны горы и все так хорошо!»

---

[1]) Кровомщения. (Все примечания принадлежат редактору статьи. *А. Г.*)

(и он щелкал языком, как делают обычно татары, если хотят выразить свое удовольствие). «Это все бог работает!» — прибавил он. Подобные выходки Запорожца напомнили мне Патфайндера [1]), и я понимал, что это поэтическое создание американского романиста возможно и, может быть, нигде так не возможно, как на Кавказе, где природа так величественно хороша, что невольно всякому, даже самому грубому человеку напоминает своего творца.

«Отчего тебя называют Запорожцем?» — спрашивал я его не раз. — «Мой отец был запорожцем, эски-казак, старый казак», — прибавил он. — Но как же ты попал в горы? — спросил я его, потому что не раз он мне говорил сам, что его отец родился узденем, вольным человеком. — «Это давно было, об этом не надо говорить», — отвечал он. В первом письме моем из плена на линию я просил, чтобы мне прислали бумаги, и через месяц я получил десть писчей бумаги. Сперва я вел свой дневник, но потом мне надоело писать каждый день одно и то же: 14 числа. Я целый день рубил дрова и, возвратившись, в награду получил гнилой чурек. 15 числа. Я пас скотину в лесу и целый день думал как бы бежать, но бежать нет возможности, и мальчики, которые помогают мне пасти скотину, стерегут меня и, вероятно, для развлечения попеременно приходят мне плевать в глаза. 16 число. Опять рубил дрова, опять пас скотину и т. д.

Мне надоело, я бросил дневник и стал записывать рассказы моего приятеля Запорожца о его жизни на линии. Они казались мне тогда очень замечательными, особенно, когда он мне их рассказывал на своем черкесском языке, который очень удобен для красноречивых описаний, поэтических сравнений и вообще отличается от всех известных мне горских наречий своей силой и оригинальными оборотами речи. Мои записки показались подозрительными черкесам и раз у меня их отобрали и отвезли к какому-то беглому грамотному солдату, который прочел их и об'явил черкесам, что это — «глупости». Их возвратили мне, и эти-то глупости я хочу рассказать вам, мои любезные читатели.

Непомнящий родства.

(Рассказ Запорожца о том, как он жил до того времени, когда попал в острог).

I.

Я уже говорил вам, что отца и матери я не помню. Знаю только, что я родился в горах и маленьким перевезен на Кубань; там я жил на хуторе, который звали Журавлевским, потому что хозяин любил крик журавлей. Казаки-табунщики, с которыми я жил, звали меня татарином и обращались со мной грубо. Один только человек ласково обращался со мной. Это был старый черкес (Раджих); я называл его Аталык [2]) и любил как отца; казаки тоже звали его «Аталык», и я долго не знал его настоящего имени.

---

[1]) «Следопыт» — герой романа Ф. Купера.

[2]) Воспитатель. У черкесов был обычай воспитывать мальчиков вдали от семьи, поручая их заботам надежного человека, храброго воина. Об этом говорится и в Пушкинском «Галубе».

С молодых лет я начал заниматься охотой с Аталыком, который был ястребятник: у него бывало всегда 5 или 6 чудных ястребов, ловчих, балабанов и киргизов. Сперва я ловил жаворонков и разных пташек, догоняя их ястребом, потом я начал ставить пружки и калевы [1]) и ловить фазанов, зайцев и куропаток. Мне, я думаю, было не более 8 лет, когда я начал охотиться, а я уже по целым ночам просиживал один в степи. Много после того я охотился, много перебил кабанов, диких коз, сайгаков, оленей, туров, лис и разных зверей, но и теперь с удовольствием вспоминаю, как я тогда сторожил фазанов. Перед вечером я отправлялся в кустарник, где водятся они, брал с собой серп, ножницы или бичяк [2]) и начинал простригать дорожки в высокой и густой траве. Как теперь помню, как я, словно зверек, на четвереньках ползал по мягкой травке, душистой и влажной от вечерней росы. Устроив на этих тропках мои ловушки, я садился где-нибудь в куст и ждал, а между тем солнце садилось и небо краснело, как девушка, которая в первый раз остается наедине с своим женихом. Тогда эти мысли не приходили мне в голову. Я слушал голоса, которые пели кругом меня, слушал, как трещал кузнечик в траве, как кричал перепел, как свистал суслик, сидя на краю своей норки, как пел жаворонок, чуть видный в небе, как жалобно кричал ястребок, махая своими широкими крыльями, как чирикали воробьи и другие птички, летая над моей головой в кусте. И когда где-нибудь кордокал фазан, сердце мое вдруг билось сильней, и я весь сжимался, как испуганный еж, и если в это время подо мной хрустнет ветка, или зеленая ящерица, спокойно гревшаяся подле меня на солнце, пробежит, виляя хвостом по сухой траве, я весь вздрагивал, — так я боялся испугать мою добычу. И вот фазан выскакивает из куста, кричит, гордо оглядываясь на все стороны, отряхивает с себя росу и бежит, вытянув шею и хвост, вдоль по дорожке и вдруг он трепыхается, попавшись в ловушку. В это время я не помнил себя от радости. И так я просиживал весь вечер и ночь. Особенно любил я время, когда дневной шум смолкает и ночь возвышает свой голос, тогда со всех сторон начинают откликаться фазаны, и я только успевал вынимать их из калевки, ползая от одной тропки к другой, как лиса. Но настоящие лисы часто успевали прежде меня уносить пойманного фазана, и я находил только перья. Особенно помню я, одна лиса делала мне много шкоды. У ней была позимь [3]) недалеко от хутора, в чудесном месте. Это была ложбина среди степи, кругом росла самая лучшая и густая трава, такая высокая, что тогда я мог в ней спрятаться с головой даже стоя; верно прежде тут была вода, потому что на средине был песок и круглые голыши белелись на солнце. С одной стороны ложбины стоял курган, до половины поросший терновником, из-за которого торчала голая верхушка кургана, как бритая голова татарина. На самой вершине целый день сидели беркуты и орлы, внизу была позимь моего врага и кругом всегда валялись птичьи перья и кости и целый день щебетали сороки.

---

[1]) Пружок и калева — разные силки, петли для ловли дичи.

[2]) Нож.

[3]) Нора.

Долго хлопотал я, чтобы поймать эту лису: часто, когда я сидел в своей сторожке, она пробегала мимо меня, поматывая пушистым хвостом и поворачивая во все стороны свою вострую плутовскую морду. Наконец, Аталык научил меня делать ямки, которыми черкесы обыкновенно ловят лис и куниц. Я устроил такую ямку около позими и кругом расположил несколько калевов и с пистолетом, который утащил у одного казака, залег в траве. Вот попался один фазан, потом другой, лиса все не выходила. Я сидел так тихо, что едва переводил дух; и вдруг черная мордочка показалась на тропке, ведущей к калеву, где трепыхался пойманный фазан. Лиса бежала прямо на ямку, и вдруг она скрылась в ней. Я прибежал и выстрелил: пуля пробила доску и лиса взвизгнула; я с радостью откинул одну доску и хотел схватить лису, как вдруг она выскочила из ямы и побежала, — я за ней. Я заметил кровь на траве: лиса была ранена, пробежав несколько сажен, она упала. Когда я подбежал, она только судорожно дрыгала ногами и щелкала зубами, уставив на меня свои черные на выкате глаза. Я взял ее за хвост и с торжеством потащил домой.

Кроме фазанов я ловил и зайцев, но замордовать такого знатного зверя мне удалось в первый раз. Я был совершенно счастлив! Зайцев я ловил в тех же кустах; Аталык выучил меня звать их на пищик: в жар, когда фазан сидит, я манил зайцев. Не успеешь, бывало, пискнуть два раза, и по дорожке уже бежит косой; через несколько минут уже он кричит в калеве, и я бегу к нему с колотушкой. Таким образом я целые дни и ночи просиживал в этих кустах; я знал каждого зверка, каждую птичку, которая жила в них.

В этих кустах жило три соловья; я узнавал каждого из них по голосу. Особенно я любил одного, который обыкновенно начинал петь после заката солнца и смолкал только к утру. Бывало, когда солнце сядет и звезды зажигаются одна за другою и утки, звеня крыльями, полетят на воду, а ястреба, карги [1]) и голуби потянутся в леса на свои места, и лягушки раскричатся в болоте, я начинаю прислушиваться, и ожидаю с нетерпением моего песельника. И вдруг он запоет и громким щелканьем и посвистом покроет все голоса и один как царь распевает, когда все молчит кругом. Мне нравился его звонкий, веселый и как будто гордый голос. Зимой, когда он улетал, я скучал по нем, как по товарище, весной я беспокоился, прилетит ли он, и только, бывало, услышу его голос в обычное время и на том же месте, я так рад, как будто нашел брата. Мне казалось, что я понимаю, что он поет; мне казалось, что он рассказывал мне, где он был, что он зовет меня туда, куда птицы улетают зимой, где нет зимы, где вечное лето, вечный день и вечное солнце светит на вечно зеленую степь.

Когда я ворочался на хутор и ложился спать под сараем вместе с птицами Аталыка, я видел, как ласточки, летая взад и вперед, слепляют над моей головой гнездо. Они тоже чирикали, тоже рассказывали про эту страну чудес, и когда я засыпал, мне снилось, что я сам — маленькая птичка

---

[1]) Вороны.

[и]иска, что я сажусь на спину к большому журавлю, и вот журавль начинает [м]ахать длинными крыльями и подниматься от земли все выше, и я прижи[м]аюсь к нему и, раздвинув немного перья, на которых сижу, смотрю вниз [ч]ерез его крыло. И вот мы летим через горы и внизу видны люди, маленькие [и] черные, как мыши; они роются в земле и достают золото и серебро и [б]росают в нас золотыми монетами, но монеты разлетаются в золотую пыль, [и] мы летим дальше и пролетаем ущелье между снежных гор. Нам холодно [и] ветер мчит нас так быстро, что дух занимается; и мы летим через море. [И] море прозрачно, как стекло, и в нем гуляют рыбы в огромных дворцах из [ж]емчуга и дорогих каменьев. И вдруг налетает белый сокол и бьет журавля, [и] я падаю, падаю... и просыпаюсь. Чудные сны видел я тогда! Теперь уже [б]олее я не увижу таких снов. Теперь уже я не понимаю, что говорит соловей, [к]огда он поет, о чем разговаривают ласточки, сидя под крышей сакли; а тогда [я] все это знал.

Но тогда я сам был зверек, «Зайчик». Меня прозвали казаки «зайчи[к]ом» за то, что я ходил в заячьем ергаке. Даже Аталык называл меня [З]айчик. — «Зачем ты называешь меня так? — спрашивал я его: — ведь [у] меня есть какое-нибудь имя?» — Есть, ты после его узнаешь, а теперь не [н]адо, — отвечал он.

Мне тогда было уже лет 13, казаки уже перестали обращаться со мной [г]рубо, я уже был почти полезным человеком в нашей артели. Аталык выучил [м]еня вабить перепелов и подарил сеть, и я каждое лето налавливал более [п]уда перепелов. Когда перепела переставали итти, я ловил куропаток, ставил [т]ентели и загонял их туда кобылкой [1]). Для этих охот я все дальше и дальше [з]аходил в степь. Чем дальше уходил я от хутора, тем мне было легче и [в]еселее на душе. Идешь, бывало, по степи с кобылкой и смотришь: кругом [т]ебя все степь, зеленая, чудная степь; только кой-где стоит курган, да виден [д]ымок нашего хутора, над которым с криком вьются карги, а в степи все [т]ихо, как будто все отдыхает и спит, слышно даже, как сухая трава трещит [п]од зелеными кузнечиками, которые стадами прыгают кругом тебя. И вдруг [и]з норки выскочит байбак, сядет на задние лапки, свистнет и побежит, [п]ереваливаясь, назад, как будто дразнит собак.

Я забыл сказать, что у меня тогда были две борзых собаки, Атлас и [С]айгак. Мне щенками подарил их Аталык, я сам их выкормил, и они всегда [б]ыли со мной, мы даже спали вместе. Мы расставались только тогда, когда [я] ходил ловить фазанов; тут они мешали бы мне, и я оставлял их дома. Они [в]збирались на крышу нашей сакли и долго, оборачиваясь, я видел, как они [п]ровожают меня глазами, повернув свои щипцы [2]) в мою сторону. Когда я [в]озвращался, они встречали меня на половине дороги и, виляя хвостами, [в]изжа и прыгая, провожали меня домой. Чудные это были собаки, ничто не [у]ходило от них, ни заяц, ни лиса; раз я даже затравил ими сайгака. Вот как [э]то случилось.

[1]) Холщевой щит на легкой рамке, который несет перед собой охотник, подкрадываясь к дичи. На щите иногда рисовалась фигура лошади; отсюда «кобылка».

[2]) Щипец — морда собаки.

Как-то я за куропатками зашел так далеко в степь, что потерял из виду хутор. Собаки были со мною. Это было осенью, но день был ясный и теплый, как будто летом, длинные белые паутины летали по солнцу. Я шел тихо с кобылкой, — вдруг слышу как будто топот лошади: я посмотрел через кобылку: передо мной стоял большой козел; подняв свою длинную шею, он как будто рассматривал меня. Это был сайгак. Я никогда не видывал их прежде, и мы смотрели друг на друга с удивлением. Наконец я выпустил из рук кобылку; увидав меня, сайгак вытянул шею, прыгнул раз-другой и скрылся. Собаки бросились за ним, но было уже поздно. Я возвратился домой и рассказал про это Аталыку. На другой день на заре он взял у казаков пару лошадей и оседлал их. У него были богато убранные черкесские седла и несколько уздечек под серебро; видно было, что он прежде был богат: кроме седел у него было богатое оружие: шашка под серебром, несколько кинжалов. Один очень мне памятен, потому что я после не видал таких кинжалов: это был очень длинный, толстый, почти круглый клинок: железо было хорошее и очень тяжелое; Аталык легко пробивал им медные и серебряные деньги. «Этим кинжалом пробивают кольчуги», — говорил он, когда вынимал его, чтобы показывать, из пестрого разрисованного сундука, где хранилось все его богатство.

Этот сундук мне тоже памятен; сколько раз маленьким я сидел против него и рассматривал цветы и птиц, которые были на нем представлены, сколько раз я думал, что, когда я вырасту, то поеду в землю, где растут эти красивые цветы и летают эти золотые птички, сколько раз я видел во сне эту землю, когда засыпал на полу против огня, смотря на драгоценный сундук. Кроме того, у Аталыка был лук и стрелы; тул и колчаны были красные, сафьяновые, шитые золотом и шелками; на одном был вышит шелком белый сокол, на другой какая-то золотая птица. «Когда я умру, это все будет твое», — говорил мне старик. — «А ружья не будет у меня?» — спрашивал я его; мне тогда очень хотелось ружья. — «Лук лучше ружья, — отвечал он: — когда люди не знали ружей, они были лучше, крепче держались адата [1]) своих дедов и все было лучше; много зла сделали ружья». И он мне часто рассказывал длинную историю про лук и ружья; когда-нибудь я тебе перескажу ее, это очень хорошая история [2]).

II.

А что бишь я теперь говорил? — Да, вспомнил! Я говорил о том, как мы травили сайгаков. Мы выехали рано; я в первый раз ехал верхом. До этого мне только иногда удавалось садиться на лошадь, а именно, когда табун приходил на водопой. Мне нравилось сидеть верхом на спине лошади, которая спокойно, как будто не замечая моей тяжести, глотала теплую, красную и немного вонючую воду; мне нравилось то, что я сидел высоко и видел кругом себя лоснящиеся спины лошадей, которые, выкупавшись, спокойно

[1]) Обычай.

[2]) Когда запорожцы впервые появились в Черном море (самый конец XVIII века), они застали горцев еще почти не знавшими огнестрельного оружия.

стояли в воде, отмахиваясь черными хвостами от докучливых оводов и комаров, скоро прогонявших и меня от табуна домой к дымящемуся куреву. Теперь я взаправду ехал верхом и ехал один, в широкой степи, которую я так любил. Я был один, потому что Аталык, который ехал подле меня, молчал; я так был занят лошадью, на которой сидел, уздой, которую держал в руках и которую иногда поддергивал, когда лошадь просила поводов, опуская голову между ног. или махала ею, чтобы отогнать комаров, стаей летавших за нами; я так был занят своим новым положением, что не обращал даже внимания на собак, которые бежали подле нас: с нами были Атлас, Сайгак и Убуши, старая черная сука, мать моих собак. Погода была чудная; солнце только что всходило и одно только кудрявое облачко, окрашенное его лучами, быстро неслось по бледному небу; пробегая мимо солнца, оно вытянулось как змея и бросало чуть заметно тень на зеленую траву, которая блестела от утренней росы. Наконец и это облачко скрылось, солнце взошло и степь проснулась; тысячи птиц запели на разные голоса, ястребки начали подниматься, быстро махая крыльями, кое-где с звонким шумом поднимались стрепета, ласточки летали около нас, то мелькая мимо груди лошади, то подымаясь, то опускаясь, как будто купаясь в теплом воздухе.

Наконец, мы увидали что-то черное, это был сайгак; он стоял, как каменный, на высоком кургане. — «Это часовой, — сказал Аталык: — свистни потихоньку своим собакам, чтобы они не отходили от нас». — Мои собаки не бросятся, — отвечал я. — «Ну, а Убуши уж не пойдет, она знает эту охоту». И действительно, эта собака как будто понимала, в чем дело, она посматривала на сайгака, но не отходила от стремени Аталыка. Мы стали об'езжать кругом; когда мы заехали с другой стороны, то увидали весь табун, который пасся спокойно в долине. Мы продолжали об'езжать их кругом, проезжая все на одном расстоянии от часового и все ближе и ближе к табуну. Некоторые сайгаки подымали голову, смотрели на нас и потом спокойно продолжали есть, пятясь назад и толкаясь между собой. Наконец мы под'ехали довольно близко. — «Ну-ка, Зайчик, у тебя глаза лучше: посмотри, видишь ли пятна на боках у молодых?» — Вижу, — отвечал я. — «Ну, так пора! А! Гоп!» — закричал Аталык и поскакал прямо на табун. Моя лошадь бросилась за ним: я сперва испугался и затянул поводья. «Пускай!» — закричал мне старик. Я пустил поводья и крепко сжал лошадь ногами. Мы неслись как вихрь; теплый ветер дул нам в лицо, дух занимался; у меня рябило в глазах, я сперва ничего не видал кроме травы, которая, казалось, уходила из-под ног моей лошади. Она скакала легко, и скоро я поравнялся со стариком.

— Молодец! Джигит! — кричал он.

Я, кажется, вырос на седле и тогда только осмотрелся кругом.

Сайгаки сперва бросились со всех ног, потом, добежав до тропки, которую мы пробили, об'езжая их, они свернули и понеслись по ней; мы скакали на переём, отхватили отсталых и повернули их в другую сторону. Это были пестряки, т.-е. молодые; их было 5 штук. Через несколько минут мои собаки повалили одного. Я проскакал мимо, потому что не мог удержать

лошади: дав круг, я под'ехал к собакам, которые держали сайгака. Я спрыгнул на земь, вынул кинжал и ударил сайгака в бок: он закричал, прыгнул, вырвавшись у собак, но сделав два прыжка — упал и издох. Я оглянулся; лошади не было подле меня: спрыгнув, я бросил поводья; к счастию, она побежала к Аталыку. Скоро пришел старик, ведя в поводу обе лошади; на одной лежал другой пойманный сайгак. Взвалив и моего на седло, мы пешие возвратились на хутор.

Вот как провел я свое детство и сделался охотником. После, когда мне случалось иногда при ком-нибудь соследить, наприм., зайца по чернотропу [1]), меня почитали колдуном. Это казалось удивительно: но для меня, который почти родился охотником, это было очень просто. Меня этому выучил мой Сайгак. Мне очень хотелось узнать, как он отыскивает след, и я всегда наблюдал за ним, когда, виляя хвостом и опустив голову, он доискивается зайца. Я хорошо знал, в какое время и в какую погоду, в каких местах ложится заяц, знал сметки [2]), которые он всегда делал, хорошо умел отыскивать зайца по пороше и, замечая приметы, едва видные для обыкновенного человека, как, например, свежий помет, обмоченную, помятую или сорванную травку или листок, я скоро выучился так же верно отыскивать зайца, как будто у меня было чутье.

Ребенком я уже начал охотиться, жил охотой и бог дал мне охотничьи способности — верный глаз и тонкий слух. Это дал мне бог, потому что он дает всякому, что ему нужно: зайцу, сайгаку он дал крепкие ноги, мне он дал ум, волку, каргам — чутье, по которому волк придет, а карги прилетят на падаль из-за нескольких верст, ястребу он дал глаз, которым тот с неба видит маленькую птичку, маленькой птичке он дал крепкие крылья, чтобы она могла улететь от зимы туда, где ей лучше, байбаку, медведю, сурку, ежу он дал сон, чтобы они спали зимой, когда им нечего есть. Все это бог сделал, и оттого все люди знают его и молятся ему; даже звери и птицы молятся ему. Да, они молятся ему, когда солнце взойдет и каждая птичка взмахнет крылом и запоет, и каждый зверь, в какой бы гуще лесной, в какой бы тени, где и в полдень солнце не светит, в какой бы пещере и норе он ни был, всякий зверь вздрогнет и подымет голову к небу, даже на дереве каждый листок зашевелится и камыш зашепчется совсем не так, как всегда. И это бывает каждое утро: каждое утро все, что живет, молится богу, а я знаю людей, которые забывают бога. Я сам никогда не молюсь, но это потому, что я не умею молиться, как молятся люди: я молюсь, как молятся звери и птицы. Говорят, оттого, что я не делаю намаз [3]), не хожу ни в церковь, ни в мечеть, я не буду в раю. Я не знаю, что такое рай, не знаю, что будет, когда я умру, но знаю, что я не виноват, что не умею молиться: меня никто этому не научил, когда я был молод.

День и ночь круглый год я был на охоте. Летом я ловил фазанов, перепелов и зайцев, осенью я ловил куропаток и лис. Особенно я любил охотиться

[1]) Т.-е. не по снегу, когда следы ясны.

[2]) Перепутывание-следа

[3]) Магометанская молитва.

за лисами. Вот как я начал охотиться за ними. Раз я поймал лису, которая с'едала моих фазанов в пружках: впрочем, я уже рассказывал об этом, но я еще не рассказывал, как я травил лис осенью. Верст пять от хутора был лес: когда я ходил за куропатками, я почти всегда доходил до него, садился на курган, стоявший на опушке, и любовался на лес. Особенно мне нравился шум деревьев во время ветра; мне очень хотелось взойти в лес, но он был так темен, так страшен, что я долго не решался. Раз, это было днем, в степи было очень жарко, из леса веяло такой прохладой, что я не вытерпел и зашел в лес. Я шел тихо: шум листьев и сухих веток под ногами пугал меня, я вздрагивал от всякого звука, все мне было дико, голоса птиц, раздававшиеся кругом, были мне незнакомы. Вдруг я услыхал соловья. Я обрадовался ему, как другу, это был знакомый голос, но и он пел не так, как соловей, которого я слышал прежде: голос его громче раздавался под густым сводом деревьев, перекаты были сильнее, он, казалось, гордился своим зеленым дворцом и обширными владениями. Мне стало грустно, я вспомнил моего скромного ночного соловья в кустах, где я ловил фазанов. В то время его уже не было; раз осенью он улетел и больше не прилетал; я долго грустил по нем, мне хотелось знать, что с ним сделалось, нашел ли он место лучше или погиб где-нибудь.

Я долго ходил по лесу и, наконец, подошел к толстому дереву, белый ствол которого заметил издали. Когда я приблизился, листья его зашевелились: ветра не было, — я вздрогнул и со страхом смотрел на дерево. Это было вечно говорящее дерево, белолистка. Потом я привык к всегдашнему шуму его листьев, полюбил это дерево и всегда ложился под ним отдохнуть в жар. В ясный день лучи солнца, проходя сквозь него, рисовали под деревом разные кружочки, которые, казалось, бегали, гонялись и смеялись друг с другом. Это занимало меня, и я засыпал, слушая шум его листьев. Я просыпался уже вечером: вообще я всегда просыпался, когда захочу. Тогда я выходил на опушку и ложился на курган.

Собаки были со мной; они тоже нежились в густой траве, и мы ждали заката солнца, которое садилось за лесом. Тени от ближних деревьев делались все длиннее и длиннее и как будто подкрадывались к кургану; иногда, когда заря была очень красна, стволы деревьев окрашивались в какой-то странный, кроваво-красный цвет; это предвещало ветер. Мало-по-малу все утихало в лесу, только над нами неслись ястреба, голуби и карги: они летели в лес спать. В это время лисы возвращались из степи в лес; их-то мы и ждали.

Едва покажется лиса, прыгая по густой траве, мы все трое подымем головы и опять спрячемся в траву. Через несколько минут я поднимаю голову и, обернувшись, уже вижу, как лиса мелкой рысью бежит к опушке. Тогда я вскакиваю на ноги и показываю ее собакам. Они ловят ее, а я с кургана любуюсь этой картиной и помогаю им криком. И крик мой далеко разносится по лесу, который как будто с сердцем повторяет его, словно он сердится, зачем будят жителей его, птиц и зверей, которых он усыпляет под своей тенью, напевая им разные чудные, непонятные для нас песни.

Таким образом я почти каждый день, кроме куропаток, приносил одну, а то и пару лис. В последнюю осень, которую я пробыл на хуторе, я помню, что затравил 45 лис.

Обыкновенно зимой табун угоняли на низ в камыши, и мы оставались одни с Аталыком. Хотя и зимой я продолжал охотиться и покрывал шатром целые стаи куропаток и тетеревов, слетавшихся к хутору, но это было самое скучное время. Тогда Аталык рассказывал мне длинные истории про свою прежнюю жизнь в горах, когда он был молодым и славным узденем и наездником, про дела канлы, которые он считал окончательно прошлым и которыми он прославился когда-то.

Я с удивлением и каким-то страхом слушал, как в ущелье, на дороге, где два конных не могут раз'ехаться, на краю пропасти, дно которой едва видно, он поджидал врага. Я вздрагивал, воображая, как этот враг падал в пропасть, где шумит чуть видная река, и как орлы спускаются со скал, таких высоких, что ниже их ходят облака, как эти орлы ныряют в облака, чтобы спуститься на дно пропасти и там клевать глаза несчастного, который умер в бою и останется без погребения в этой страшной расселине, где не только ни родные, ни друзья не найдут его тело, расклеванное птицами, и костей, растасканных зверями, но куда даже солнце не светит и не смотрит на этот страх. Я любил слушать эти рассказы.

Иногда приезжали к Аталыку гости. Это большей частью были его кунаки. Некоторые из них были князья и уздени. Им Аталык оказывал особую почесть, сам держал узду их лошадей, сам снимал с них оружие. Они брали у него ястребов и других птиц и за то присылали ему в пешкеш [1]) или лошадь, или пару волов, или нескольких овец. Я как теперь помню их черные, седые, красные, подстриженные бороды, их важный вид, их ружья в черных чехлах и их блестящие шашки под серебром, их башлыки и шапки, которых они не снимали, сидя на корточках перед огнем и разговаривая на неизвестном мне языке. Теперь я знаю почти все горские наречия, но не могу вспомнить, на каком языке они говорили; разговоры их до сих пор остались для меня тайной. И даже теперь мне хочется иногда догадаться, о чем они говорили. Не раз, говоря между собой, они глядели на меня, и я понимал, что разговор шел обо мне. Теперь я догадываюсь, что Аталык тогда рассказывал им мою историю, и мне еще больше хотелось знать, что они говорили. — Скажи, отчего нам всегда хочется отгадать то, чего мы не можем знать? Отчего мне часто приходит в голову, что будет со мною, когда я умру? Мне много толковали об этом и муллы и священники в городе; я или не понимал их, или не верил им, но мне всегда хотелось узнать это, и я часто по целым часам думал об этом. Мне кажется, что, когда я умру, я не перестану видеть и чувствовать все, что я теперь чувствую, что я буду любить то, что я теперь люблю, и ненавидеть, что теперь ненавижу. А может быть, я умру, как умирает дерево, срубленное под корень или вырванное ветром; оно сохнет, гниет, дождь обмывает его и солнце печет, а оно ничего

---

[1]) Подарок.

не чувствует. Может быть! Я человек простой, не ученый, мне не нужно говорить об этом, но я не могу не думать об этом. Видно, бог вложил мне эту мысль и он мне это откроет только после, когда я умру, когда мне нельзя будет разболтать ничего. Один священник говорил мне, что у бога есть тайна: он долго говорил, и я не понял его, но верю, что есть тайны и большие тайны. Отчего ветер дует направо, а не налево? Отчего он разгоняет облака, когда уже воздух сделался тяжелым перед грозой и уже несколько крупных капель упало на сухую землю, растрескавшуюся от жары, когда все, начиная от человека до самой маленькой птички ласточки, которая низко носится над землей, все с радостью ждут дождя, а ветер разгоняет тучи и солнце опять начинает печь раскаленную землю? Отчего в одном месте дождь, а в другом нет, отчего молния сжигает одно дерево, а сто деревьев рядом стоят целы? Отчего тысячи пуль пролетали мимо меня, сто раз люди и звери гонялись за мной, и несколько раз я думал, что последний час мой пришел, а между тем я жив, а сколько хороших, молодых богатых людей умерло в моих глазах? Отчего они, а не я? Отчего? — Это опять такая вещь, о которой простому, неученому человеку, как я, не надо говорить. Я лучше буду продолжать свой рассказ.

III.

О чем бишь я рассказывал? Да, об Аталыке и его друзьях. Некоторые из них, казалось, боялись друг друга, потому что при других не снимали башлыка, а еще больше укутывались в него, так что из-под мохнатой шапки видны были только блестящие глаза. Это были кровомстители и гаджиреты [1]. Последнюю зиму, что я жил на хуторе, очень много гаджиретов приезжало к Аталыку; большая часть из них была кабардинцы. Я хорошо знал язык Адигэ [2], на нем мы обыкновенно говорили с Аталыком, и немного понимал кабардинский. Я помню, что они много жаловались на русских, особенно на генер. Ермолова (они звали его «Ермолай»), они рассказывали, какой он злой и жестокий человек, как он покорил кабарду, как он приказал перебить даже жеребцов княжеских, и много другого, и слово к а з а в а т [3]) не замолкало в их разговоре. Это было, должно быть, лет 20 тому назад. Я был уже «хлопец моторный» [4]), как говорят казаки; я хорошо ездил верхом, хорошо арканил и загонял табун. Чего же больше? Табунщики взяли меня с собой на зимовье.

Зимовье, куда в то время сгонялись почти все табуны Черноморья, было довольно большое пространство, совсем покрытое камышом: летом оно почти совершенно «понимается» [5]) водою, так что от воды и множества

[1]) Удальцы полуразбойники, отбившиеся от родных аулов и игравшие роль сыщиков и у горцев и у русских.

[2]) Черкесский.

[3]) Священная война.

[4]) Расторопный малый.

[5]) Затопляется.

комаров и змей летом в нем никто не живет, разве какой-нибудь кабан-одинец или рогаль-камышник [1]) бродит по нем, не боясь ни волков, ни охотников. Но зато зимой туда слетаются отовсюду лебеди, гуси, гагары утки, козарки, а за ними летят орлы и хищные птицы, точно так же, как целая стая волков собирается туда вслед за табунами, которые прикочевывают на зиму. День и ночь пасутся там лошади, вырывая из-под мелкого и рыхлого снега отаву на берегах озер, лиманов и заливов Кубани. На полыньях или незамерзших местах, которые, как острова, чернеют среди белого снега и над которыми всегда носятся густые туманы, с криком плавают большие стада водяных птиц, которые так смелы, что не подымаются, даже когда вы подходите к ним, — так они редко видят людей. Кроме табунщиков, которые кочуют там зимой в кибитках, там нет никого. Эти табунщики рассказывали мне, что прежде в тех местах жили так называемые бобыли [2]); мне показывали землянки, где жили эти смелые люди, первыми переселившиеся в Черноморье, где теперь так много станиц и городов. Теперь эти землянки — просто норы, где живут целые семейства лис, которые одни стерегут богатые клады, зарытые, как говорят, около своих землянок бобылями.

Рассказывают, что через эти места проходили войска крымского хана, когда они ходили на Кубань и в горы; одно место и до сих пор называется Крымский шлях; это — самое пустынное место в этой огромной пустыне.

Я после несколько раз был в этих местах. Однажды, это было летом, я и еще один пластун, Оська Могила, мы зашли туда охотиться за порешнями [3]), которых там бездна. На маленьком острове мы выстроили себе шалаш и развели курево. От змей Могила знал заговор, но комары нам ужасно надоедали. Две недели жили мы в этом шалаше; один спал, а другой караулил. Днем порешни выплывали греться на солнце на изломанный старый камыш, который грудами плавал кругом нас; тот, который не спал, стрелял; гул выстрела далеко раздавался по воде, но он не будил того, кто спал: мы так привыкли к стонам птиц, которые день и ночь гудели около нас, что не обращали на них никакого внимания. Ночью порешни еще чаще показывались над водой и наши выстрелы чаще будили птиц, что спали вокруг. Раз я сидел настороже, вдруг слышу, — камыш трещит и мимо меня идет огромный олень. Я выстрелил; раненый олень пустился бежать, ломая камыш. Я разбудил товарища, и мы пошли по следам; с трудом пробирались мы по тем местам, где видно было по огромным прыжкам, что раненый зверь бежал, как стрела. Могила шел впереди; я боялся наступить на змею, которые грудами ползали около нас или грелись на солнце, свернувшись в клубок. Могила шел смело, разгоняя змей длинным кленовым хлыстом; верст пять исходили мы по этому следу, наконец вышли на остров. Олень имел только силы добежать до него, упал и издох; никогда не видал я такого огромного рогаля: он был бурый, почти черный, на рогах, покрытых мохом.

[1]) Олень.

[2]) Одинокие казаки.

[3]) Водяной зверек, норка.

было по 21 отростку; на шее и особенно на холке у него росли длинные, черные и мягкие волосы, как грива у лошади. Мы сняли шкуру, обрубили рога, ноги, а мясо бросили и решили сидеть тут до ночи, надеясь, что ночью придут волки на свежую приманку.

Остров, на котором мы сидели, был чудесное место; напротив нас из-за камышей было видно вдали синее море и свежий морской ветер дул нам в лицо; на острове росла густая зеленая трава, которая резко отделялась от желтоватой зелени камыша, со всех сторон окружавшей ее; в середине острова стояло три огромных вековых кленовых дерева; толстые, в несколько обхватов, покрытые седым мохом, тела их были обвиты хмелем, резкая зелень которых смешивалась с более грубой зеленью кленовых листьев; сильный запах хмеля распространялся по всему острову. На этих деревьях было, верно, более ста гнезд, на которых, согнув шею и свесив ноги, сидели цапли и чепуры всех пород, начиная от огромной белой чепуры до маленькой золотистой цапли с белым хохолком. Другие цапли стояли, как частокол, кругом всего острова, и я любовался, как они аккуратно сменялись, летая тихо и плавно с берега на деревья и оттуда к камышу. Целое стадо оленей паслось под тенью этих деревьев.

Мы не стреляли по них, и они спокойно ходили до вечера, когда к нашей приманке стали сходиться лисы. Их собралось уже штук пять, когда мы выстрелили; две лисы остались на месте. С криком поднялись цапли, камыш загудел от топота оленей. Потом скоро все успокоилось; птицы опять воротились на свои гнезда, но олени более не приходили. Волков тоже не было, но зато мы застрелили в эту ночь восемь лис, из которых три были чернобурые.

Через несколько лет я был опять на этом острове; мне хотелось посмотреть это место, но я почти не узнал его. Камыш во многих местах был выжжен, даже воды сделалось меньше, и там, где прежде плавали лебеди, видно было, что был сенокос. На острове был построен хутор, из трех деревьев осталось только одно и оно стояло за забором, по которому вился хмель; только два аиста, которые свили гнездо на самой вершине дерева, да запах хмеля напоминал мне прежний остров, населенный цаплями, оленями и лисами. Теперь по нем гуляли индюшки и двое ребят играли с дворовой собакой. Увидав меня, они побежали в хату; собака сперва зарычала, потом громко залаяла, какая-то женщина открыла окно и сейчас же со страхом захлопнула. Наконец вышел хозяин с ружьем. Это был старый казак; по лицу его было видно, что он давно перестал казачить и сделался мирным хуторянином. Я перепугал его детей, и мне стало совестно и даже грустно.

Все переменилось на этом острове, который я оставил таким диким. Теперь на нем спокойно жили мирные люди, а я остался таким же диким, таким же байгушем [1]), как прежде. Я испугал детей, а между тем я всегда их любил. Мне тогда пришло в голову, да часто мне и теперь эта мысль приходит, что ежели бы в молодости я женился, я бы не был ни гаджиретом,

---

[1]) Бедняк, бездомный.

ни байгушем, не приобрел бы, может быть, славы хорошего стрелка, но зато не пугал бы детей и, может быть, был бы счастлив. Может быть! Но видно так не должно было быть! Я спросил у казака дорогу на Журавлевский хутор; он недоверчиво посмотрел на меня и сказал, что такого хутора тут нема! — «Может быть, Журавлевский хутор и не существует?» подумал я и пошел потихоньку своей дорогой одинокого человека, байгуша, гаджи! Да, вот какова моя жизнь. Давно это было, а я все, как теперь, помню: как я охотился с Могилой, как сидел настороже, когда он спал, как светила луна в это время и блестели звезды.

Раз я спал, Могила сидел настороже. Вдруг он будит меня: «Ем!» — говорит он со страхом, показывая мне рукой на огромного кабана, который, подняв морду, растопырив уши и раздувая ноздри, стоял перед нами. Могила был очень храбрый человек, мы вдвоем раз отбились от целой партии шапсугов [1]), а теперь он был бледен и дрожал, как лист. Дело в том, что кабан был действительно необыкновенный: он был совершенно белый. Я приложился. — «Не стреляй, — сказал Могила: — это твоя или моя смерть пришла за нами». Я не поверил, или, лучше сказать, не понял, что он говорит; я знал, что мы с'ели почти все сало и бурс (?), который взяли с собой, а соль была у нас, и из кабана мы могли покоптить окорок. Я выстрелил, кабан упал на месте. Я взглянул на Могилу: бледность и смущение его прошли; он только сказал мне, что он рад, что я, а не он убил кабана, что его отец тоже убил белого кабана и потом через две недели помер. «Смотри, чтобы и с тобой чего-нибудь не случилось», — прибавил он. — Ничего! — ответил я. И действительно, со мной ничего не случилось, а через месяц бедного Могилу убили на тревоге.

Рассказы Могилы о черногривом олене и белом кабане, его смерть — долго оставались в памяти у наших товарищей пластунов. Кроме того говорили, что там зарыт клад, что несколько казаков на этом месте обх. М. (?) и долго потом казаки уверяли, что Крымский шлях — проклятое место.

(Окончание следует.)

---

[1]) Одно из горских племен.

Хозяйственные затруднения.

Э. Квиринг.

XIV партийный с'езд подтвердил линию на индустриализацию нашей страны, при чем оговорил, что эту линию мы должны проводить в пределах и в меру реальных ресурсов. Эта оговорка крайне существенна, ибо если принять общую директиву без такой детализации, то она могла бы нас повести к большим затруднениям. В частности, надо признать, что хозяйственные затруднения, которые мы сейчас переживаем, в известной степени являются результатом того, что в первые месяцы 1925 — 26 г. мы не могли достаточно точно подсчитать ресурсов страны, и несколько преувеличили эти ресурсы. Но, признавая наличие ошибок в расчетах, надо вместе с тем совершенно определенно различать ошибки в подсчете реальных ресурсов от ошибок в общей хозяйственной линии. Некоторые товарищи, еще до партийного с'езда отстаивавшие необходимость более быстрого развития сельского хозяйства, и сейчас, после партийного с'езда, пытаются доказать, что затруднения, которые мы сейчас переживаем, являются результатом неправильной линии, взятой хозяйствующими органами, линии на развитие промышленности. Тов. Шанин, принимавший участие в предс'ездовской дискуссии и являющийся фактическим выразителем точки зрения руководителей финансового ведомства, и теперь, после XIV партс'езда, все еще пытается доказать, что необходимо в большей мере развивать сельское хозяйство, так как только через развитие сельского хозяйства возможно и развитие промышленности. Вопрос о хозяйственной линии стоит таким образом: в стране имеется ограниченное количество ресурсов, и речь идет о том, как эти ресурсы наиболее целесообразно распределить между различными отраслями народного хозяйства, в частности между промышленностью и сельским хозяйством. Ряд товарищей старается доказать, что для развития всего народного хозяйства сейчас было бы выгоднее большую часть ресурсов страны бросить на развитие сельского хозяйства, а с развитием промышленности обождать. Наиболее законченная формулировка причин наших затруднений с точки зрения теории «аграризации» страны дана тов. Шаниным в № 2 «Большевика» после XIV партс'езда.

Он говорит следующее:

«Основная причина наших сегодняшних затруднений и, в частности, корень бестоварья, которые мы переживаем, заключается не

в том, что промышленность недостаточно быстро развертывается (за счет внутренних ресурсов) и поэтому отстала от сельского хозяйства, а в **том, что она развертывается** (и прежде всего со стороны своего **спроса) слишком быстро...**» (Разрядка Шанина. *Э. К.*). Итак, вся беда в том, что промышленность слишком быстро растет. Но если быстрое развитие промышленности неизбежно ведет к бестоварью и др. хозяйственным затруднениям — то нам остается лишь уповать на иностранную промышленность и долгие годы влачить существование страны земледельческой.

Это и значит поставить нас под полную зависимость от капиталистических государств с развитой промышленностью. Это есть дауэсизация страны.

XIV с'езд партии решительно осудил эту линию, подтвердив курс на максимальное развитие промышленности.

И если начиная со 2-го полугодия текущего года в некоторых отраслях промышленности нам приходится несколько сокращать достигнутый уровень производства и сократить против предварительных плановых предположений темп развития всей промышленности — то это не значит отступление от **линии** на индустриализацию — это значит лишь приведение темпа роста в соответствие с реальными ресурсами страны.

Как же обстоит дело с промышленными программами на 1925—26 год и в какой мере их необходимо сокращать? Наша промышленность за последние годы растет гигантски. В прошлом 1924—25 году продукция государственной промышленности выросла на 64%. В этом году программа ВСНХ предусматривала рост продукции на 49%. Теперь после всех сокращений этот рост получается примерно около 40%. При этом совершенно не сокращается производственная программа горной, силикатной, лесной и пищевой промышленности. Горная промышленность в этом году дает всего 36% роста. Сюда входит и уголь и нефть, руда и проч. Тяжелое топливное положение достаточно известно. Несмотря на то, что Донецкая угольная промышленность в этом году дает рост добычи в 52%, несмотря на то, что вся топливная промышленность увеличивает продукцию на 40% в год, все же она не успевает за ростом потребностей страны и благодаря тому, что в прошлом году дровяные заготовки были поставлены сравнительно плохо, а большинство потребителей надеялось получить уголь или нефть — промышленность, особенно центрального района, переживает сейчас значительные топливные затруднения. Поэтому, конечно, не может быть никаких разговоров о сокращении темпа развертывания горной и в частности топливной промышленности. Наоборот, мы принимаем все меры к тому, чтобы по возможности еще сверх программ получить несколько десятков миллионов пудов угля и нефти.

Силикатная промышленность растет значительно быстрее. Программа ее составлена на 75% роста, и программа эта должна быть выполнена. Силикатная промышленность вырабатывает строительные материалы, производство

которых совершенно недостаточно. Рынок поглощает все производство и сокращение программы должно было бы вызвать сокращение капитального троительства.

Лесная промышленность дает рост в 46%, что также совершенно недостаточно. Лесных материалов не хватает и цены усиленно растут. Спрос значительной мере превышает предложение, при чем крестьянский спрос на лесные материалы ни в какой мере не удовлетворен. Этот крестьянский прос громаден, ибо крестьянство накопило уже некоторые резервы и хочет троиться. Следовательно, программа лесоразработок минимальна, и необходимо напрячь силы для ее превышения.

Пищевая промышленность сокращается лишь очень незначительно — 75% роста до 73%. Этот рост идет, главным образом, за счет сахарной ромышленности, которая сильно превысила ожидаемую выработку и дает место ожидавшихся 53 м. п. сахару 65 м. п.

Сокращение производства вызывается, главным образом, сокращением мпорта. Мы не можем вывозить за границу столько хлеба, сколько предполагали, вследствие чего нам приходится сокращать и количество ввозимых товаров и в том числе количество хлопка, шерсти, кожи, цветных атериалов и т. п. необходимых для развития нашей промышленности.

В соответствии с сокращением импорта и отчасти с сокращением внутреннего финансирования, а в некоторых отраслях в соответствии с недобором нутреннего сырья мы приходим к следующему сокращению производственных программ. По металлической промышленности предполагался рост против прошлого года на 66%, по сокращенной программе этот рост дает 2%. Сокращение это вызвано, главным образом, благодаря тому, что заграничное оборудование получается с запозданием, почему нельзя переоборудовать старые машины, работающие с авариями. Частично оно вызвано сокращением ввоза цветных металлов.

По электротехнической промышленности предполагался рост на 63%. о сокращенному плану этот рост определяется в 46%. Причины сокращения лана те же, что в металлической промышленности.

По текстильной промышленности предполагался рост в 39%, сейчас 22%.

По химической промышленности намечено было 52%, сейчас — 44%.

По бумажной промышленности предполагалось 16%, сейчас — 11%.

По кожевенной промышленности — 29%, сейчас — 21%.

Все это сокращает промышленную продукцию 1925—26 г., примерно, 290 милл. довоенных рублей или около 450 милл. червонных рублей. Разумеется, для развития товарооборота и уменьшения товарного голода такое кращение очень болезненно.

Какие же изменения в работе нашей промышленности вызывают эти кращения? Наиболее болезненны намеченные сокращения в текстильной кожевенной промышленности. В этих отраслях промышленности мы достигли уровня, намеченного программой. Уже октябрь месяц, т. е. первый сяц этого года, дал нам почти 100% намеченной программы. Стало быть,

поскольку мы эти программы сейчас сокращаем, придется сокращать достигнутый уровень производства.

Имеются разные возможности сокращения этих производств. Одна возможность — это закрыть некоторые фабрики и соответственно с этим рассчитать рабочих, или — на каждой данной фабрике сократить известное количество рабочих. В этом случае мы должны были бы рассчитать около 70 тысяч рабочих. Есть возможность и не прибегать к массовым сокращениям рабочих, а установить простои предприятий на определенный срок. Избран именно этот второй способ. Помимо того, решено перейти в хлопчато-бумажной и шерстяной промышленности к выработке тканей облегченного типа, что сократит предполагаемые простои.

Как велики будут эти простои?

По первоначальной программе хлопчато-бумажная промышленность должна была выработать 2.050.000.000 метров хлопчато-бумажных тканей — по сокращенной программе при проведении мероприятий по облегчению ассортимента вырабатываемых тканей, выработка составит, примерно, 1.800.000.000 метров. Таким образом и при изменении ассортимента мы все-таки не сможем полностью нагрузить работой фабрики, и простои в работе неизбежны. По подсчетам ВСНХ, без изменения ассортимента простои в хлопчато-бумажной промышленности должны дать помимо 14 дней перерыва на декретный отпуск еще 40 дней остановки производства. Это значит, что все текстильные фабрики, в течение этого года, т.-е. в течение остающихся 7 месяцев — 54 дня должны стоять без работы. При изменении ассортимента этот простой сокращается и к двухнедельному обычному перерыву присоединяется еще, примерно, трехнедельный перерыв. Изменить это положение можно было бы только в том случае, если бы оказалось возможным на внутреннем рынке закупить еще около миллиона пудов хлопка, что является очень мало вероятным, или почти невероятным, или же в том случае, если бы мы сумели достать дополнительные ресурсы и закупить за границей еще около 1—1½ миллионов пудов хлопка.

В шерстяной промышленности мы тоже не сможем связать концы с концами при сокращенном ввозе тонкорунной шерсти. Тонкая суконная промышленность работает почти исключительно на ввозной шерсти. Мериносовой шерсти у нас в стране почти нет. И, следовательно, всякое сокращение ввоза шерсти неизбежно должно получить отражение в производстве. Правда, в шерстяной промышленности еще в более широких размерах, чем в хлопчато-бумажной, применяется облегчение ассортимента, которое сводится к тому, что будет почти прекращена выработка тонких суконных тканей и работа фабрик переводится, главным образом, на выработку полушерстяных тканей. Это дает известное облегчение, но все же это не решает задачи. При чем в шерстяной промышленности задача не может быть решена только остановкой работы. Здесь мы уже конкретно подходим к необходимости сокращения рабочих. Отчасти эти сокращения уже произведены. И это мероприятие все же в окончательной мере тоже не решает задачи. И в шерстяной промышленности намечается летняя остановка ра-

боты, примерно, около месяца, дополнительно к двухнедельному обычному перерыву. При этом количество вырабатываемой ткани не уменьшится.

Кожевенная промышленность потерпит также значительное сокращение. Здесь сокращается работа только заводов подошвенной кожи, и это сокращение коснется в первую очередь таких крупных заводов, как Таганрогский, Киевский и Одесский, которым предстоит, очевидно, перерыв в работе около двух месяцев, если не удастся их снабдить внутренним сырьем. В отношении остальных отраслей промышленности более или менее значительных сокращений достигнутого уровня не производится. В электротехнической — производится только сокращение программы, а не достигнутого уровня производства. Поэтому сокращение там на производственной работе отражается очень незначительно. То же самое и в металлической промышленности, и в резиновой промышленности, хотя мы значительно сократили ввоз сырья — резины.

Вот, примерно, к чему сводится сокращение работы нашей промышленности.

Сокращение достигнутого уровня производства имеет лишь место в некоторых отраслях промышленности. В других дело ограничивается сокращением программ. В общем же — в 1925—26 году рост продукции всей промышленности в 40% можно считать обеспеченным.

Каково положение с капитальными затратами промышленности? Относительно капитальных затрат были очень большие споры, которые уже теперь разрешены в окончательной инстанции, и последняя программа капитальных затрат, которую ВСНХ представил на утверждение в высшие органы, получила свое подтверждение. Программа эта составлена в двух вариантах. Первый вариант предусматривает капитальные затраты на 746 миллионов, а второй вариант на 822 миллиона. Этот первый вариант покрывается на 55% из средств самой промышленности и на 45% ассигнованиями со стороны. Средства эти составляются следующим образом: собственные средства промышленности — из амортизационных сумм — 250 миллионов, из прибылей 1925—26 г. — 135 миллионов (это меньше трети прибылей). Из прибылей прошлого года — 37 милл., из промфонда — 12 милл. Со стороны промышленность получает из бюджета — 95 миллионов, от займа хозяйственного восстановления — 114 миллионов и из Центрального Коммунального Банка на кредитование жилищного строительства — 27 миллионов. Остаются переходные платежи — 75 миллионов, из которых 61 миллион иностранных кредитов. Эти 60 миллионов рублей составляют остаток по обычным кредитам, получаемым нами при закупке за границей оборудования. Помимо этого сейчас закончены переговоры с германским правительством о получении длительных долгосрочных кредитов на покупку оборудования. Уже заключен первый договор с одной группой промышленников — Отто Вольф — на 30 миллионов марок, и ведутся переговоры с целым рядом других промышленных групп в Германии. В счет этих кредитов мы имеем расширить капи-

тальные затраты с 746 миллионов до 822 миллионов. При чем тогда иностранные кредиты составят не 61 милл., а 120 милл. рублей. Эта программа, утвержденная правительством, является вполне реальной и обеспечивается как собственными капиталами, так и ассигнованиями правительств и банковым кредитом. При этом оборотные средства промышленности увеличатся за год на 432 миллиона, из которых собственных средств промышленности 152 миллиона, остальные из бюджета займа и краткосрочных кредитов. И эта программа финансирования является реальной.

Является ли сокращенная производственная программа окончательной? Можем ли мы что-либо сделать для того, чтобы эту программу увеличить, или есть ли какая-нибудь опасность, что эта программа не сможет быть выполнена? Я считаю, что прямой опасности невыполнения нет. Она могла бы сказаться, если бы перед страной встали дополнительные непредвиденные трудности. Можно ли что-либо сделать, чтобы сокращенную программу расширить, можно ли что-либо сделать для того, чтобы не сокращать достигнутого уровня, чтобы обойтись без летних перерывов, о которых сказано выше? Для этого нужно было бы ввезти дополнительно из-за границы сырья и полуфабрикатов на 64 миллиона рублей. Я не думаю, что мы сможем в такой мере увеличить наш экспорт, чтобы получить дополнительно эти 64 миллиона рублей. Но известные возможности все же есть. Наш экспортно-импортный план составлен с запасом в 100 миллионов рублей. Если в течение ближайших месяцев выяснится, что 100 милл. рублей действительно останутся, — то часть из них могла бы быть затрачена на покупку сырья, и этим хотя бы частично пополнены наметившиеся пробелы. Некоторые перспективы в смысле улучшения нашего экспорта дает ход хлебозаготовок за февраль месяц. Обычно уже с января месяца начинается и падение хлебозаготовок. Это совершенно понятно: хлеб продается крестьянином главным образом осенью, а к весне придерживается и продается в минимальном количестве; в этом же году в феврале месяце мы имеем значительное повышение хлебозаготовок против плана. Больше того, хлебозаготовки в феврале месяце выше хлебозаготовок в январе. Здесь, по-моему, сказывается тот факт, что крестьянство в хлебных районах имеет значительные запасы хлеба, которое оно держало в расчете на повышение цен. Теперь же, когда несколько нажали на взимание налогов и платежей по госстраху в сельско-хозяйственную кооперацию, когда подходят весенние работы и крестьянину нужно и плуг купить, и телегу починить и т. д., он начинает понемногу выбрасывать свои хлебные запасы. Если хлебозаготовки и в последующие месяцы дадут превышение против намеченных программ — тогда экспорт может быть несколько увеличен, — а соответственно будет увеличен и импорт.

Могут помочь также германские кредиты (около 130 м. р.), так как благодаря им расчетный баланс страны улучшится и станет возможным некоторый дополнительный ввоз заграничного сырья.

Таково положение промышленности. Индустриализация страны проводится в пределах реальных ресурсов.

Это и означает, прежде всего, режим экономии. Если мы в расходовании всех ресурсов народного хозяйства будем проявлять максимальную экономию, если мы будем производить только действительно крайне необходимые первоочередные производительные (в широком смысле) расходы, если мы будем проявлять во всей государственной и хозяйственной работе максимальную экономию, мы быстрее поднимем дело индустриализации страны. Режим экономии есть основная директива хозяйственной политики на долгий период.

Наиболее же важными очередными задачами ближайших месяцев является снижение розничных цен и повышение производительности труда. С октября 1923 года, когда партия взяла твердый курс на понижение товарных цен, оптовые цены, т.-е. цены промышленности, снизились на протяжении двух лет, примерно, на 28%. В розничной продаже за эти два года цены понизились всего на каких-нибудь 9—10%. Таким образом в течение этих двух лет вся розничноторговая система, т.-е. частный капитал, кооперация и государственная торговля, не доводит до потребителя снижение цен, которое произведено в промышленности.

Потребитель не получает все те выгоды, которые он мог бы получить от снижения промышленных оптовых цен.

Суммы, которые застревают в торговых каналах, громадны. У нас нет сколько-нибудь точного подсчета переплат на высоких розничных ценах, но во всяком случае они определяются сотнями милл. руб. в год. Это значит, что ежегодно сотни миллионов рублей, благодаря высоким розничным ценам, остаются в торговом аппарате на содержание излишнего количества служащих и частных капиталистов.

Торговый аппарат нам стоит слишком дорого.

Вот почему задача снижения розничных цен является одной из важнейших задач для оздоровления народного хозяйства.

И рабочая общественность должна поставить борьбу против высоких цен, как одно из важнейших средств улучшения положения рабочих.

Мы сможем реально бороться в условиях товарного голода с высокими розничными ценами только в том случае, если рабочий класс и крестьянство сумеют максимально укрепить свои кооперативы, осуществить над работой этих кооперативов действительный контроль, потребовать от кооперативов, чтобы все снижение оптовых цен было доведено до потребителя.

У нас, к сожалению, нет всесоюзного индекса частной и кооперативной торговли. Для сравнения имеется только московский индекс.

Приведем таблицу, по которой можно судить о различии цен в розничной частной торговле и торговле кооперативной, в Москве:

Таблица № 1.

Индекс цен промтоваров в розничной, частной и кооперативной торговле по Москве.

(По данным К. Инст.)	Цены на 1913 г. = 1 В кооперат. торговле.	В частной торговле.
На 1 августа 1925 г.	1.90	2.29
» » сентября » »	1.91	2.31
» » октября » »	1.91	2.46
» » ноября » »	1.92	2.49
» » декабря » »	1.94	2.53
» » января 1926 г.	1.94	2.42
» » февраля » »	1.94	2.41
» » марта » »	1.95	2.44

Таблица эта чрезвычайно показательна. Мы видим, что цены в частной торговле значительно выше цен кооперации. На 1 августа проминдекс частной торговли на 21% превышал индекс кооперативных цен, на 1 декабря это превышение достигает уже 30%, а на 1 марта, после некоторого снижения частных цен, промышленные товары в частной торговле все же еще на целых двадцать пять процентов дороже цен в кооперации.

Цены кооперации из месяца в месяц почти стабильны, или растут совсем незначительно, в то время как в частной торговле эти цены выявляют тенденцию роста.

Укрепление кооперации есть первое условие борьбы с высокими розничными ценами — это надо твердо усвоить. Я оставляю сейчас в стороне ряд других важнейших мероприятий (установление договорных отношений с частной торговлей, кредитование, ассортимент и т. п.) и остановлюсь только на вопросе об инфляции. Некоторые экономисты сводят все наши хозяйственные затруднения к проявлениям инфляции. Для них товарный голод обозначает наличие излишнего количества денег, а не недостаток товаров. Соответственно этому они стремятся не к расширению производства для увеличения количества товаров, а к сокращению денежной массы.

Само собой разумеется, что и промышленность и сельское хозяйство могут стоять на крепких ногах и развиваться только при устойчивой валюте. Поэтому крайне важно проверить, как обстоит дело с курсом червонца, с его покупательной способностью, в какой мере сказываются сейчас явления инфляции и, соответственно этому, какие меры необходимы для поднятия червонца или, что то же самое, для понижения цен. Падение курса денег означает неизбежное повышение товарных цен. Если червонец наш покатится, то нам уже нельзя будет серьезно говорить о борьбе за снижение товарных цен, тогда хозяйственные трудности перерастут в глубокий экономический кризис.

Приведу некоторые цифры, которые показывают в какой мере страна переживает или переживала инфляционные явления, в какой мере перед нами стоит опасность крушения нашего червонца. Известно, что крушение валюты вызывает повышение всех товарных цен. Вне зависимости от усло-

вий спроса и предложения. цены на товары в этих условиях растут, не потому, что этих товаров много или мало, не потому, что на них большой или малый спрос, а потому, что покупательная сила денег из недели в неделю, а при усилении инфляции изо дня в день, падает и тем самым *повышается* цена товаров.

Если мы обратимся к движению индексов по отдельным группам товаров за лето 1925 г., то мы получим довольно интересные результаты. Обратимся к оптовым ценам по индексу Госплана. Этот индекс регистрирует движение цен нескольких десятков товаров. Отдельно учитывается движение цен по 15 товарным группам. Эти товарные группы такие: бакалейные товары, минеральное топливо, дрова, черные металлы, цветные металлы, хлопчатобумажные изделия, шерстяные изделия, льно-пеньковые, кожевенные товары, химические изделия и строительные материалы, т.-е. группы наиболее важных промышленных товаров. Проследим, какие цены падали, какие поднимались в течение последних 7 месяцев, начиная с июля 1925 г., когда началось повышение цен. Получаются следующие результаты: в июле месяце повышались цены на товары 7 групп, понижались цены тоже в 7 группах и стабильны были цены в одной группе товаров. В августе месяце повышение охватывает уже 13 групп товаров и только 2 группы дают понижения, в сентябре месяце мы имеем в повышении 10 групп товаров, 4 — в понижении и 1 — стабильна. В октябре месяце 11 — в повышении, 3 — в понижении и 1 — стабильна. В ноябре месяце 10 — в повышении, 4 — в понижении и 1 — стабильна. В декабре месяце намечается уже некоторый перелом в повышении — 6 групп товаров, в понижении — 7 и стабильных — две.

В январе та же тенденция продолжается: в повышении — 7, в понижении — 6 и стабильных — 2 группы товаров.

Ту же тенденцию показывают и цены розничные, которые являются наиболее верным показателем покупательной способности червонца. Здесь мы имеем 13 групп пром. товаров, которые повышаются и понижаются по месяцам следующим образом:

Июль	повышается	9	понижается	4
Август	»	8	»	5
Сентябрь	»	11	»	2
Октябрь	»	10	»	3
Ноябрь	»	10	»	3
Декабрь	»	6	»	7
Январь	»	5	»	8 и 1 группа стабильна.
Февраль . . .	»	8	»	4 и 1 группа стабильна.

Что говорит эта таблица движения цен? Она говорит о том, что в сентябре, октябре и ноябре месяцах мы имели повышение цен почти всех товаров. В эти месяцы совпадают наиболее высокий спрос на товары со стороны крестьянского рынка и наибольшая эмиссия червонцев. В декабре — январе мес. уже начинается известный перелом. Значительная часть товаров падает в цене и только некоторая часть остается в повышении, при чем

общий промышленный индекс декабря очень незначительно понизился против ноября.

В феврале на повышении розничных цен уже сказалась перспектива сокращения производства, что было использовано частной торговлей в своих спекулятивных целях.

Какие отсюда следуют выводы? Выводы такие: наибольшая инфляционная опасность, наибольшее проявление инфляции было в августе — ноябре 1925 года. В декабре — январе месяцах наметился некоторый перелом в движении цен, кроме товаров, и инфляционные явления стали меньше.

Таково движение розничных цен частной торговли. Если мы проследим движение цен на эти же месяцы по кооперативной торговле, то положение окажется много благоприятнее. Для сравнения приводим частные и кооперативные цены г. Москвы.

Таблица № 2.

Изменение индексов 12 промтоварных групп в розничной, частной и кооперативной торговле по Москве

(по данным К. Инст. Н. К. Ф.)

За месяцы	Число товарных групп, по которым цены					
	повысились.		понизились.		остались без изменения.	
	Коопер.	Частная.	Коопер.	Частная.	Коопер.	Частная
Июль 1925 г.	2	5	3	1	7	6
Август »	3	7	2	1	7	4
Сентябрь »	4	6	0	1	8	5
Октябрь »	2	5	3	3	7	4
Ноябрь »	4	5	3	2	5	5
Декабрь »	1	3	1	4	10	5
Январь 1926 г.	1	3	3	6	8	3
Февраль »	3	4	1	2	8	6

Из 12 товарных групп кооперативные цены растут в течение месяца максимально по 4 группам — кооперативные цены проявляют большую стабильность, особенно за декабрь—январь—февраль.

Движение индексов, начиная с денежной реформы, то-есть с апреля 1924 года, тоже не говорит о значительных инфляционных явлениях. Покупательная сила червонца за этот период снизилась очень незначительно.

Но есть ли всякое повышение индекса инфляция? Конечно, нет.

Достаточно указать, что покупательная способность самого твердого американского доллара в ноябре 1925 г. была меньше такого же самого довоенного доллара. Золотой индекс доллара составлял 156% довоенного.

Значит, не всякий рост индекса есть инфляция. Средний годовой рост оптового индекса в старой царской России с 1900 по 1913 г. составлял в среднем 3%, поднимаясь в отдельные годы до 7—8% в год. Была ли до 1913 года инфляция золотого рубля? Нет, не была. Как же вырос оптовый индекс в Советском Союзе? Если за основу взять апрель 1924 г. момент денежной червонной реформы, то на 1 январь 1926 года оптовый индекс Госплана дал рост в 3%.

Оптовый индекс не дает оснований говорить об инфляции.

По розничному всесоюзному бюджетному индексу покупательная сила червонного рубля составляла в апреле 1924 г. 47,4 коп. по сравнению с довоенным рублем, а на 1 января 1926 г. по тому же индексу покупательная сила червонного рубля была 47,6 коп., при чем наиболее низкий уровень имел место на 1 мая 1925 г., когда покупательная сила была до 45,7 коп., а наиболее высокий уровень был на 1 сентября 1925 г., а именно 53,6 коп., следовательно, наивысший размах колебания курса червонного рубля за 1 год и 8 мес. составляет 7,9 коп. Это, конечно, весьма высокое колебание, но основано оно, в первую очередь, на недостаточном положении рынка товаров, а лишь в незначительной степени явлениями на рынке денег.

Из всего сказанного ясно, что инфляционные явления лишь в слабой степени сказываются на товарных ценах, а главным двигателем этих цен является спрос и предложение, подогреваемое спекуляцией частной торговли.

Перейду к последнему и одному из самых главных вопросов, который стоит сейчас перед промышленностью, партией и рабочим классом,—вопросу относительно производительности труда и зарплаты. В летние месяцы 1925 г., когда у всех были радужные надежды, когда думали скакнуть вперед, гораздо выше, чем мы сумеем это сделать, когда думали развить экспорт до 1 миллиарда руб., когда многие видели только одно хорошее, в этот период некоторые товарищи заговорили о необходимости довести зарплату до довоенных размеров. Этих товарищей одергивали, ибо ни у кого не было уверенности в том, что мы можем уже в течение этого года довести зарплату до довоенных размеров. В финансовых планах промышленности достижение довоенных размеров зарплаты намечалось к концу года. Фактически же оказалось, что довоенная зарплата в реальном выражении уже достигнута в сентябре месяце 1925 г. Средняя реальная зарплата всей промышленности в сентябре месяце 1925 г. составляла 100,4%. Следовательно, довоенный уровень полностью достигнут, при чем эта зарплата взята без начислений. По отдельным отраслям промышленности уровень зарплаты следующий: в металлической промышленности — 83%, в текстильной промышленности — 123%, в химпромышленности — 122%, в кожевенной промышленности — 131%, в полиграфической — 118%, в пищевой — 257%, в бумажной — 135%, в деревообделочной — 126% и в горной — 72%.

Таким образом только в горной и металлической промышленности зарплата ниже довоенной, а во всех остальных отраслях промышленности

зарплата выше и в некоторых даже значительно выше. Если мы возьмем зарплату вместе с начислениями, то получаем еще больший рост. Тогда мы будем иметь такие цифры: для металлопромышленности — 96,5%, для текстильной — 154,8%, для химической — 154%, для кожевенной — 156%, для полиграфической — 138%, для пищевой — 188%, для бумажной — 171% и для деревообделочной промышленности — 152%.

Это средняя зарплата по всему Союзу. В таких центрах, как Москва, она значительно выше, а именно: для металлистов в ноябре 1925 г. по данным МГСПС — 120%, для текстильщиков — 128%, для химиков — 157%, для пищевиков — 159%, для кожевников — 158%, для печатников — 115%. По всем союзам 127% (без начислений).

Как же обстоит дело с производительностью труда?

До мая месяца 1925 г. вместе с зарплатой росла и производительность труда. С мая месяца 1925 г. производительность труда не только не растет, но она падает. В течение всех последующих после мая месяцев в среднем по всем отраслям промышленности мы имеем падение производительности труда. Если уровень производительности труда в мае месяце взять за 100, то в августе он составлял 94%, в сентябре — 98%, в декабре — 98%. Таким образом в течение этих месяцев мы имеем некоторое снижение производительности труда, в то время как зарплата за это время выросла очень значительно. Если май месяц в отношении зарплаты мы возьмем также за 100%, то в декабре месяце зарплата составляла уже 116%, т.-е. выросла на 16%. От мая до декабря мы имеем постоянное понижение производительности труда, при чем в декабре это понижение производительности труда составляет 2%, а зарплата повысилась на 16%.

На пленуме МК некоторые товарищи говорили, что может быть это случайное явление, что взяты неудачные месяцы для сравнений, поэтому я приведу сравнение зарплаты и производительности труда начиная с 1922 года. Если октябрь 1922 г. примем за 100 для всех показателей и для производительности труда и для зарплаты, тогда мы имеем такой рост: на октябрь 1923 г. зарплата выросла на 57%, производительность труда на 22%; на октябрь 1924 г. зарплата выросла на 99%, производительность труда на 43%, и наиболее близко зарплата и производительность труда подошли друг к другу именно в мае месяце 1925 г., когда зарплата выросла на 202%, а производительность труда на 195%. Мы имеем почти схождение роста зарплаты и роста производительности труда на протяжении этих двух с половиной лет. А начиная с мая 1925 г. мы имеем обратный процесс. Производительность труда идет немного вниз, а зарплата идет значительно вверх, и поэтому в октябре 1925 г. мы имеем уже рост зарплаты 240% против 1922 г., а рост производительности труда всего на 185%. Из сказанного совершенно ясно, что с производительностью труда дело обстоит не благополучно.

Для большей ясности положения я приведу еще цифры выработки в довоенных рублях на одного человека в день. В III квартале 1924—25 г. выработка на человека в день составляла 6 р. 04 коп. в довоенных рублях; в IV квартале 1924 — 25 г., т.-е. за июль, август и сентябрь месяцы, выра-

ботка составляла на одного человека в день 5 р. 89 коп., т.-е. выработка на одного человека упала; в первом квартале 1925 — 26 г. выработка на одного человека в день составляет 5 р. 78 коп., т.-е. она еще упала против четвертого квартала. При этом дневной заработок по данным ВЦСПС в III квартале составлял 1 р. 05 коп. в московских условных рублях, а в I квартале 1925—26 г., т.-е. в октябре, ноябре и декабре 1925 г., один рубль 24 коп. в условных московских рублях. При общем росте зарплаты мы имеем падение выработки на одного человека. Это, конечно, приводит к тому, что доля зарплаты в продукции увеличивается. Если в июне месяце 1925 г. доля зарплаты в продукции составляла 14%, то в декабре она уже составляет 16%, что равняется октябрю 1924 года. Иначе говоря, мы идем назад. Эти цифры заставляют нас очень и очень серьезно поставить задачу поднятия производительности труда. Зарплата уже сейчас достигла того уровня, который мы наметили по программе к концу этого года. По финансовым планам промышленность никаких резервов для дальнейшего увеличения зарплаты до конца этого года не имеет. Весь резерв уже полностью использован, благодаря тем прибавкам, которые были даны за последнее полугодие. Отсюда ясно, что, если мы не хотим серьезно нарушить работу промышленности, мы должны сейчас стоять за стабильность зарплаты. Мы не можем повышать номинальную заработную плату, вне зависимости от повышения производительности труда. Всякое иное повышение зарплаты несомненно имело бы гибельные последствия для промышленности, а следовательно, и для самого рабочего класса. Встает вопрос, какие причины лежат в основе такого падения производительности труда и что же делать? Я думаю, что в основе падения производительности труда лежит ряд причин, которые мы должны как следует нащупать, изучить, проверить и затем общими силами их изжить. Прежде всего, причиной понижения производительности труда является некоторое общее падение дисциплины на предприятиях. Со всех сторон мы имеем совершенно точные сведения о том, что количество прогулов увеличивается, и что в самом производстве нет достаточно твердой рабочей дисциплины. Для этого имеется и ряд об'ективных причин и первой из них является то, что в большинстве предприятий мы имеем сейчас лишних рабочих. Если хотите, это вина хозяйственников, вина, которая основана на том, что в надежде на быстрый разворот производства они приняли в осенние месяцы рабочих в расчете обучить их, сделать их квалифицированными рабочими, чтобы при дальнейшем развороте промышленности иметь у себя всегда некоторый резерв квалифицированной рабочей силы и чтобы тем самым безболезненно можно было расширить производство. Теперь, когда в большинстве отраслей нужно закрепиться на достигнутом уровне — это излишнее количество рабочих на предприятиях сказывается с особенной силой. Излишние рабочие нарушают общую производственную атмосферу и деморализуют всю работу. Вот почему первым условием для поднятия производительности труда является уплотнение рабочего состава на предприятии. Несколько десятков тысяч рабочих по всей промышленности необходимо сократить, что можно провести в порядке незамещения естественной убыли рабочих.

Наряду с этим необходимо поставить вопрос о большей ответственности за свою работу и о большем внимании хозяйственников к снабжению фабрик сырьем, топливом и т. п., чтобы не было простоев по недостатку сырья, материалов и т. п., ибо эти перебои нередко вызывают остановку работы отдельных цехов и мастерских на часы, а иногда и дни, что дезорганизует работу и понижает производительность труда. Я не буду говорить об устаревших машинах и т. п. Разумеется, переоборудование и рационализация есть важнейшее условие дальнейшего повышения производительности труда. Но это уже значит, что мы поднимемся на более высокую техническую ступень, которая потребует других норм производительности. От мая же месяца технический уровень промышленности не упал и речь идет о поднятии производительности при существующей технике.

Когда говоришь, что в течение этого года нельзя больше повышать зарплату, приходится часто слышать указания такого рода: «как же не повышать зарплату, когда у промышленности все-таки большие прибыли?». Да, в этом году промышленность получит значительные прибыли, — около 460 миллионов рублей по всей промышленности. Но что из этого следует? Следует ли из этого, что за счет прибылей надо увеличить зарплату?

Необходимо сказать несколько слов о природе прибылей социалистической промышленности. На эту прибыль имеется очень много претендентов. Если отдельные товарищи требуют, чтобы эта прибыль в известной части пошла на увеличение зарплаты, то тут же может встать и вся потребительская масса и с таким же относительным правом потребовать, чтобы за счет прибыли были понижены цены.

Но есть еще один очень серьезный претендент на эти прибыли. Промышленность должна развиваться. Что такое индустриализация страны? Индустриализация страны — это усиленное промышленное строительство новых фабрик, это переоборудование и рационализация существующих заводов. На какие средства мы будем строить новые фабрики и заводы и рационализировать старые? Страна пред'являет требования об увеличении промышленного производства. Откуда взять средства? Ясно, что одним из важнейших источников для расширения социалистической промышленности должна быть даваемая ею прибыль. Зарплата должна быть установлена в таких размерах, чтобы рабочие имели возможность более или менее сносно жить. Мы, разумеется, стремимся к тому, чтобы положение рабочего класса было лучше, чем в довоенное время. Для этого мы и делали революцию, это вполне понятно. Но нельзя исходить при установлении зарплаты и при требовании повышения зарплаты из того, что есть прибыль, так как эта прибыль должна иметь производственное назначение. В известных условиях, когда соответствующие явления на рынке показывают, что мы берем слишком высокие цены, мы должны понижать цены за счет прибыли. Это правильно. Но сейчас положение не такое, чтобы мы должны были снижать отпускные цены. Розничные цены значительно выше оптовых цен промышленности. Поэтому, если бы сейчас понизить отпускные цены на мануфактуру и другие товары, это не дало бы понижения розничных цен. Это дало бы еще новое вложение

в карманы торговли. Поэтому о снижении прибылей во имя снижения цен также не приходится говорить.

Вот почему из всех претендентов, которые стоят около прибылей и говорят — давайте мне, — в интересах рабочего класса, в интересах советского государства наиболее серьезным является капитальное промышленное строительство. Расширением социалистической промышленности — укрепить социалистическую основу нашего строя.

Для расширения социалистической промышленности мы должны также искать возможностей в другом направлении: нужно добиться повышения производительности труда, нужно добиться повышения производственной дисциплины, нужно принять все меры для оздоровления хозяйственной жизни. Тогда затруднения, которые мы сейчас переживаем, окажутся временными и будут преодолены.

40% роста в год — это большой темп развития. Правда, этого еще недостаточно, страна пред'являет гораздо большие требования. Поэтому мы должны помнить, что 40% — это минимум. И партия, и рабочий класс, и крестьянство, и профсоюзы должны приложить все усилия к тому, чтобы еще больше развернуть промышленность, чтобы в ближайшем смягчить и потом ликвидировать товарный голод, покончить с высокими ценами, привести в большее соответствие все части народного хозяйства, чтобы еще более мощным темпом повести строительство социализма.

К вопросу о наших хозяйственных затруднениях [1]).

В. Смирнов.

В последнее время в нашем хозяйстве обнаружился целый ряд болезненных явлений, настолько ощутительных, что они начинают вызывать опасения насчет возможности кризиса, инфляции и т. п. Нет сомнения, что в этих опасениях элемент паники играет не такую уже маловажную роль. Тем не менее в них нужно внимательно разобраться.

Попробуем перечислить их. Это прежде всего некоторое снижение покупательной способности нашего червонца внутри страны. Из прилагаемой таблицы № 1 ясно видно, что кривые всех существующих у нас

Таблица № 1.

Тотальные индексы.

	Оптовый Госплана.		Розничный бюджет.		Розничный К. И.	
	1923 г.	1924 г.	1923 г.	1924 г.	1923 г.	1924 г.
1/X	1565	1643	1721	1918	1670	2060
1/XI	1492	1636	1618	1948	1690	2030
1/XII	1573	1682	1679	1978	1720	2050
	1924 г.	1925 г.	1924 г.	1925 г.	1924 г.	1925 г.
1/I	1690	1720	1819	1976	1800	2050
1/II	1865	1780	1989	1988	2100	2080
1/III	1930	1833	2064	2044	2030	2110
1/IV	1803	1945	2081	2136	2070	2170
1/V	1752	1966	2121	2189	2130	2210
1/VI	1658	1914	2024	2141	2060	2190
1/VII	1690	1880	2074	2110	2100	2180
1/VIII	1754	1751	2136	1935	2250	2100
	1725	1727	1915	1867	2190	2080
1/X	1643	1742	1918	1923	2060	2150
1/XI	1636	1753	1948	2010	2030	2170
1/XII	1682	1793	1978	2053	2050	2240
	1925 г.	1926 г.	1925 г.	1926 г.	1925 г.	1926 г.
1/I	1720	1833	1976	2099	2050	2260
1/II	1780	1902	1988	2190	2080	2300
1/III	1833	1940	2044	2250	2110	2340

[1]) В дискуссионном порядке. *Ред.*

индексов — оптового Госплана, розничного бюджетного и розничного Кон'юнктурного Института за 1924 — 25 год в общем и целом выше соответствующих кривых 1923 — 24 г. Средняя годовая индекса Госплана в 1924 — 25 г. выше средней годовой 1923 — 24 г. на 6,5%, розничного бюджетного на 8,5% и розничного К. И. — на 6%. С 1 января 1924 г. по 1 января 1925 г. Индекс Госплана повысился на 6,5%, розничный бюджетный на 6% и розничный К. И. на 10%. Таким образом падение покупательной силы нашего рубля за последний год должно быть оценено в пределах от 5,5 до 9%. Однако при этом несомненно снижении следует отметить, во-первых, что только индекс К. И. в январе 1925 г. дает рекордную цифру, превышая предыдущий — майский — максимум на 2,3%, январский же индекс Госплана и розничный бюджетный ниже майских на 6,5 и 4%, и, во-вторых, что в предыдущем году рост всех индексов был, пожалуй, не меньше [1]).

В общем итоге, при несомненном снижении покупательной способности нашего червонца [2]) за последние два года (с 1 января 1924 по 1 января 1926 г. достигающем от 7,5 до 13,3%) ни в коем случае нельзя говорить о превращении нашей валюты в падающую: типичным признаком последней является то, что деньги в этом случае теряют некоторые из своих функций — функцию средства сбережения, платежного средства и мерила ценностей, превращаясь в средство обращения в самом узком смысле этого слова. Ничего подобного с нашим червонцем не происходит, ибо и самый размер снижения его покупательной силы для этого слишком мал и рост цен имеет не всеобщий характер (главным образом повысились цены на с.-хоз. продукты), и самое повышение их идет не непрерывно, а волнообразно.

Именно поэтому результаты понижения покупательной способности рубля сказываются наиболее болезненно не на нашем внутреннем рынке, а на рынке внешнем: курс червонца на иностранную валюту имеет тенденцию к понижению, преодолевавшуюся до последнего времени так называемой валютной интервенцией. Дело осложняется здесь еще и тем, что покупательная способность золота на мировом рынке повышается и несомненно будет в ближайшее время повышаться и дальше. Мировой золотой рынок

[1]) С 1 января 1923 года по 1 января 1924 г. индекс Госплана возрос на 1,7%, розничный бюджетный — на 8½%, а индекс К. И. на целых 14%.

[2]) Кстати же здесь надо отметить, что падение покупательной способности денег отнюдь еще не тождественно с инфляцией. Так, напр., покупательная способность царского золотого рубля с 1895 по 1914 год упала на 37,5% (см. табл. № 1 в книжке Кохна «Русские индексы цен», стр. 158), и тем не менее никому не приходило в голову утверждать, что это была инфляция. Воспоминания о периоде падающей валюты, когда инфляционные изменения цен заслоняли собой все остальные изменения, настолько сильны, что слова «дефляция» и «инфляция» доводятся у нас подчас до абсурда. Мне недавно еще пришлось слышать выражение «инфляция в области промышленных цен». Так нетрудно дойти до «текстильной инфляции», «сахарной дефляции» и т. п., т.-е. всякое изменение цен рассматривать как колебание валюты. Нужно помнить, что при твердой валюте индексы отражают, прежде всего, кон'юнктуру и лишь резкий и систематический рост их может считаться одним из признаков падения валюты.

далеко еще не пришел после войны в сколько-нибудь нормальное состояние. мировая покупательная способность золота составляет и сейчас не выше 65% довоенной. Что этот уровень совершенно ненормален и отнюдь не является результатом изменения соотношения ценности золота и остальных товаров. видно хотя бы из того, что в течение всего послевоенного периода, производство золота во всем мире является нерентабельным. Мы находимся только в начале того периода, когда огромные массы золота, вытолкнутые из обращения благодаря переходу большинства стран на бумажную валюту и переполнившие мировой золотой рынок, вновь по мере возвращения к твердым валютам начинают рассасываться, в результате чего «товарная цена» золота начинает приближаться к его ценности. Как нам придется реагировать в будущем на это явление, влекущее за собой обогащение тех стран, в которых сосредоточены сейчас мировые золотые резервы, — вопрос, который в пределах данной статьи не подлежит обсуждению. Ясно одно: в то время, как покупательная способность червонца внутри страны понизилась, покупательная способность золота повышается [1], и покупательная сила нашего рубля расходится с его золотым паритетом.

Поскольку мы, тем не менее, этот золотой паритет поддерживаем, получается третье, характерное для данного года, явление: для большой группы наших экспортных товаров экспорт становится невыгодным. В самом деле. покупая у нас эти товары по цене, скажем, вдвое выше довоенной, продавая их за границей всего на 60% [2]) выше заграничной довоенной цены и затем разменивая полученную иностранную валюту по нынешнему (т.-е. довоенному) паритету, наши экспортеры терпят явные убытки. Отсюда то «отсутствие воли к экспорту», которое неоднократно отмечалось и в нашей печати, и при обсуждении вопросов экспорта в различных хозяйственных органах. Благодаря этому, наши экспортные планы, которые не учитывали, да и не могли учитывать этого обстоятельства, проявляют в этом году стихийную тенденцию к недовыполнению [3]). Наоборот, импорт становится чрезвычайно

---

[1]) К этому надо добавить еще одно явление, действующее в том же направлении — кризис в соседней нам Германии, где общее кризисное понижение цен отражается на нас, как повышение покупательной способности германской марки.

[2]) Цифры эти только примерные и служат только для иллюстрации. К сожалению, мы до сих пор не имеем индексов движения цен на экспортные и импортные товары, которые дали бы нам возможность более точно ориентироваться в этом вопросе.

[3]) У нас очень часто говорят о просчетах, как причине теперешних хозяйственных затруднений. Однако при этом забывают, что такие просчеты имели место не только в этом, но и в прошлом году. В частности, в отношении экспорта хлеба в прошлом году просчет был значительно хуже, — вместо предполагавшегося экспорта, мы получили импорт хлеба. И, тем не менее, за счет экспорта других с.-х. культур и некоторых видов промышленного экспорта, мы этот просчет покрыли с избытком: сравнительно с первым ориентировочным планом, фактический экспорт 1924 — 25 г. составил 118,5%, а сравнительно с последним уточненным планом — 112,6%. Более выгодные тогда условия для экспорта сыграли в этом немаловажную роль.

прибыльным, несмотря на пошлины, и имеет тенденцию к превышению против плана. Разумеется, монополия внешней торговли ставит этой последней тенденции огромные препятствия. Но, как бы то ни было, наш торговый баланс в этом году, несмотря на неплохой урожай, имеет тягу к пассивности, при меньших, чем в прошлые годы, валютных резервах.

Следующий момент: промышленность для своего развертывания в масштабе меньшем, чем в прошлый год (в прошлом году она развернулась почти на 54% выше предшествующего; в текущем году, согласно плану, только на 33,5%) [1]), а также для подготовки к развертыванию в будущем 1926—7 году, нуждается в несравненно больших капитальных затратах (в 1924—25 году они определились в сумме около 350 м. р.—на текущий год намечено около 800 м. р., против первоначальных предположений 1 миллиард). Однако, несмотря на то, что предполагаемый при этом рост продукции, несомненно, не удовлетворит рынок, намеченный размер затрат вызывает огромное напряжение финансовых средств самой промышленности, кредита и бюджета.

И, наконец, товарный голод на продукты промышленности все еще не изживается, расхождение оптовых и розничных цен (см. диаграмму № 2, стр. 167), с июля месяца быстро растет и к декабрю дает рекордную цифру за последние два года. Особо нужно отметить новые признаки товарного голода уже не на предметы широкого потребления, а на средства производства. Текущий год пройдет под знаком недостатка топлива, а цены на строительные материалы за предыдущий год вскочили на 36%.

Не случайно, разумеется, все эти явления сконцентрировались к осени 1925 года. Лишь повышение покупательной способности золота, усилившее общий неблагоприятный результат их, было явлением посторонним и независимым от нашей внутренней экономики. За вычетом этого осложняющего обстоятельства, все остальные явления теснейшим образом связаны с тем периодом развития нашего хозяйства, который мы переживаем, и с той экономической политикой, которую мы ведем.

Этот период есть период перехода от так называемого восстановительного периода к так называемому реконструкционному. Если до последнего времени затраты, необходимые для расширения производства, сводились, главным образом, к затратам на сырье, топливо, вспомогательные материалы и рабочую силу, т.-е. на вещественные элементы оборотного капитала, если мы еще в прошлом году имели все же довольно солидные резервы неиспользованного оборудования, если благодаря этому мы могли не только не включать в наши калькуляции затрат на новое оборудование, но даже амортизацию старого учитывать в них далеко не полностью,— то теперь дело радикально меняется: всякому расширению производства должны предшество-

---

[1]) См. «Плановое Хозяйство» 1926 г., № 2: «Пересмотр контрольных цифр Госплана», стр. 48.

вать крупные капитальные затраты, а амортизация старого оборудования должна производиться в усиленном размере, для того, чтобы наверстать прежние упущения: в ряде случаев (напр., в угольной промышленности) не только расширение производства, но даже удержание его на прежнем уровне требует переоборудования и капитальных затрат.

Что означает это с народно-хозяйственной точки зрения? Прежде всего, что дальнейшее развитие нашего хозяйства требует изменения соотношения между производством средств производства и производством средств потребления — в сторону усиления первого сравнительно со вторым. А это означает, в свою очередь, необходимость относительного увеличения той части совокупного продукта, остающегося сверх восстановления использованных в процессе производства средств производства, которая идет на накопление, сравнительно с частью его, идущей на потребление — это во-первых. И во-вторых, необходимость сосредоточения этого накопления в тех участках нашего хозяйства, которые для своего развития нуждаются при прочих равных условиях в больших затратах на вещественные элементы основного капитала.

Чем мельче хозяйство — тем ниже, вообще говоря, органический состав его капитала, тем меньшие вложения нужны для его расширения, тем лучше в начале его развертывания соотношение между количеством продуктов, извлекаемых им из народного хозяйства в качестве средств производства и возвращаемых ему обратно в качестве предметов потребления. Наоборот, при высоком органическом составе капитала, при продолжительном обороте основного капитала, средства производства, извлеченные из народного хозяйства, возвращаются ему обратно лишь в течение ряда лет [1]). Поэтому такие отрасли нуждаются при своем развертывании или в большем накоплении внутри данной отрасли, или в привлечении в свою сферу накоплений из других отраслей хозяйства. Задача регулирования этого накопления в настоящее время и должна стать основной задачей нашей экономической политики [2]).

[1]) Эта большая «рентабельность» вложений в отрасли с низким органическим составом капитала многим кажется весьма соблазнительной. Особенно грешит по этой части НКФ, забывая, что погоня за этими «рентабельными» вложениями есть, в сущности, не что иное, как хищническое использование производительных сил страны, которое неизбежно должно сказаться на ближайшем же этапе. Великолепную иллюстрацию этого дает угольная промышленность. В 1923–24 году, в погоне за минимальной себестоимостью и максимальной рентабельностью, работники Донугля развили максимальную производительность за счет сжатия капитальных затрат и направления всех средств на чисто эксплоатационные расходы. Всем, вероятно, памятно, какую агитацию пришлось тогда развить за так называемую «минерализацию» топливного баланса с целью избежать кризиса сбыта угля. Но уже в текущем году это сокращение капитальных затрат отозвалось тем, что мы не можем в достаточной степени развить производство угля, и угроза кризиса сбыта сменяется угрозой топливного голода.

[2]) Между прочим, основным дефектом «Контрольных цифр Госплана», который на будущий год должен быть безусловно устранен, является отсутствие всякой попытки подхода к вопросу о размерах накопления в нашем народном хо-

Рассмотрим, как здесь обстояло у нас дело до сих пор. Самого беглого обзора нашей экономической политики достаточно, чтобы сказать, что этот вопрос находился у нас в совершенном загоне. Мы все еще живем под впечатлением кризиса осени 1923 года (кстати сказать, несмотря на это весьма мало и весьма поверхностно исследованного), под впечатлением опасения нового кризиса сбыта. Поэтому вся наша политика строилась под углом зрения удешевления предметов широкого потребления. Но это удешевление, в свою очередь, требовало снижения цен на средства производства — топливо, металл и пр. Снижение цен на все продукты промышленности во избежание «покупательской забастовки крестьянства» — стало нашей основной задачей, несмотря на то, что вот уж около двух лет нам приходится констатировать «превышение платежеспособного спроса над предложением». Минимальные амортизационные отчисления, минимальные капитальные затраты, максимальная быстрота оборота капитала — таковы были основные директивы, определявшие работу наших промышленных предприятий. П р и з р а к н е б л а г о п р и я т н о й р ы н о ч н о й к о н ' ю н к т у р ы з а с л о н я л в н а ш и х г л а з а х п о т р е б н о с т и н а р о д н о г о х о з я й с т в а в б о л е е ш и р о к о й е г о п е р с п е к т и в е.

Наименее болезненно эта политика отзывалась на отраслях легкой индустрии. Поскольку рост потребления широких масс населения (как мы увидим дальше, этой же политикой форсировавшийся), создавал «товарный голод», т.-е. тенденцию к повышению цен именно в этой сфере, постольку легкая промышленность находила еще ряд способов обойти политику снижения цен с других концов — некоторым ухудшением качества, принудительным ассортиментом, сокращением сроков кредитования торгующих организаций и т. п. Наоборот, тяжелая индустрия (сюда также надо отнести и транспорт), для которой благоприятная кон'юнктура начала выявляться только с середины прошлого года, и которая в гораздо большей степени работала не на широкий рынок, а на наши же государственные предприятия — оказалась в достаточной степени беззащитной. Между тем, с началом периода восстановления основного капитала, спрос на ее продукты должен резко возрасти и уже растет [1]). Мы подходим к тому моменту, когда общее развитие нашего хозяйства потребует резкого под'ема вверх кривой производства средств производства, а этот перелом всей нашей предыдущей политикой цен (и сейчас играющих огромную роль в определении направления развития различных отраслей хозяйства) отнюдь не подготовлен.

Вопрос о ликвидации «товарного голода», таким образом, гораздо сложнее, чем это обыкновенно себе представляют. Дело отнюдь не заключается только в том, чтобы форсировать развитие тех отраслей народного хозяй-

---

зяйстве и его регулировании. Любопытно, что на этот момент, несмотря на все обилие и всю придирчивость критики, мне, по крайней мере, не пришлось найти указаний.

[1]) Сравни, напр., транспортные заказы металлопромышленности. Еще год тому назад НКПС надо было заставлять давать заказы на металл. Теперь, наоборот, приходится заставлять металлопромышленность принимать заказы НКПС'а.

ства, где он уже выявился. Это значило бы руководствоваться только показаниями кон'юнктуры сегодняшнего дня. Мы прекрасно знаем, и не должны ни на минуту забывать, что при сложности процесса воспроизводства, охватывающего при современнной технике производства целый ряд лет, при сложной цикличности этого процесса, эти кон'юнктурные показатели не дают правильных указаний, в каком направлении необходимо развертывать производство. Именно поэтому ведь капиталистическое производство, руководствующееся только этими показателями, и переживает периодические кризисы. Мы, понимая лучше, чем капиталисты, внутреннюю механику процесса производства и воспроизводства и сосредоточив в руках государства подавляющую часть крупной промышленности, т.-е. как раз той отрасли народного хозяйства, где процесс воспроизводства отличается максимальной сложностью, обязаны смотреть дальше кон'юнктуры, обязаны уметь учитывать и те гораздо более глубокие процессы, которые в данный момент не отражаются в том или другом виде на поверхности рынка. Мы должны подойти к вопросу о накоплении и развертывании различных отраслей производства, исходя не только из движения цен или роста спроса на те ини иные продукты в данный момент, но и из перспективного плана развертывания народного хозяйства, основанного хотя бы на грубом расчете не ценностных, а материальных соотношений внутри его. В этом и заключается тот новый, сравнительно с капиталистическим подходом, метод, который национализация средств производства делает возможным и обязательным для нас, как пролетарского государства. А главным средством осуществления этого перспективного плана должна являться, при хозрасчетной структуре нашей промышленности, политика цен. Но, как я сказал выше, мы вели ее до сих пор совсем под другим углом зрения.

Пока мы оставались в рамках «восстановительного» процесса, т.-е. такого процесса, при котором, благодаря использованию существующего оборудования, цикл воспроизводства был сравнительно прост, она не дала еще особенно резких отрицательных результатов. Но уже сейчас в момент перехода к «реконструкционному» периоду, т.-е. к более сложному циклу, эти отрицательные результаты начинают выявляться — прежде всего, в общем недостатке у промышленности средств, необходимых для ее развертывания, и, во-вторых, в недостаточном развитии (частью выявившемся уже в данном году и в гораздо большей степени намечающемся для последующих годов) тяжелой промышленности и вообще производства средств производства.

Как до сих пор промышленность выходила более или менее из положения? В основе, как уже сказано, ее калькуляции сводились к исчислению себестоимости (при этом во многих случаях амортизация учитывалась недостаточно), плюс минимальная прибыль. Разумеется, она несколько выходила за эти рамки, продиктованные ей нашей политикой цен, но в общем-то за счет этой прибыли могло происходить лишь небольшое развертывание, которое ни в какой степени не соответствовало темпу действительного ее развер-

тывания хотя бы в прошлом году — 54% против предыдущего. В известной степени помогло ей увеличение производительности труда (средняя выработка на 1 человекодень по 11 главным отраслям промышленности составила за 1924 — 25 год 5,74 дов. рублей против 4,06 дов. рублей в 1923 — 24 г. [1]), использование так называемых неликвидных фондов и так называемое «ускорение» оборотного капитала, т.-е. относительное уменьшение производственных запасов, частью в результате рационализации процесса производства, но частью и за счет их истощения. Но и этих рессурсов было недостаточно и промышленность волей-неволей должна была ориентироваться на посторонние источники — бюджет и, г л а в н ы м о б р а з о м, к р е д и т — и в т о м ч и с л е э м и с с и ю.

Что при развертывании товарооборота, поскольку вместе с ним увеличивается потребность и в денежном товаре, эмиссия может быть использована на усиление средств в государственном хозяйстве — это бесспорно. Что при развивающейся денежности нашего хозяйства потребность в этом денежном материале (по крайней мере, до последнего времени) должна была расти несколько быстрее роста производства материальных ценностей — также не подлежит сомнению. И тем не менее, трудно оспаривать, что промышленность [2]) кредитовалась за счет эмиссии в большем размере, чем это допускало развитие общего товарооборота страны, и что, помимо нормального развития коммерческого кредита, банки довольно крупные средства вложили в качестве инвестированного капитала на усиление оборотных средств (т.-е. постоянных запасов) и даже на капитальное оборудование. В качестве примера достаточно привести хотя бы Сахаротрест, который при увеличении своей продукции (без снижения ее себестоимости) сравнительно с 1923 — 24 годом в два с половиной раза, остался при прежнем размере своего уставного капитала. В э т о м, р а з у м е е т с я, и з а к л ю ч а е т с я п р и ч и н а т о г о с н и ж е н и я п о к у п а т е л ь н о й с п о с о б н о с т и н а ш е г о р у б л я, к о т о р о е о т м е ч е н о м н о ю в н а ч а л е с т а т ь и и к о т о р о е п о в е л о и к д р у г и м н е б л а г о п р и я т н ы м р е з у л ь т а т а м.

Но может быть другого выхода и не было? Может быть, накопление внутри всего народного хозяйства было настолько ничтожно, что только искусственным методом понижения курса рубля, т.-е. чего-то в роде налога на всех держателей денег, мы могли произвести то развертывание, которое было необходимо, и скорее, все-таки, недостаточно с точки зрения внутренних пропорций нашего хозяйства? Вопрос достаточно законный, ибо и при самом сознательном руководстве производством мы все же каждый раз должны исходить из данного состояния производительных сил, и попытка дать такой темп развитию хозяйства, который не соответствует возможной на базе этого состояния производительных сил производительности труда,

[1]) См. «Плановое Хозяйство» № 2, 1926 г.: «Пересмотр контрольных цифр», гр. 52.

[2]) Сюда надо причислить еще и кооперацию, которая свое колоссальное развертывание произвела в подавляющей части за счет банковских средств.

неизбежно привел бы к неудаче, а в наших условиях все еще товарного хозяйства — к экономическому кризису.

Вопрос о методах определения размера национального накопления находится еще в совершенно неразработанном состоянии. Даже гораздо более простой вопрос о национальном доходе настолько сложен, что при определении его суб'ективные особенности и настроение того или иного автора играют, пожалуй, не меньшую роль, чем те об'ективные данные, на которые он опирается. Поэтому мы не будем пытаться определить весь размер национального накопления и посмотрим только, не образовывались и не образуются ли в отдельных участках нашего народного хозяйства такие источники доходов, которые с точки зрения задач нашего хозяйственного развития бесполезны и которые теми или иными путями могли бы быть направлены на усиление средств для развития промышленности.

Если поставить вопрос так, то мысль невольно обращается к той разнице между оптовыми и розничными ценами, рост которой создает «незаслуженную прибыль» торговому капиталу вообще и частному торговому капиталу в частности. Бесполезность сосредоточения средств в этой области доказывать не приходится — не даром же борьба с непомерной высотой розничных накидок является одним из центральных вопросов нашей экономической политики.

Для определения движения этой разницы — «оптово-розничных ножниц»—мы возьмем движение оптовых и розничных цен на продукты промышленности по индексу Госплана и индексу К. Института — последний мы выбираем потому, что номенклатура входящих в него товаров близко подходит к номенклатуре единственного у нас оптового индекса — индекса Госплана. С самого начала отметим: 1) что индекс Госплана учитывает не отпускные цены наших трестов, а некоторую среднюю оптовых цен государственных учреждений, кооперативов и частных лиц [1]). Такая средняя, разумеется, гораздо больше, чем отпускные цены, ориентируется на рыночную кон'юнктуру, т.-е. на движение розничных цен, и, следовательно, разница между ней и розничными ценами меньше, чем между розничными и отпускными. 2) Что в индексе Госплана учитывается, помимо предметов широкого потребления, входящих в индекс Кон'юнктурного Института, также и цены на средства производства (каменный уголь, нефть, сорт. железо, серная кислота и пр.), где говорить о разнице оптовой и розничной цены вообще трудно. Следовательно, если бы нам удалось выделить из индекса Госплана только предметы потребления, то относительный размер разницы с розничными ценами был бы больше. 3) Что, как неоднократно отмечалось, индекс Кон'юнктурного Института недостаточно отражает высоту цен в деревне и мелких городах и местечках, где накидки достигают максимальной величины. Таким образом последующие подсчеты расхождения оптовых и розничных цен, во всяком случае, являются скорей преуменьшенными, чем преувеличенными.

---

[1]) См. Бобров, Индексы Госплана, стр 38.

Как же шло движение оптовых и розничных цен? На прилагаемой диаграмме (№ 1) высота обоих индексов принята на 1 октября 1923 года (т.-е.

Диаграмма № 1.

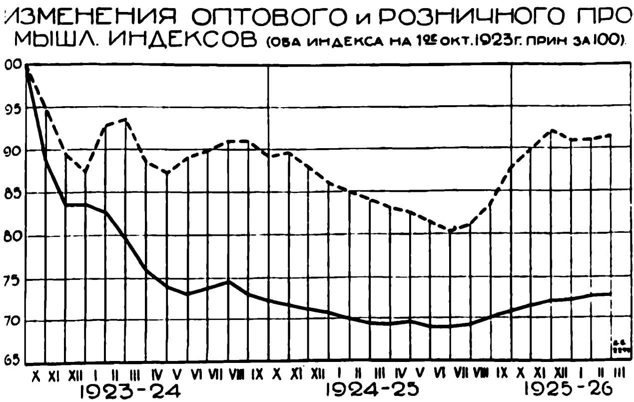


Таблица № 2
(к диаграмме 1-ой и 2-ой)

Промышленный индекс.

	Оптовый Госплана.		Розничный Кон'юнкт. Института.			Изменение соотношений между ними.
	Абсолютн. величины.	В %% к 1/X 1923 г.	Абсолютн. величины.	В %% к 1/X 1923 г.		
1923 г.						
1/X	2757	100,0	2730	100,0	Средняя за 1923—24 г. 114,5	100
1/XI	2432	88,4	2590	95,0		107,4
1/XII	2291	83,3	2440	89,5		107,2
1924 г.						
1/I	2293	83,3	2390	87,6		105
1/II	2269	82,5	2530	92,7		112,1
1/III	2187	79,5	2550	93,5		117,4
1/IV	2089	76,0	2420	88,7		116,5
1/V	2034	74,0	2380	87,2		117,6
1/VI	2013	73,0	2430	89,0		121,8
1/VII	2021	73,5	2450	89,8		122,0
1/VIII	2033	74,4	2480	91,0		122,2
1/IX	2009	73,0	2480	91,0		124,6

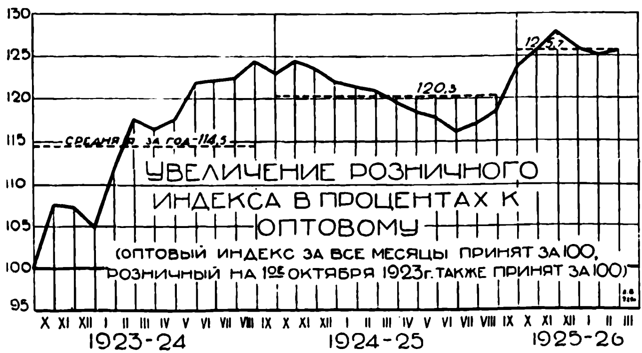
	Оптовый Госплана.		Розничный Кон'юнкт Института.			Изменение соотношений между ними.
	Абсолютн. величины.	В %% к 1/X 1923 г.	Абсолютн. величины.	В %% к 1/X 1923 г.		
1/X	1986	72,2	2430	89,0	Средняя за 1924—25 г. 120,3	123,0
1/XI	1971	71,7	2440	89,5		124,6
1/XII	1953	71,1	2400	88,0		123,7
1925 г.						
1/I	1939	70,5	2350	86,1		122,0
1/II	1926	70,0	2320	85,0		121,3
1/III	1906	69,4	2290	84,0		121,0
1/IV	1906	69,4	2270	83,2		119,8
1/V	1908	69,5	2250	82,5		118,6
1/VI	1898	69,0	2220	81,4		117,8
1/VII	1898	69,0	2190	80,3		116,2
1/VIII	1903	69,2	2210	81,0		117,0
1/IX	1927	70 0	2270	83,2		118,7
1/X	1949	70,8	2390	87,5	Средняя 125,7	123,4
1/XI	1964	71,4	2450	89,8		125,5
1/XII	1976	71,9	2510	92,0		127,8
1926 г.						
1/I	1982	72,1	2480	91,0		126,2
1/II	1996	72,5	2480	91,0		125,5
1/III	2000	72,6	2490	91,3		125,7

перед кризисом, когда, как известно, накидки были достаточно высоки) за 100 и дано процентное изменение их до 1 марта 1926 года. Оптовые цены почти непрерывно снижаются (сначала быстро, а затем медленнее) вплоть до июля 1925 г., спустившись к этому моменту на 31% относительно начального пункта. После этого они испытывают незначительное повышение и к 1 марта 1926 года составляют около 72,5% относительно того же начального пункта. Совсем иначе идет дело с розничными ценами: после довольно резкого (но все же менее резкого, чем падение оптовых цен) снижения в период кризиса октября — января, они в течение остальной части 1923 — 24 хоз. года испытывают колебательное движение вокруг уровня около 90%. В следующем 1924 — 25 году вплоть до июня они идут вниз даже несколько быстрее оптовых и в момент этого минимума (который является минимумом и для оптовых цен) доходят до 80 с небольшим процентов своей начальной высоты. После этого они снова быстро идут вверх и начиная с декабря месяца стоят уже немного выше уровня 1923 — 24 года, если не принимать во внимание первых трех кризисных месяцев последнего, а по отношению к 1/X 1923 г.,

стоят несколько выше 91%. Эта диаграмма, мне кажется, с полной наглядностью рисует независимость движения наших розничных цен от отпускных. Некоторые намеки на одноименное (без всякой, однако, пропорциональности) движение тех и других указывают лишь на то, что оптовые (но не отпускные) цены, хотя в очень слабой степени, все же стремятся двигаться вслед за розничными.

Расстояние между соответствующими точками обеих кривых показывает, насколько увеличилась накидка на оптовые цены сверх той, которая была 1 октября 1923 года. Едва ли кому придет в голову утверждать, что в то время накидка на оптовые цены была чересчур мала и убыточна для торговли. Стоит только просмотреть литературу того времени, в которой жалобы на обогащение частного капитала встречаются на каждом шагу. Увеличение этой накидки интересами народного хозяйства никоим образом оправдана быть не может. Для того, чтобы определить размер этого увеличения, обратимся к диаграмме № 2.

Диаграмма № 2.



Эта диаграмма отличается от предыдущей тем, что оптовый индекс принят везде за 100 и, следовательно, изображается прямой линией. Розничный же индекс принят за 100 на 1 октября 1923 года, последующие же его изменения взяты в процентном изменении к изменениям оптового индекса. Таким образом разница между соответствующими точками оптового и розничного индекса выражает, на какой % оптовой цены увеличились розничные цены с 1 октября 1923 года, иначе говоря, какова была дополнительная накидка на оптовую цену в % отношении к последней. Остановимся на результатах.

В течение всего 1923 — 24 года дополнительная накидка растет, дойдя к концу его почти до 25% оптовой цены и составив в среднем за год 14,5% В 1924 — 25 году она снижается до июля, но и в этот момент минимума остается все же выше средней предыдущего года — 16,2% против 14,2%. После этого, вновь быстрый рост, доходящий к концу года до 123,4%. Средняя за год выражается уже в 20,4%. Наконец, в текущем году до декабря рост продолжается, достигая к этому моменту рекордной цифры в 27,9%. к 1 февраля несколько снижается, спустившись почти до 25%, и к 1 марта вновь несколько повышается. В среднем, по шести месячным показателям он достигает уже 125,7%. Эти три ступеньки — 14,5, 20,3 25,7% — и характеризуют рост «незаслуженных доходов» торгового капитала, который шел вопреки всем нашим мероприятиям по борьбе с розничными накидками.

Попробуем теперь сделать хотя бы грубый подсчет размеров этих «незаслуженных доходов». Согласно последним данным, представленным ВСНХ при плане на 1924 — 25 год, подлежащая реализации продукция промышленности, охватываемой производительными планами ВСНХ, составила по отпускным ценам в червонных рублях в 1923 — 24 году 2.425 м. р., а в 1924 — 25 году — 3.570 м. р. Из этой продукции я отнес к предметам широкого потребления почти всю текстильную промышленность (95%), пищевую (100%), большую часть кожевенной (87%), силикатной (стекло — 44%). По лесной взято 26%, имея в виду дрова для широкого потребления и изделия: по металлической 21% (продукция «Метиз'а»—металлические изделия; металлургическая промышленность и с.-х. орудия не включены совсем, хотя частично — кровельное железо, проволока, мелкие с.-х. орудия в отношении количества розничных накидок играли крупную роль), по бумажной — 20% и по горной — 12,5% (нефтяные продукты, в частности, керосин). Совершенно не включена винокуренная промышленность, как не входящая в существующие индексы, и электротехническая промышленность. При таком распределении получится, что в общей массе реализуемой продукции предметы широкого потребления составляют около 60%. Этот подсчет почти полностью совпадает с подсчетами ВСНХ, производившим его другим методом — относя продукцию одних отраслей производства целиком к предметам потребления, а других — к средствам производства. Поскольку можно говорить о точности этих подсчетов — они страдают скорее в сторону преуменьшения роли продуктов потребления, чем преувеличения.

Приняв эти подсчеты, мы получим, что продукты широкого потребления в 1923 — 24 году составили $\frac{2425 \text{ м.} \times 60}{100} = 1455$ м. черв. рублей. При среднем увеличении розничной накидки в этом году в 14,5% (к оптовой цене, а не к отпускной; беря ее на отпускную цену, мы опять-таки грешим в сторону преуменьшения), мы получаем: $\frac{1455 \text{ м.} \times 14{,}5}{100} = 210$ м. черв. рублей добавочной прибыли торгового капитала. Для 1924 — 25 года тот же подсчет дает $\frac{3570 \times 60 \times 20{,}3}{100 \,.\, 100} = 435$ м. р. Наконец, для те-

кущего года, приняв, что в течение истекших пяти месяцев промышленность из общей предполагаемой к реализации продукции в 5.122 м. р. произвела 35%, т.-е. 1.790 м., получим $\frac{1720 \times 60 \times .5{,}5}{100.100} = 276$ м. В годовом же масштабе, если сближения оптовых и розничных цен не произойдет, это грозит вырасти до суммы около 800 м. р.

Этот общий суммарный подсчет полезно проверить частным. Надбавки на один из основных продуктов хлопчато-бумажной промышленности — ситец, по данных ВСНХ к 1 апреля 1924 года (более ранних данных нет), составляли 31 с небольшим процент на отпускную цену. 1 октября 1925 года эта накидка составила уже 62,6%, а к 1 января уже 73,6%, т.-е. в среднем за 1-й квартал этого года около 68%, иначе говоря, сравнительно с апрелем 1924 года увеличилась на 37% отпускной цены. Продукция хлопчато-бумажной промышленности должна составить в этом году около 850 м. ч. р., из которых в первые 5 месяцев произведено не менее 35%, т.-е. на 295 м. р. Приняв для всех 5 месяцев среднюю накидку за 1-й квартал в размере 37% и взявши эти 37% от суммы в 295 м. р., мы получим $\frac{295 \times 37}{100} = 102$ м. р., или 39,5% той общей суммы дополнительной прибыли торгового капитала, которую мы высчитали выше для 5-месячной продукции всей промышленности. Принимая во внимание, что продукция хлопчато-бумажной промышленности составляет в общей массе продукции предметов широкого потребления около 23% и что накидки в этой отрасли являются максимальными, приходится притти к выводу, что эта цифра корреспондирует нашему общему вычислению и, пожалуй, даже говорит о его преуменьшении.

Какова степень точности этих цифр? — Разумеется, что, при слабой разработанности имеющегося материала, она очень большой быть не может. Один товарищ, производивший подсчеты этой сверхприбыли, пришел к выводу, что за прошлый год она составляет цифру порядка 600, а не 400 миллионов. Вполне возможно, что если в даваемом мною подсчете учесть те элементы преуменьшения, на которые я указывал, она вырастет и до этой суммы. С другой стороны, конечно, могут быть возражения, что часть товаров продается в наших же государственных розничных магазинах и кооперации, где накидки не так велики [1]). Поправки в ту или другую сторону на 100 м. р. вероятно будет настолько же трудно оспаривать, как и доказать. Но во всяком случае ясно, что для истекшего года сумма сверхприбыли торгового капитала составляет несколько сотен миллионов, а для текущего перейдет

[1]) При этом не надо, однако, забывать, что розничный индекс учитывает и эти цены — это во-первых; во-вторых, что товары, покупаемые в государственных и кооперативных розничных магазинах, весьма часто вновь перепродаются по более высоким ценам и, в-третьих, что накидки кооперации, особенно низовой, очень велики. Последнее время я систематически опрашивал всех приезжавших из деревни товарищей, с которыми мне приходилось встречаться, — почем там ситец. Ответы получались довольно однообразные — 70, 80, 90 к. метр в кооперативных лавках — это при 35 коп. отпускной цены. Иногда такая накидка об'ясняется тем, что товар, прежде чем попасть в низовой кооператив, по дороге проходит один, а то и несколько раз через руки частного посредника.

за полмиллиарда. Дело идет об очень крупных цифрах, и пора уже этот вопрос сделать об'ектом внимательного и систематического наблюдения наших государственных органов, а не отдельных лиц.

Чтобы составить себе представление о значении этих цифр, достаточно для истекшего года сопоставить цифру в 400 мил. р. сверхприбыли торгового капитала с общим размером капитальных затрат промышленности в том же году — 350 м. р. В этом году первоначально капитальные затраты промышленности определялись ВСНХ в размере свыше 1 миллиарда рублей. Впоследствии при сокращении плана РКИ выдвигала цифру в 600 м. р. Таким образом вероятный размер торговой сверхприбыли в текущем году—800 м. р.— почти вдвое превышает разницу между этими двумя крайними вариантами.

Но помимо того, что эти сверхприбыли являлись частым минусом, с точки зрения развития нашей промышленности, они оказывали и другие неблагоприятные влияния на наше хозяйство. Поскольку они попадали в руки частного торговца, известную часть их он направлял на накопление. В те моменты, когда мы пытались ограничить его операции на рынке, он обращал их на покупку иностранной валюты и золота, как наиболее надежного способа хранения. Нет никакого сомнения, что продажа в последнее время нами нашей валюты в известной части была по существу дела выкупом тех свободных средств частного торговца, которые он накопил и которые в данный момент пустить в дело не мог. С другой стороны высота нормы прибыли торгового капитала столь же несомненно содействовала необычайной высоте частного учетного %, который нередко достигает 10% в месяц, а при 3 — 4% считается уже низким.

Далее, в то время, как промышленность, посаженная на голодный паек, вынуждаема была на максимальную экономию путем рационализации производства сокращения размеров своих производственных запасов, непроизводительных расходов и т. п., наши торговые организации — особенно низовая кооперация — имели возможность свои торговые расходы покрывать за счет накидки на отпускные цены очень широко. Аппарат кооперации раздут очень сильно; жалобы на то, что там, где частный торговец управляется один, кооперативная лавка держит 4—5 человек служащих, можно слышать на каждом шагу. Но стимула к сокращению этого аппарата у нее нет.

Этот раздутый аппарат кооперации и в еще большей степени та часть сверхприбылей частного торговца, который шел не на накопление, а на потребление, создавал дополнительный «платежеспособный спрос» на предметы потребления и тем с одной стороны обострял товарный голод, а с другой — поскольку мы все время ориентировались на «платежеспособный спрос» — усиливал ту сигнализацию, которую давал нам рынок в смысле необходимости максимально развертывать производство средств потребления. Это происходило как раз в тот период, когда к нам подползал действительный товарный голод на средства производства, обусловленный неизбежным переходом к нормальному типу воспроизводства и расширенного воспроизводства от так называемого «восстановительного».

Если теперь сопоставить все это с тем, что мы говорили о затруднениях, которые испытывала промышленность в своем развертывании, с точки зрения народнохозяйственного целого абсолютно необходимом — то картина станет ясной: в то время как промышленность для этого развертывания нажимала на банковский кредит и эмиссию, в это же время в торговом секторе нашего хозяйства сосредоточивались средства, которые усиливали платежеспособный спрос непроизводительных слоев населения. Если инфляционный поток шел через русло промышленности, то «наводнение» образовывалось именно тут, и отсюда уже растекалось по всей сфере денежного обращения. И когда некоторые наши работники, преимущественно из кругов, близких к НКФ'у, утверждают, что инфляция произошла от перекредитования промышленности, то они совершенно правы, в противоположность тем, которые хотят вывести инфляцию из диспропорции нашего хозяйства. Но когда они воображают, что сокращением кредитования промышленности можно чего-то достигнуть, то они глубоко ошибаются. Наша политика цен является тем насосом, который выкачивает средства из промышленности в пользу торгового капитала и который будет действовать и в том случае, если приток средств в промышленность за счет эмиссии прекратится. Именно потому и приходится поддерживать искусственным путем питание промышленности, что политика цен столь же искусственно высасывает из нее средства. И если бы мы ограничились только тем, что прекратили бы это искусственное питание, то результатом этого было бы только истощение промышленности, а не ликвидация того инфляционного нарыва, который образовался и образовывается у нас в торговой сфере. Дело надо начинать с другого конца: обеспечив изменением политики цен приток средств в промышленность в размере, достаточном для нормального расширенного воспроизводства, мы тем самым избавимся и от необходимости искусственного ее питания.

Ходячее возражение против этого предложения состоит в том, что нельзя поручиться, что повышение оптовых цен на промтовары не вызовет повышения розничных, а повышение розничных цен на промтовары не заставит крестьянина накинуть цены на сель-хоз. продукты и что таким образом мы не получим вместо оздоровления всеобщего повышения цен, т.-е. инфляции. Такое возражение показывает только полное непонимание механизма рынка.

Прежде всего эмпирическое наблюдение над движением оптовых и розничных цен показывает, что на протяжении двух лет никакой прямой зависимости розничных цен от оптовых нет, скорее наоборот — последние, вопреки нашей политике, в ослабленном виде отражают движение розничных. А затем это теоретически неверно.

«Возможность количественного несовпадения между ценою и величиною стоимости или возможность отклонения цены от величины стоимости заключена уже в самой форме цены. И здесь нельзя видеть недостатка этой формы — наоборот, именно эта отличительная черта делает ее наилучше приспособленной к современному способу производства (курсив

мой. *В. С.)*, при котором правило может прокладывать себе путь сквозь беспорядочный хаос явлений только как слепо действующий закон средних чисел» (Маркс, Капитал, т. I, стр. 67). Это весьма глубокое замечание Маркса мы упускаем из виду.

В сущности, политика равнения цен на себестоимость и является попыткой уничтожить количественное несовпадение цены и стоимости. И как раз тут Маркс специально предупреждает, что пока сохраняется товарное производство (а в отношении предметов широкого потребления, где мы сталкиваемся как с одной из крупнейших величин с неорганизованным крестьянским хозяйством, это наличие товарного характера производства отрицать уже никак не приходится) отклонение цены от ценности не является недостатком. Что это значит?

А значит это то, что при данном соотношении различных видов товарных масс (хлеба, мануфактуры, железа, угля и пр.) величина цен на эти товары уже дана и притом независимо от их стоимости. Но в свою очередь это отклонение цен от стоимости дает возможность (и стимул, но главное — возможность) развивать те отрасли производства, где цена выше стоимости, быстрее, чем те, где она ниже ее, и тем самым, в результате нового соотношения товарных масс, приводит цены в соответствие с ценностью. Поскольку мы сейчас хотим и имеем возможность сознательно влиять на ход процесса производства, в основу нашей политики цен мы должны, как я уже говорил, положить начало соответствия цены с тем темпом развития той или иной отрасли производства, который мы считаем нужным, а отнюдь не начало соответствия в каждый данный момент цены и стоимости (или — как у нас говорят — себестоимости). Последний принцип только лишил бы нас возможности проводить намеченные нами планы в жизнь, ибо одного плана мало, нужны и средства для его выполнения. Не достигая никаких существенных результатов в области цен (ср. историю нашей борьбы с розничных накидками), мы только даем возможность переливания тех средств, которые мы могли бы употребить на развитие промышленности в паразитические сферы нашего хозяйства. Наша задача заключается в том, чтобы использовать об'ективно складывающуюся благоприятную для промышленности кон'юнктуру, для ее развития, при чем, однако, в отличие от капиталистического хозяйства мы должны руководствоваться не только кон'юнктурными показаниями, но и более глубоким анализом тенденций развития нашего хозяйства, регулируя его в порядке не стихии, а плана. Только в этом случае мы сумеем поставить себе на службу стихию рынка и в конечном счете ее преодолеть. Изменить на деле цены мы можем только путем изменения соотношения товарных масс, а это последнее можем сделать, лишь опираясь на складывающийся в данный момент уровень цен. Только тогда мы сможем отказаться от вредной, с точки зрения нашего денежного обращения, поддержки промышленности за счет эмиссии, прекратить сползание нашего червонца, и в то же время не затормозить того развития промышленности, которое требуется всей хозяйствен-

ной обстановкой. И делать это нужно как раз сейчас, ибо иначе переход к нормальному процессу расширения производства (в противоположность «восстановительному», т.-е. без затрат на расширение основного капитала) будет подносить нам только самые неприятные сюрпризы.

Разумеется, повышение цен надо производить с осторожностью. Если бы мы просто подсчитали, что по таким-то и таким-то товарам накидки превышают нормальные на столько-то и столько-то и соответственно подняли отпускные цены, то сделали бы громадную ошибку—и не только потому, что не сумели бы такое исчисление сделать достаточно точно. Рынок — вещь чрезвычайно сложная и никакому ученому мудрецу не удастся высчитать, какие цены являлись бы сейчас нормальными, если бы даже он имел все необходимые для этого данные: известная математическая задача о трех телах, движущихся под влиянием взаимного притяжения, по сравнению с этой задачей была бы пустячной. Только путем постепенного прощупывания, постепенного повышения, более значительного там, где накидки огромны, более осторожного там, где они умеренны, и внимательного наблюдения за результатами, можем мы разрешить эту задачу, не вызвав неожиданных для нас потрясений на рынке. Но эта осторожность не должна мешать твердому проведению этой линии, ибо иначе мы заходим в тупик.

Если мы успешно разрешим эту задачу, то вопрос о ликвидации тех неблагоприятных явлений, которые сейчас выявились, и которые сами по себе еще не представляют особенной угрозы — вопрос о приведении в соответствие золотого паритета нашего рубля с его покупательной силой внутри страны, о ликвидации убыточности нашего экспорта и создания благоприятного расчетного баланса — являются вопросами техническими. О них, если понадобится, мы поговорим в другой раз. В заключение же нужно сказать только одно: все наши затруднения теснейшим образом связаны между собой и изживать их можно только целостной системой мер, а не отдельными решениями, касающимися того или иного отдельного явления [1]).

---

[1]) Статья была уже набрана, когда появились данные за апрель месяц. К сожалению, они не дают ничего утешительного. Индекс Госплана вновь поднялся (до 1.962, ср. табл. № 1) и уже подходит к майскому максимуму 1925 года. Еще больше вскочил индекс Кон'юнкт. Института (до 2.410), на целых 3% за месяц. Вместе с тем и размер добавочной розничной накидки в апреле резко возрос — до 31% оптовой цены (ср. диаграмму № 2 и таблицу к ней), превысив прежний, декабрьский, максимум расхождения еще на 3 слишком %. Одновременно нажим промышленности и торговли в направлении инвестирования банковских средств в их капиталы все усиливается и банки вынуждены уже сократить нормальный коммерческий кредит для удовлетворения этого нажима. Ряд других неблагоприятных явлений обострился. Поэтому разрешение того основного вопроса, который поставлен в статье, становится буквально задачей сегодняшнего дня.

В. С.

Письма из Турции.

Константин Юст.

Новые пути и их смысл.

Великий Тимур-Ленк, никогда не знавший поражения и создавший более пространную империю, нежели Александр Македонский, производит себя от Алаковы, мифической супруги солнца. Мустафа Кемаль, удержавший Турцию на краю бездны и выведший ее из диких анатолийских ущелий на широкую дорогу современной цивилизации, не мечтает о подобном родстве, хотя, в историческом разрезе, блеск свершенных им дел вряд ли слабее славы Тимура, — правда, совсем в ином значении. Его соотечественники, и притом не только чрезмерно экспансивные, сравнивают уже сейчас Кемаля со всеми великими людьми, мифическими и историческими, когда-либо жившими на свете, начиная от Христа, Мохаммеда, Будды, Конфуция и кончая Вашингтоном, Линкольном, Лютером, Петром первым и Лениным. Восточным людям свойственно увлекаться и преувеличивать. Но, если верна легенда о том, как тюркские племена, кочевавшие по пустынным закаспийским степям, подошли к высокому гранитному хребту, как они в отчаянии собирались уже отступать, и как сзади них вдруг вырос огромный Серый Волк («Боз-Курт»), своею грудью разорвавший неприступные скалы и указавший племенам путь в обетованную землю тюркизма — Анатолию, то Мустафа-Кемаль, во всяком случае, через много и много веков на-яву воссоздал в своем лице образ этого Серого Волка и сыграл не менее мифическую роль, нежели он. Воистину то, что свершил Кемаль, те великие дела, которые возложила на него история, кажутся уже нам, его современникам, достижениями, подходящими к тому, что принято называть «чудесным», — что же скажут о Кемале новые поколения, сыновья возрожденного им тюркизма!..

Турция, вчерашняя страна правоверного ислама, экзотического падишаха и чалмоносного муллы. Турция, нынешняя земля великих достижений — ведь это же она еще недавно была тем «больным человеком», у которого не существовало надежды на выздоровление, и у изголовья которого уже стояла смерть, этот черный верблюд, опускающийся на колени возле каждого неблагополучного дома. Уже в XVIII веке английские ученые безапел-

диционно утверждали, что если господь бог свершил много чудес, то такого чуда, как продление жизни Турции еще хотя бы на десятилетия, он никогда не смог бы осуществить. В XIX веке, после длительного пребывания в Анатолии, этот прогноз подтвердил и Мольтке, подчеркнув, что никаких возможностей к существованию у Турции нет. Во время недавней национальной борьбы Асквит уже составлял эпитафию, которою он хотел украсить историческую могилу Турции. Каркает Европа и сейчас над колыбелью новой Турции, предсказывая ей неминуемую гибель и злобно заявляя, по поводу всех реформ Кемаля, что раньше турки имели оригинальность, а теперь, мол, потеряли и ее.

Но — характерным для всех этих предсказаний являлось то обстоятельство, что они не оправдывались и не оправдаются. «Не умрет наша родина; но, если бы она и умерла, мир не выдержал бы тяжести ее гроба». Так сказал турецкий поэт, и Турция востину не умерла. Погибла Оттоманская империя, погибла навсегда, окончательно, бесповоротно. Но на ее костях, на пепле ее пожарища, возродилась, вернее только что появилась на свет Турция, родина обновленного тюркизма. Турция Серого Волка, страна Черного и Белого Барана.

Европейские историки справедливо говорят, что если Мохаммед обязан туркам укреплением и распространением своей религии, то и турки обязаны своими завоеваниями Мохаммеду. Было время, когда Коран играл большую прогрессивную роль, и особенно в жизни тюркских масс. Современные руководители турецкого национального движения откровенно указывают, что, если бы не было Ислама, то нынешние анатолийские турки, возможно, продолжали бы еще пасти свои стада в Закаспии и Бухаре. Ибо история тюркских народов, если оставить в покое всякого рода мифических Алаков, начинается приблизительно через столетие после Гиджры, т.-е. как раз тогда, когда правитель Хорасана, араб Котайба, появился среди них, кочевавших в те времена на огромном пространстве от Китая до Тибета и от Тибета до Каспия, захватил их столицу Самарканд и стал учить их догмам Ислама.

Религия Мохаммеда научила тюркских кочевников мусульманской солидарности, дисциплине и фанатической борьбе за торжество Ислама, — вместо прежних племенных раздоров из-за пастбищ. Когда именно мог появиться «Боз-Курт», установить трудно. Во всяком случае, вскоре после принятия Ислама тюркская масса подвигается по всем направлениям (24 племена — 24 дороги), и тюркские воины появляются сперва в Аравии (через Персию), затем в Восточной Анатолии, Сирии, Египте и даже Испании. Вслед за двором Абассидов (Тогрул со своими 300.000 всадников), турецкие преторианцы оказываются на службе у халифов Каира и Кордовы, играя все более и более первенствующую роль. С развалом арабских халифатов тюркское племя сельджуков, владевшее к этому времени Туркестаном и Хорасаном, выступает самостоятельно на сцену и завоевывает Персию, Кавказ и почти всю Малую Азию (Альб'Арслан, Малек). Начало самостоятельности тюрок по-

ложено, но не в национальных рамках. Сельджукское государство Альб'-Арслана, Малека и Алаэддинов попрежнему является вненациональным, а потому нежизненным и некрепким об'единением бродячих скотоводческих племен.

В середине XIII века на границах Восточной Анатолии появилось первое племя оттоманских турок, численностью до 50.000 человек, во главе с Эртогрулом. В конце этого же века за помощь, оказанную в войне с монголами, сельджуки подарили Эртогрулу крупную вотчину в Западной Анатолии, в пределах древней Фригии, и как раз району Ангоры, видавшему ряд древних народов от хеттитов до римлян и византийцев, суждено было явиться первым местом оседлости тюркских племен, сыграть роль турецкой Москвы — собирательницы тюркских земель. Именно здесь родился Осман, именем коего была названа в дальнейшем новая империя, здесь он женился на Малькатун, «сокровище глаз», дочери мудрого шейха Эдебали, здесь в награду за дочь он согласился принять от Эдебали наставление в чистой религии, вместо прежней помеси Ислама с древне-тюркским язычеством, и именно здесь начались первые столкновения турок с Европой, сперва из-за пастбищ (Византия), а затем из-за владычества над окрестными землями. «Имена идут с неба, они пророки судьбы», — так, по слову Корана, Ангора, «якорь» хеттитов, римлян, византийцев и сельджуков, стала якорем и колыбелью огромного турецкого государства, которое, как видел во сне Осман, перед женитьбой на Малькатун, перешло вскоре за рубеж великих четырех рек: Тигра, Евфрата, Нила и Дуная. Через шесть с лишним веков, когда много, много воды утекло из этих рек, и когда Европа отняла у сыновей Османа все земли и страны, завоеванные ими за это время, история снова сделала Ангору якорем и колыбелью нового турецкого государства, почти с такою же территорией, которая была при Османе. Как же говорить после этого, что история никогда не повторяется...

Как нередко бывает в истории, Эртогрул и Осман явились змеями, отогретыми сельджуками у себя на груди. Окрепнув на подаренной им территории и воспользовавшись смертью последнего сильного сельджукского султана, Алаэддина 3-го, Осман («крошитель костей») об'явил о своем неподчинении сельджукидам и создал собственное государство, сделавшее вскоре из сельджукской столицы Конии лишь невлиятельный центр одного из многих оттоманских вилайетов. Уже при Османе была взята Брусса. Его внук Мурад завоевал Эдирне (Адрианополь), а один из его ближайших потомков, Мохаммед-Завоеватель, вошел в столицу мира, Константинополь, разрушив Византийскую империю и одновременно подчинив своей власти курдские, персидские, арабские и даже египетские земли. При сыне Османа, Орхане, появился первый «визирь», первый турецкий поэт (Шейки), первые общественные сооружения и первые «ени-чери» (новые солдаты), на ряду с реорганизованной турецкой армией, собственными деньгами и примитивной администрацией.

Эртогрул дал своему племени землю, на которой оно закрепилось. Осман сделал эту землю независимой. Орхан превратил отдельные племена

в нацию. Трех правоверных халифов знает Ислам, и три великих устроителя чтутся современным тюркизмом в лицах Эртогрула, Османа и Орхана, ибо только при них страна, народ и власть были турецкими. Уже при Орхане появились попытки «оттоманизировать» новое государство и создать преторианскую, не-турецкую армию «янычар» (ени-черы), и уже Орхан стал терять суровую простоту своего деда и отца, завязав сношения с развращенной Византией, познав расслабляющую любовь византийских красавиц, познакомившись с мишурным блеском Константинопольского двора и начав создавать свой двор из пашей, феодалов, бейлербеев, разного рода шейхов и т. д. Мурад был в Эдирне. Мохаммед вошел в Константинополь. Их сыновья давали бои на Балканах, доходя до стен Вены. Но эти победы производились «по инерции», делались руками не турок, не турецких войск, не во имя тюркизма, а для Ислама, и были возможны лишь в силу бесконечных разногласий между европейскими государствами. Оторвавшись от тюркизма, от дедовской опоры на Анатолию, сделав нелепую ставку на создание «Оттоманского» государства, с бесправием иноверческого элемента, и успокоившись на взгляде на Коран, как на исчерпывающий источник премудрости, несмотря на непрерывно менявшиеся условия, особенно в Европе, сыны Османа век за веком проматывали наследие предков, постепенно дегенерировали и разлагались, закончив свое существование постыдным правлением таких ничтожеств, как Абдул-Хамид и Вахидеддин.

Немалые изменения произошли и в среде самих анатолийских тюрок. Мало кочевников привел в Анатолию Эртогрул, быстро стала слабеть свежая, сильная, юная кровь пришельцев, смешиваясь с ветхой и дряхлой кровью прежних жителей завоеванной страны. Наступательный порыв анатолийских турок, перешедших уже на другой берег Геллеспонта, сопровождался непрерывным и убийственным уменьшением их числа. Появилась необходимость в создании янычар, и эти дети христианских собак, с детства отрывавшиеся от родителей и обращавшиеся в Ислам, уже не могли быть такою опорой тюркизма, как самые турки. Они были изумительно храбры, в безумном отчаянии безродных, но их фанатизм, фанатизм преторианцев Ислама, мог существовать лишь в обстановке своевластия, войн, грабежей и убийств. Они не пошли бы за идеями чистого тюркизма, за горсточкой отважных кочевников, пришедших в Анатолию из степей, пустынь и угрюмых гор Центральной Азии, и не во имя тюркизма вели их за собой падишахи: слишком разрослись владения турок, слишком много иных народностей вошло в состав завоеванных ими земель. В большой разноплеменной и разноязычной стране, где турки не составляли даже половины населения, тюркизм и тюркизация встретили бы вряд ли благоприятную почву. Дети Османа, отрекшись от тюркизма, поступили на службу к Исламу, и знаменем их, флагом конгломерата народностей, об'единенных более или менее крепко одною религией, стало зеленое знамя Корана—«величественный кипарис сада побед».

Занятие Мохаммедом Константинополя явилось зенитом славы, но и началом падения. Интриганская, развращенная, расслабленная Византия,

доставшаяся, наконец-то, Исламу в лице турок, явилась Троянским конем для тюркизма. Примитивный характер кочевников легко мирился с суровой природой Анатолии, постоянными житейскими лишениями, отсутствием самого необходимого. Ибо для того, кто умеет понимать, жужжание комара является музыкой, тогда как для тех, кто не может слушать, недостаточно даже барабана и флейты. Прежние суровые воины еще не так давно гордившиеся количеством лошадиных хвостов на своих знаменах и степенью близости к котлу и кухне (а тогдашние военные руководители получали чины «от лошадиного хвоста» и «от походного котла»), попав в изнеженную и обольстительную обстановку Византии, стали стыдиться своего прошлого. Именно после взятия Константинополя, стыдясь предков пастухов и кочевников, турки стали умышленно «забывать» свою родословную. Так исчезли фамилии в турецких семьях, и лишь в 1905 — 1908 годах, под влиянием идей возрождавшегося тюркизма, отдельные семьи стали принимать фамилии, в большинстве случаев по имени главы семьи (фамилии в Турции прививаются лишь сейчас, после четырех веков «безродного» существования). Вожди кочевников стали добиваться чинов при дворе, либо же поместий в лучших завоеванных провинциях. Миллионы «райи» работали на них, а они, сыны Османа, все больше становились сибаритами, все глубже погрязали в сладкую обольстительную тину неги, роскоши и порока. Самое слово «турок» приобрело вульгарное значение и постепенно стало синонимом брани и презрения. Анатолия оказалась забытой и, если о ней иногда и вспоминали, то лишь как о дойной корове, о неисчерпаемом источнике податей и налогов. Потомки Османа, расположившись на берегах Босфора, Мраморного и Егейского морей, занимались лишь прославлением своего имени постройкой пышных дворцов, устройством гаремов и блестящих селямликов и разгульных пиров. Поездка в Анатолию, даже временная, стала считаться наказанием, чем-то в роде ссылки. Византия, стиснув турок в своих об'ятиях, быстро привела их к преждевременной старости. Трясина оттоманизма, стремившегося построить безнациональное государство, но не создавшего для этого ни политической, ни экономической базы, совместно с крепкими путами Ислама, чем дальше, тем больше вырождавшегося в нетерпимую изуверщину, полную темных и нелепых предрассудков, влекли государство все глубже и глубже в бездну. И поэтому, когда Ян Собесский остановил под стенами Вены оттоманские войска, продвигавшиеся к этому времени вперед лишь стихийно, самотеком, без порывов, и одерживавшие победы лишь только благодаря несметному количеству покоренных рабов и «большой крови», — Оттоманская империя дрогнула, зашаталась и стала быстро разлагаться, чем дальше, тем с большей силой. Поражение под Веной явилось началом очевидного конца, и поэтому Оттоманская Турция имела все основания из века в век устраивать глубокий траур в 29-й день Рамазана, посвященный оплакиванию Вены.

Тот, кто видит смерть, согласен быть хотя бы самым тяжким больным. Оттоманская империя уже вскоре после Вены стала тяжело «Больным Человеком», и она не умирала только в силу бесконечных раздоров между запад-

ными державами. Иногда, в самые тяжелые моменты ее существования, турецкая Анатолия, напрягая все силы и преодолевая свою ненависть к Стамбулу, посылала падишаху лучших сыновей для спасения страны. Но ни семья Кепрелю, ни Махмуд, Решид и Мидхад-паша не могли спасти того, что было обречено на гибель. Их усилия могли лишь оттянуть конец, который продолжал оставаться неизбежным, ибо тот, кто удаляется от стада, должен наверное погибнуть. А Константинополь совсем ушел от Анатолии. К тому же Оттоманской империи пришлось вскоре вступить в бесконечную борьбу с народностями, завоеванными тюркизмом, чуждыми ему по расе, языку и религии, несравненно более культурными, а потому не поддававшимися ассимиляции. Разгром янычар под Веной вдохновил «райю», и, под протекцией Европы, мечтавшей об усмирении и ослаблении слишком опасных пришельцев, христианское население вступило в ожесточенную борьбу с турками.

Разваливалась империя и экономически. Приняв Ислам во всех его выявлениях, турки превратили не-исламитян, населявших больше половины завоеванных ими земель, лишь в послушных данников, разоружив их и лишив права служить в армии. Бесконечные войны, которые приходилось вести туркам сперва за расширение, а потом за сохранение своих завоеваний, не позволяли турецкому населению развиваться экономически, тогда как райя, напротив, обладала для этого всеми возможностями. В результате, покуда турки стремились защитить созданное ими эфемерное оттоманское государство, райя постепенно прибирала к своим рукам всю экономику страны, и вскоре, если номинально христиане оставались политическими рабами турок, то в экономической области они стали полными господами страны. Когда Европа, используя тяжелые моменты Больного Человека, заставляла Блистательную Порту итти на такие реформы, как Танзимат и Хатти-Химаюн, широко открывавшие иностранному капиталу ворота в Империю, то европейские капиталисты, проникая в Империю, уже находили здесь готовые кадры для своих экономических планов, в лице меньшинств, державших в своих руках всю экономику страны. По причине политического бесправия меньшинств Европе оставалось сделать лишь очень немногое для того, чтобы, путем привлечения меньшинств на свою сторону, сделать из них своих сильных и послушных агентов. Тем более потому, что Танзимат сыграл отрицательную для султаната роль и в смысле культурно-политической связи меньшинств с турками. До Танзимата меньшинства были больше связаны с турками в этом отношении хотя бы потому, что должны были знать турецкий язык. Танзимат дал полную свободу употребления языков, в том числе и в школах. Как и все реформы султаната, это было декретировано под солидным давлением Европы, с официальной целью большего единства среди оттоманов. Однако никаких условий для этого единства создано не было, а потому результаты оказались прямо противоположными. Меньшинства начали и в культурном отношении ориентироваться на те страны, языки коих они изучили, и турецкий язык стал забываться ими. В результате уже в начале XIX века Империя попала в большую зависимость к Европе и ее

агентам, христианским меньшинствам, и в скором времени, путем кабальных займов, предоставлявшихся Блистательной Порте, Больной Человек оказался крепко и надежно привязанным к своей койке. Самые крепкие путы, как достаточно хорошо известно, называются экономическими.

Абдул-гамидовщина изображается западными историками, как эпоха особенного всемусульманского неистовства против меньшинств. Прозвище «убийцы», патетически брошенное Гладстоном по адресу Абдул-Гамида, послужило для всякого рода Брешко-Брешковских неисчерпаемой темой для сладострастных повествований о кровавых тайнах султанского двора. Европа умышленно «проглядела» в армянских погромах судорожные попытки турок рассчитаться со своими ростовщиками. Не одни только Абдул-Гамиды направляли эту экономическую вражду в национальное русло, по пути национального истребления. Из докладов царских консулов в Восточных вилайетах Турции вытекает с достаточной ясностью, что Англия «благородных» Гладстонов и «великодушная» царская Россия, выставлявшие себя в роли защитников «братьев-христиан», сами и всеми силами разжигали турецко-армянскую вражду и на почве экономического гнета со стороны армян устраивали религиозно-национальные погромы (не с меньшим усердием, чем Абдул-Гамид), с очевидной целью создать такую обстановку, которая позволила бы «по-человечески» вмешаться в дела Больного Человека, преподнести ему новую порцию лекарства, смешанного с сильно действующим ядом, и урвать новый клочек из его территории. Предоставив экономику страны меньшинствам, более сильным в этой области благодаря помощи иностранного капитала, турок смог проявлять себя только в армии и правительственных учреждениях, защищая страну от Европы в бесчисленных войнах. Цепи Ислама, крепко сковавшие Турцию во всех областях жизни, начиная от теократическо-феодальной власти (султан, халиф и — узаконенный Исламом ашар) и кончая судом, школами, семьей, бытом, делали из турка, с течением времени, лишь воина Мохаммеда, лишь борца за навязанные ему Кораном и падишахом исламистские и панисламистские идеалы. Десятками и сотнями лет турки проливали свою кровь не за Турцию, не за народ, а во имя Ислама, ради торжества Полумесяца над Крестом. Тем временем меньшинства, свободные от военной службы и обладавшие целым рядом таких национальных прав, которым в ту эпоху в Европе не владела ни одна завоеванная нация, усиленно укреплялись в стране и забирали в свои руки все новые отрасли экономики, наиболее выгодные, отказываясь от земледелия, батрачества и другой черной работы. Не довольствуясь жестокой эксплоатацией турецкого земледельца и рабочего, не удовлетворяясь своим экономическим преобладанием в стране, меньшинства под влиянием иностранных посольств, начали борьбу с турками за изгнание их из Европы и раздел их азиатских владений, являясь и в этом отношении откровенными агентами Европы.

В такой обстановке единственное спасение Империи заключалось в реальном европеизировании, в своевременном перенесении на турецкую почву достижений мировой культуры и цивилизации. Некоторые европейские

историки и тюркологи (в том числе наш Крымский) утверждали (и частично утверждают до сих пор), что тюркские народности неспособны к развитию в условиях самостоятельного существования и, в качестве примера, ссылались на Турцию. Нечего и говорить, что этот взгляд, по меньшей мере, ошибочный. Прежде всего в Турции уже давно перестала существовать в сколько-нибудь чистом виде настоящая турецкая нация. Кочевники, приведенные в Анатолию Альп-Арсланом и Эртогрулом, благодаря общеизвестным завоевательным методам Ислама, сильно перемешались с полоненными местными жителями, и в жилах нынешних турок течет несравненно больше инородной крови, чем тюркской (отсюда поразительное разнообразие расовых типов в Анатолии). Этим и об'ясняется сравнительная легкость проведения «оттоманизации» при Империи, вряд ли возможной в условиях иной феодально-теократической, но расово однородной страны. Единственными общими моментами у мусульманского населения Турции являлись и являются лишь общность территории, религии и языка. С другой стороны, отдельные данные, обнаруженные и проверенные историей, показывают, что тюркские народы, когда они еще не подпали под иго непререкаемой догмы Ислама, развивались вполне нормально и обладали большей культурой, нежели хотя бы славяне (Золотая Орда). Монтегю в частности указывает, что в старину тюркские народы были первыми, прививавшими у себя оспу, в то время, как на Западе об этом и заикнуться было нельзя. В дальнейшем турки позабыли о прививке оспы, и, когда при Махмуде II она стала снова вводиться в стране, против нее ожесточенно восставали имамы, т.-е. не нация, не раса, а представители религии. Наконец, немалое значение в деле отсталости турок от Европы играл и тот факт, что ко времени появления турок в Анатолии завоеванное ими арабское наследство превратилось из прежнего прогрессивного фактора в регрессивный, в результате открытия новых морских путей. Наиболее яркие памятники арабско-сельджукской эпохи были уничтожены сперва крестоносцами, затем монгольскими ордами Тимур-Ленка. Таким образом возможности мирного общения турок с арабской и европейской цивилизацией были отрезаны. В тех областях, где это приобщение к культуре предшествовавших народов оказалось возможным, турки, как известно, дали весьма выдающиеся образцы своего творчества (керамика, мечети, ковровая промышленность, шелк и т. п.). Однако кратковременные периоды мира сменялись длительными и опустошительными войнами Полумесяца с Крестом (и наоборот), и все силы нации уходили на эту борьбу, сперва за распространение Ислама, затем во имя обороны.

Будучи истолкован в качестве непогрешимой догмы, исчерпывающим образом толкующей о всей жизни мусульманина, во всех ее деталях (благодаря сунне и хадисам), Ислам сам по себе уже являлся огромным препятствием на пути к цивилизации анатолийского тюркизма. Эта отрицательная роль его еще увеличилась оттого, что в борьбе с Европой тюркизм, в лице Ислама, защищал самое свое существование, ибо Ислам заменял собою недостававшую туркам национальность. С другой стороны, будучи глухим ко

всем положительным чертам европейской культуры, Ислам, особенно турецкий, в целях своего усиления, перенял от христианства и других врагов немалое количество отрицательных сторон. Так, тюркизм не знал полигамии и взял ее у арабов (через Коран) и у греков — после захвата Константинополя и Архипелага. Тюрбаны турки стали надевать в своей массе лишь в период нашествия Тимур-Ленка, ибо Тимур не трогал лиц, носивших тюрбаны, считая их потомками пророка. Сутана заимствована турками у еврейских раввинов и византийских императоров, колпак у балканских славян, феска у греков (в течение 6 веков самостоятельного существования турки не создали своего головного убора). Характерно, что само слово «эффенди» греческого происхождения, от «афтендис» («авто» — любое действие, свойственное индивидууму, и «тендис» — оружие и снаряжение). В турецком понимании слово «афтендис» (в дальнейшем переделанное в «эффенди») обозначает лицо, имеющее личную власть вооружаться, свободное в своих поступках и не связанное необходимостью обращаться к кому-либо за разрешением. Первоначально, когда турки вступили в связь с Римско-Византийской империей, слово «афтендис» употреблялось ими по отношению к своим высшим военным и религиозным властям, действительно обладавшим указанными правами (которые были скопированы с прав византийских императоров и патриархов). Лишь совсем недавно словом «эффенди» стали зваться просвещенные люди, а затем аги и беи.

С начала XIX века в турецкой среде начинают появляться люди, покуда одиночки, указывающие на необходимость принятия хотя бы основных принципов европейской цивилизации. Это время совпадает с возобновлением более или менее длительных периодов мирного контакта с Европой, когда отдельные турецкие деятели могли посещать Европу и в лице, напр., известного поэта Зия-Паши горестно констатировать: «Об'езжая страны неверных, я видел благоустроенные города и жилища; странствуя же по владениям Ислама, я наблюдал лишь развалины». В среде правителей обнаруживаются такие деятели, как Решид-паша, знаменитый Мидхад, Али, наконец первые основоположники идеи «возврата к тюркизму» Ахмед-Вефик и Сулейман. Эпохой, когда реформационные стремления получили наиболее яркое выражение, является, в XIX веке, царствование Махмуда II.

Индусская поговорка говорит, что «излечивают ударами ножа, а не языка». Реформы Махмуда начались как раз в силу военных ударов, полученных его армиями, при чем в истории султаната они были первыми и последними реформами, проведенными не под диктовку европейских посольств. В период восстания греков на Морее армия Хуршид-паши, насчитывавшая 80.000, оказалась бессильной по отношению к повстанцам. Махмуд вынужден был обратиться за помощью в Египет к Ибрагим-паше, который прислал войска, обученные французами и в течение 15 дней справившиеся с восстанием. Этот урок оказался достаточно показательным, и Махмуд приступил к реформам в армии. В результате, не в пример другим странам, где революционная роль принадлежала университетам, турецкая армия, реформированная задолго

до других институций, оказалась главным фактором революции и играла большую прогрессивную роль во всех переворотах (конституция Мидхата, Иттихадистский переворот, кемалистское движение).

Махмуд явился и инициатором введения в Турции фесок, заимствованных им у греков и у египетских войск Ибрагим-паши. Любопытно, что если сейчас феска является признаком реакции, и лица, пропагандирующие за нее, попадают на виселицу, то при Махмуде положение было совершенно обратным. Махмуд рубил головы именно тем, кто протестовал против введения фески, и именовал за это падишаха «гяуром». С другой стороны, именно введение фески ускорило решимость Махмуда уничтожить корпус янычар, превратившихся к этому времени в оплот разнузданного децентрализма, бесчинства и своеволия. Начав организацию новых кадров армии, Махмуд мечтал ликвидировать янычар постепенно, не прибегая к резким мерам. Однако введение им фески (на ряду с общим преобразованием армии) вызвало очередной бунт янычар, — бунт, закончившийся казнью всех 40.000 янычар.

Заботясь об армии, Махмуд хотел ввести фуражки с козырьками как для офицеров, так и солдат, при чем соответственный декрет был уже издан. Однако муфтии, имамы и улема решительно запротестовали, ссылаясь на известный стих Корана: «Ты будешь бороться и побеждать врагов с открытым челом». Махмуд призвал к себе шейх-уль-ислама и заставил его сидеть лицом к жгучему солнцу до тех пор, покуда шейх, у которого появились волдыри на лице, не взмолился о пощаде. Махмуд выругал его за то, что он, понимая, как тяжело солдатам воевать с открытым лицом, особенно на юге, настаивает на отказе от козырьков. Однако декрет о козырьках все же был аннулирован, и только Мустафа-Кемаль смог довести дело Махмуда до конца.

Махмуду же принадлежит значительная инициатива и в медицинском деле. До него в Константинополе существовал так называемый «Дар-юль-Тыбб» (дом медицины), при чем, по настоянию улема, двери его, равно как и лучших медрессе Фатиха и Сулейманние, открывались на Восток. Махмуд в 1826 году открыл новый Дом Медицины (Тыбб-ханэ), при чем демонстративно приказал, чтобы его двери открывались на Запад, т.-е. на западную цивилизацию (а роль «дверей» в эту эпоху была немаловажной, «дверью» называлось и правительство «Блистательная Порта», по образцу прежних дверей, ведших в палатку вождя племени). И действительно «Тыбб-ханэ», реорганизованный в 1909 году, после ряда метаморфоз, в нынешний медицинский факультет, сыграл вместе с армией исключительно прогрессивную роль в истории турецкой революции, особенно яркую по сравнению с другими высшими школами, поддерживавшими косность и бывшими по сути дела гнездами клерикальной реакции.

Прогрессивность Махмуда, сравнительно с другими султанами, об'ясняется отдельными историками тем, что его матерью является будто бы француженка, Эммэ-Дебюк, таинственная кузина первой жены Наполеона Жозефины, и что именно Дебюк толкала Махмуда в сторону реформ. Ес это и так, то следует признать, что влияние было совсем незначитель Является ли виною тому историческая обстановка эпохи, когда Ислам

крепко держался на ногах, — как бы там ни было, но только Махмуд проводил свои реформы с большой осторожностью, идя порою и на такие акты, как изгнание вглубь Анатолии двух смельчаков за то, что они впервые одели европейские штаны. Решаясь на ликвидацию янычар, Махмуд декларировал в своем знаменитом фирмане: «Народ Мохаммеда знает, что наш святая религия и наша превечная держава заполонила Запад и Восток именно благодаря чистой вере нашей и сабле Джихада». Дальнейшие аргументы фирмана имеют такой же клерикальный характер, при чем в конце говорится: «С целью вызвать новый расцвет религиозной жизни и улучшить положение исламской нации, я, в соответствии с Кораном и наставлением религии, декретирую уничтожение янычар».

Естественно, что главной причиной подобного клерикального обоснования реформ являлось тогдашнее состояние умов и боязнь коснуться твердынь Ислама. Аналогичные предпосылки заметны в дальнейшем и в исторической «Хатт-и-Гюльханэ», которая начинается словами: «Никому не безызвестно, что, со времени создания нашей августейшей империи, священные наставления Ислама ставились целью всей работы султаната» и т. п. Эта боязнь Ислама была характерной не только для самодержавного падишахлыка: потребность внешне гармонировать свои цели с Шариатом ощущалась и Иттихадом, партийный орган которого, «Шура-и-Юммет», имел в качестве лозунга «айет» из Корана: «Организуйте консультации в делах государства». Как известно, подобной же политики придерживался первоначально и кемализм, об'явивший Ангору «каабой турецкого национализма и киблой идеала вечной независимости», провозглашавший, что вооруженная борьба с греками имеет главной целью «освобождение священной особы падишаха из плена неверных», призывавший аскеров итти на борьбу Полумесяца с Крестом и залить воды Сакарии грязной кровью христианских собак и даже в момент ликвидации халифата заявлявший, что республика является нечем иным, как халифатом, в той его форме, которая была установлена Мохаммедом. Аналогичные попытки со стороны кемализма (в меньшем масштабе) наблюдаются и сейчас (об этом ниже).

Подобного рода лицемерная политика проводилась отчасти потому, что Турция в разные периоды своей истории в той или иной степени делала ставку на пресловутый жупел «всемусульманского братства». Даже Кемаль на первых порах продолжал (может быть, демонстративно) лелеять мысль Джемаль-паши о «восстании в Индии», несмотря на злосчастные результаты «Джихада», об'явленные султаном в начале мировой войны, и несмотря на общий крах политики панисламизма, выразившийся хотя бы в том, что в мировой войне Оттоманская империя была побеждена силами, главным образом, 400.000 индусских, геджасских, сирийских, иракских и прочих мусульман. Сейчас, когда Ангора нашла свой четкий путь, путь обновленного и [illegible]опеизированного тюркизма, панисламистская политика, по крайней мере [illegible] прежних формах, открыто сдана ею в архив истории. Но в эпоху борьбы [illegible]изм должен был считаться с наличием подобного рода тенденций и

с возможностью получения хотя бы самой малой помощи от мусульманского мира. Тем более не могли игнорировать этой политики Махмуд, имевший уже дело с протестами духовенства, и Иттихад, которому пришлось расправляться с открытым реакционным восстанием (31 марта). Эта боязнь перед Исламом заставляла всех прежних реформаторов действовать порывами, от случая к случаю, не систематически и не доводя дела до конца. Порывы выдыхались, наталкиваясь на препятствия, случаи проходили, и сравнительно короткие периоды либерализма сменялись длительной реакцией, зачастую еще более мрачной, нежели раньше (Абдул-Гамидовщина после конституции Мидхата, Иттихад после 1909 года и в эпоху мировой войны).

Отдельные попытки реформ продолжались и после Махмуда. В 1879 г. в Константинополе было создано первое юридическое училище с европейским методом преподавания, но под сильным религиозным влиянием (теперешний юридический факультет). Под давлением держав, султаны издавали всякого рода «Хатт-и-Шерифы» и «Хатт-и-Гюмаюны», провозглашая на бумаге свободы и равноправие, но на деле придерживаясь рутины. Мидхат, создавший конституцию, поплатился за нее головой, при чем Абдул-Гамид, опираясь на духовенство, ликвидировал вскоре и самую конституцию. Тщетно в 80-х годах Ахмед-Вефик, тогда вали Бруссы и Смирны, с ножницами в руках охотился по улицам за зейбеками и героически отрезал мешки, свешивающиеся, по национальному обычаю, сзади штанов. Религиозные предрассудки, как ржавчина, покрывали мозг нации, и страна продолжала оставаться добычей шейхов, ходжей, улема, «джинджи» (знахарей) и подхалимских визирей, проводивших в политике политиканство (знаменитое «идаре-и-маслахат»), отговаривавшихся от реформ классическим «харб-соны» (после войны), распродававших страну Европе для удовлетворения прихотей падишаха и смотревших на Анатолию, лишь как на источник поборов, необходимых для процветания «Дерри-Саадэт» (Врата Блаженства, так назывался Константинополь на языке придворной челяди). Ислам, достигший зенита своего могущества как раз в эпоху Абдул-Гамида, на самом рубеже XX века побивал камнями турок, осмеливавшихся носить галстухи и воротнички, изгонял, проклинал и называл гяурами лиц, ставших употреблять вилки при еде, запрещал похороны в гробах, не допуская никаких признаков траура, даже цветов и венков на могилах, даже музыки на похоронах, поощрял всеми мерами многоженство и, под шумок, набивал карманы своих верных слуг, обогащался новыми вакуфными землями и в своих медрессе и шариатских судах продолжал дурманить головы правоверных, особенно молодежи. Для себя — рай на земле, с десятками гаремных гурий. Для убогой анатолийской деревни — посты, поборы и мудрое наставление: «Воздержание — божественное дерево, корень которого заключается в довольствии малым, а плодами являются тишина и мир». На всякую инициативу в хозяйстве, искусстве, личной жизни — готовый фаталистический ответ: «Земля нам дана, чтобы служить такою, как она есть». Ангелы не должны входить в тот дом, где имеется какое бы то ни было изображение, и потому Турция не знала до последнего

времени изобразительного искусства. Тысячами щупальцев имамы и муллы охватили всю жизнь, каждый шаг и поступок турка, обезличив его, подавив в нем малейшие инициативные стремления, отняв у него даже национальность, и заставив турок на протяжении веков проливать за себя моря крови, — где только нет турецких черепов, костей анатолийского крестьянства...

«Целуй ту руку, кисть которой ты не сможешь свернуть». Так учил Ислам анатолийского турка, и он, обливаясь потом и кровью, стеная под изуверским игом ашара, целовал эту жирную руку муллы и имама, безропотно подставляя спину под бич сборщика ашара. Но так не могло продолжаться бесконечно. Если Ислам принес когда-нибудь пользу тюркизму, анатолийский турок заплатил за нее веками страданий и крови. Расплата должна была наступить, и она пришла. Под влиянием великих потрясений последних лет анатолийский «мехмеджик» вспомнил о своем тюркском происхождении, ощутил национально-турецкое самосознание и, разорвав всякого рода панисламистские и оттоманские путы, встал впервые перед миром во весь свой рост, строя не чуждое Оттоманское государство, а свое национальное, турецкое. Падишах и халиф как-то вдруг оказались выброшенными из пределов страны и об'явленными вне закона. Найдено надлежащее место и для ходжей, шейхов и имамов, непрерывно поставляющих все новых кандидатов на виселицы. «Кофе без папиросы все равно, что постель без одеяла», и революция без расплаты с реакцией — плохая революция.

Но о тюркизме, его борьбе за право на существование, его победе и нынешних достижениях — в следующей статье.

Ангора, 14 марта 1926 г.

Непонятное явление.

(Э т ю д).

Пантелеймон Романов.

I.

В пятницу, на следующий день после пожара, в кооперативе было созвано собрание по вопросу о причинах полного краха предприятия.

Это непонятное явление ставило всех втупик.

Всю жизнь деревня Пронино ездила за покупками в город за двадцать верст.

— Трубку закурить — за спичками в город скачи, ведь это никаких сил не хватит, — говорили мужики.

Пользуясь таким положением дела, Прохор Фомичев, толстый мужик в жилетке и в ситцевой рубахе на выпуск, открыл свою торговлю и стал доставлять необходимые предметы, накидывая пятачек на фунт.

Все были довольны.

Но когда подсчитали, сколько они всей деревней несут этих пятачков Фомичеву, то пришли к выводу, что они круглые ослы. Если есть головы на плечах, то отчего не устроить так, чтобы пятачки были целы?

Сорганизовались. Сложились и выписали товару, открыв потребительскую лавочку против лавки Фомичева, через дорогу.

— Смерть кулаку и частному предпринимателю! Не брать у частного торгаша!

Заведующим лавкой выбрали Афоньку — гармониста, инвалида гражданской войны. Выбрали из тех соображений, что, во-первых, он парень на все руки — гармошки чинить, часы, керосинки; бенгальский огонь даже зажигать может. А во-вторых, у него хозяйства нет, все равно он дома сидит, ему немножко приплатить, он и будет торговать.

— Можешь торговать? — спросили его мужики.

— Вот г....! Что тут мудрость, что ли, какая? — сказал Афонька: — часы-то чинить позамысловатей дело — и то справляюсь.

На другой же день после открытия около потребительской сидела на траве и на завалинке целая толпа.

— Мать честная, народу-то собралось, — говорили проходившие. — Что это вы сидите?

— Дожидаемся.

Все сидели с баклажками для дегтя, с бутылями для керосина, курили и водили глазами то в одну, то в другую сторону.

— Ай, заперто? — спрашивали вновь подходившие.

— Заперто.

— А где ж Афонька-то?

— Керосинку, говорят, попу понес, — в починке была.

— Да не керосинку, а заводную игрушку.

— И игрушки чинит?

— Чинит.

— Ну и голова... А когда он в лавке-то бывает?

— Да ведь это как придется. Вчерась, говорят, прямо с утра был.

— Когда починки нету, он почесть все время тут. Вчерась моя старуха хорошо попала, так в пять минут вернулась, а нынче вот не угадали, — так третий час сидим.

— Эй, что вы там? Идите, отпущу! — кричал с порога своей лавки Фомичев.

— Подыхай там. На чорта ты нужен, — отвечали мужики, даже не оглянувшись, и когда показывался в конце деревни на своем костыле Афонька без шапки с вихрами нечесанных волос, мокрых от пота, точно он только что купался, на него кричали в десять голосов:

— Эй, что же ты, не успели тебя за дело посадить, а ты уж собак гоняешь, вот будем у частного торговца брать, вот тогда посвистишь.

— А чорт с вами, берите, мне-то что, — отвечал Афонька — давно бы уж дома сидели, чего ж вы ждете-то тут?..

— За тем тебя, осла, и посадили, чтобы у него не брать.

— А коли за тем посадили, так терпи, — отвечал Афонька. — Что ж я вас целый день должен караулить да по одному отпускать? По крайней мере вот набрались сразу, всех гуртом и отпущу.

— Да чорт этакий, ведь мы уж третий час тебя, лешего, дожидаем, — на дворе скотина не поена стоит.

— Потерпит...

Афонька выше всего ставил свое мастерство механика. Когда ему приносили в починку гармонику или часы, он долго осматривал, сидя на завалинке с отставленным в сторону костылем, раздвигал и сжимал около уха мехи гармоники, как бы пробуя, не идет ли где воздух. Клал на завалинку и смотрел на нее так, как смотрит ветеринар на лежащее больное животное, потом опять брал в руки.

И видно было, что для него самые блаженные моменты были те, когда он исследовал причину порчи, а против него стоял в молчаливом и напряженном ожидании владелец, стараясь по лицу мастера угадать, какой будет приговор.

И самое большое удовольствие для Афоньки было сказать равнодушным безразличным и тем сильнее действующим тоном:

— Кончилась твоя музыка, нельзя починить...

И еще равнодушно закурить при этом.

Потом, когда обескураженный владелец робко просил, чтобы он хоть не совсем починил, а так, лишь бы как-нибудь играла, Афонька говорил:

— Ладно, оставь, еще погляжу.

Тут он чувствовал себя жрецом, чувствовал свою власть над людьми и свою значительность, потому что умел то, чего кроме него не умел никто.

А торговлю он презирал, как свое унижение. Потому, что тут никакой мудрости не нужно: дурака посади и тот торговать будет, а он, м а с т е р, будет вкладывать в нее всю душу?! И он нарочно относился к ней так, чтобы видно было, что он выше этой торговли, что в ней не нуждается и не с его способностями тратить на нее целые дни. Да еще играть роль приказчика.

Его свободная натура никак не ладила с бухгалтерией, с своевременной доставкой товара. Он ничего не записывал, никакой отчетности не вел.

— Продал и продал, — что ж его записывать! Когда товар в лавке, его записывать нечего, потому что он и без того тут. А когда он продан, его записывать нечего, потому что его нету.

— Тогда ответишь. Взыщем.

— Взыскивай, — говорил Афонька и, повернувшись задом к собеседнику, наклонялся, показывая ему известную часть и прихлопывая по ней ладонью.

Собеседник взглядывал по указанному направлению и видел там одну заплату и две дыры до голого тела.

Эти дыры могли иметь два значения: с одной стороны они служили доказательством честности, с другой — указывали на невозможность взыскания.

Но у Афоньки оказалось одно свойство, за которое ему прощали все: пренебрежительное отношение к деньгам и материальным благам как к своим, так и к чужим. На другой день после открытия лавки пришел один из членов правления и попросил осторожно в кредит товару, Афонька сказал:

— А мне что — бери, — мое, что ли?..

— Записывать-то будешь, что ли? — спросил член правления, сам насыпая себе белой муки.

— Чего там записывать?..

— Ну, я тогда еще чайку с фунтик возьму.

— Вали.

На другой день пришли остальные два члена правления и довольно долго возились в лавке, насыпая и укладывая мешки.

А потом пришел мужичек, один из пайщиков, у которого была в кармане пятерка, но жаль было менять ее.

— В долг отпустишь?

— А мне жалко, что ли, — лавка-то ваша, а не моя.

А там, узнав, что в лавке отпускают в долг, побежала и вся деревня.

— Держись, Фомичев, — говорили мужики лавочнику, который одиноко сидел в своей лавке, — видал, обороты какие делаем?

Все знали, что ни одной общественной копейки у Афоньки не пристало к рукам. И когда кто-то недели через две после его определения на должность приказчика повернул его спиной к свету, — заплата и дыры были на своем месте.

— Вот тебе вся тут и отчетность на-лицо.

Особенностью Афоньки, как заведующего лавкой, было то, что он никогда не спрашивал долгов. Возможно, что при этом он рассуждал так:

— Они хозяева, их лавка, и ежели они берут, значит, знают, когда отдать.

А может быть, он и вовсе не рассуждал.

— Керосин есть? — спросил какой-то покупатель через три недели после открытия лавки.

— Нету керосина. Деготь есть.

— Деготь мне не нужен, я уж другую неделю за керосином хожу.

— Ну и третью походишь, что ж из-за одного твоего керосина в город ехать? Возьми вон напротив, через дорогу.

На четвертую неделю после открытия лавка стояла пустая.

— Вот это так оборот, — говорили мужики, — а боялись, что сбыту не будет. Эй, что ж ты спишь, за товаром не посылаешь? — кричали Афоньке.

— Денег нету.

— Целую лавку расторговал, а денег нету?

— Придется ревизию делать.

Пришла ревизия. Но так как Афонька ни за кем не записывал, кто брал в долг, то ревизия не могла обнаружить тех, кто так бессовестно отнесся к общественному достоянию.

— Кто в долг брал? — спрашивал ревизор.

Все только стояли и оглядывались по сторонам и друг на друга.

— Придется взыскать с тебя, — сказал ревизор, обращаясь к Афоньке.

И все увидели, как Афонька молча повернулся задом к ревизору и показал ему то, что обыкновенно показывал всякому, кто говорил о взыскании с него.

Ревизор машинально посмотрел на это место и увидел то, что все и раньше видели: заплату и две дыры.

II.

Тогда решили, что уж лучше заплатить как следует, но нанять правильного человека, который бы целый день сидел в лавке, в долг бы не отпускал и вел отчетность.

Выбрали Кубанова, бывшего председателя, которого по приказу из города сняли с места за превышение власти. Этот человек был рожден для власти и, побыв полгода председателем, нашел свое истинное призвание. Он верил, что без строгости и порядка не может итти никакое дело. Был оскорблен, когда его сняли. А когда выбрали в заведующие, он только сказал:

— То-то, черти, — поняли теперь...

Сделавшись заведующим, он показал во всей силе, что такое власть даже на таком посту, как заведующий потребительской лавкой. Когда покупатели подходили к лавке, у них зубы начинали стучать, как будто они шли не за товаром, а к прокурору республики, который вывернет им всю требуху наизнанку и вымотает кишки.

Кубанов всегда сидел и читал газету. При входе какой-нибудь старушки, не опуская газеты и не глядя на покупательницу, кричал:

— Что надо?

— Ась?

— Говори, зачем пришла?

— Я, батюшка... мне, батюшка...

— Что?! Говори проворней, чего мнешь! Что у тебя язык отнялся? Ну?

— Хунт керосину...

— А откуда твой сын деньги берет? Я вот доберусь до вас, обнаружу. Все наружу вытяну. В церковь ходишь? Попа на дом принимаешь? Да ты, брат, не заикайся, а говори? Налог заплатила? Нет? А откуда же у тебя деньги? Я, брат, все знаю. В сберегательную кассу кто ходил? Мне отсюда все видно! Обо всем будет доложено. Вот твой хунт керосину. Получай и в другой раз не попадайся.

Старуха выкатывалась без памяти из лавки и всю дорогу крестилась и оглядывалась.

Кубанов смотрел на свое назначение, как на право вникать во все области жизни граждан. И относился к покупателям, как начальник к подчиненным, от которых требовал прежде всего проявления страха.

Самое большое удовольствие для него было — видеть, как они трепещут от страха и как язык у них сразу делается суконным от одного его окрика.

Дело свое он тоже презирал, как и Афонька, ставил его на последнее место. А на первом у него была строгость и порядок. К потребностям покупателей относился тоже с презрением и на их требования смотрел, как на блажь.

— Что ты мне даешь, я чаю просила, — говорила какая-нибудь молодка.

— Бери, что дают. Нету чаю. Не ройся. Принудительно бери, а то плохо идет! Не разговаривать, а то будет доложено. — А тебе чего?

— Керосину.

— Напротив, через дорогу.

У этого заведующего ревизия нашла полный порядок в отчетности, но полный застой в торговле. Товару никто не брал, несмотря на то, что правление снизило цены на 20% против Фомичева.

— Фомичев, а ты жив еще? — спрашивал кто-нибудь.

— Живы-с, — отвечал Фомичев, стоя на пороге и снимая картуз.

— А как же ты торгуешь-то, там на 20% сбавили.

— Бог помогает.

— Ну, что за черти окаянные, эти кулачье! Прямо черная магия какая-то! — говорил, покачав головой, спрашивавший.

— Чем же тебя доканать, Фомичев?

— Вам видней, — отвечал Фомичев.

И когда официально, в ударном порядке была об'явлена война частной торговле, стало очевидно, что Фомичеву приходит конец.

На него наложили такой налог, что все ходили и говорили:

— Теперь крышка. Вот это борьба, так борьба. Теперь подрывать не будет. Если это заплотит, тогда еще столько же наложить надо.

— Что, не выдержишь, Фомичев? Конец, брат, тебе?

— Что ж сделаешь-то, — отвечал Фомичев.

А так как денег у него не хватило, то отобрали весь товар.

— Вот теперь без подрыва поторгуем. Кого бы это в заведующие угадать получше выбрать? Надо такого, чтобы о п е р а ц и и мог производить.

III.

Третьим заведующим выбрали Зубарева, бывшего заведующего волостным финотделом, который до того был доверенным какого-то магазина в Москве, но получил расчет за широту кругозора по его об'яснению.

Зубарев — человек с сильно зализанным бобриком и всегда тревожно возбужденным лицом, которое он постоянно вытирал комочком платка, как будто пробежал без передышки верст десять, и поминутно задирал вверх бобрик маленькой щеточкой с зеркальцем на обратной стороне.

Войдя в первый раз в лавку, он окинул глазами полки и бросил:

— Операций не вел. Это сиделец, а не заведующий был. Все дело в операциях. Помещение ни к чорту! Строиться надо.

Строиться ему не дали, но отвели под лавку народный дом. Зубарев выломал стены, вставил цельные окна, завел стулья для посетителей, устроил несколько отделений и накупил таких товаров, каких прежде не видывали: шляп, картин в рамах, зонтиков и даже цилиндр.

Когда у него спрашивали, зачем это, он отвечал:

— Вы бы посмотрели у Мюр и Мерилиза, там еще не то есть. А то вы сидите на одном керосине, больше ни чорта не знаете. Вас обламывать надо.

— А что ж ты так размахался, откуда денег будешь брать?

— А операции на что? У вас операций не делали, вот товар и дорог был, да заваль целыми месяцами лежала.

Для операций потребовалась лошадь с экипажем на рессорах, на котором ездили все члены правления.

Часто на этом экипаже приезжали какие-то люди. Зубарев показывал им, сколько у него товару, а потом подписывал бумаги.

А когда пошли покупать, то увидели, что товар дороже, чем в городе.

— Что же это вы дерете-то так? — спрашивали мужики.

— Операции и накладные расходы, — отвечал Зубарев, задирая вверх свой бобрик щеточкой. — Ведь ваши, прежние-то, что селедками да керосином торговали, в городе все брали, а я за зонтиками нарочного в Москву гонял.

— Чорт бы их побрал, эти зонтики, — говорили мужики: — брать их никто не берет, а денег на них уйма идет.

— Уж очень оборот мал, — говорил Зубарев, — нешто это оборот, — вот у моего хозяина в Москве, вот это было дело. А тут и мараться не из за чего. Охоты работать нету никакой. Тут бы трест запустить. Вообще оживить надо.

И когда Зубарев начал оживлять, то оживлял он в одном месте, а результаты сказывались в другом: проходившие через неделю после этого мимо лавки Фомичева мужики разинули рты от удивления.

Лавка была полна товара. А сам Фомичев сидел на табуретке около порога и поглядывал по сторонам.

— Ай опять воскрес?! — восклицали проходившие.

— Извиняюсь, — опять, — отвечал Фомичев.

— Как же это ты!?

— Помощью божию и нашего начальства.

— Откуда же товару столько взял? Из города?

— Нет, в городе дюже дорого, нам не по карману. В своем кооперативе по операциям пустили для оживления обороту.

— А почем торгуешь?

— На пять процентов дешевле, чем у них.

— Как так? Себе в убыток?

— Нет, убытку нету. У них очень накладные расходы велики и опять же операции эти. Они за зонтиками-то в Москву нарочного посылали, а мне к ним только через дорогу перейтить. Вот окрепну, тогда оптом у них и закуплю все. Всего-то мне, пожалуй, и не купить, — зонтики-то пущай при них остаются, нешто только в бесплатное приложение пустят, а вот насчет бы керосину и мануфактуры.

— Как дела идут? — спрашивали у Зубарева.

— Дела — ничего. Совсем с пустяковым дефицитом месяц кончаю.

— Как с дефицитом? Ведь товар-то продал весь?

— Весь до чиста. У меня не залежится. Только зонтики и задержались.

— Так где ж прибыль-то?

— Прибыли и не должно быть. Я на показательное веду, — отвечал Зубарев.

— Что на показательное?

— Да вот, чтобы другие пример брали, — отвечал Зубарев. — А что дефицит, так нешто без субсидии можно! Вот отпусти мне казна тысяч пятьдесят, вот я бы разделал! А то нешто можно с такими накладными расходами и без субсидии.

А через день он уже кричал на собрании:

— Граждане, поспешите с дополнительными взносами на предмет покрытия дефицита.

— О, чтоб тебя черти взяли!.. Ревизию надо! Взносы делаем, а керосину другую неделю нету.

— А, черти, об ревизии заговорили? — сказал тогда Зубарев, пряча в карман щеточку с зеркальцем: — я вам покажу ревизию. Не сумели оценить человека, а! Я б вам горизонты открыл, а вы, сиволапые, только об керосине думаете. Что вам дался этот керосин! Хамы! Керосин да керосин, прямо работать противно. И пойдите к чорту! Оборвали крылья, с самого начала оборвали! Все ночи не спал, думал горизонты открыть, а вы.. Что ж вам лучше Афонька-то был?! Он об деле на грош не думал, только гармошки свои чинил. Или Кубанов?.. Он одной антирелигиозной пропагандой вам все кишки наизнанку выворачивал. А я молчу. Нешто я не вижу, что вы все в церковь ходите и опять же иконы у вас висят? Ведь ничего не говорю. Как будто и не мое дело. А дело возьми! Где такие окна найдешь? В губернском городе, болван, — больше нигде. А я вам в деревенской лавке устроил. Цилиндр вам, ослам, выписал. Вы небось его сроду не видали. Так бы и подохли не видамши.

В лавку вошел обтерханный мужиченко с кнутовищем в руках, утер нос, осмотрел и сказал:

— Керосинцу так-то не будет?

Зубарев только молча плюнул и ничего сначала не ответил. Потом ткнул пальцем в дверь и сказал:

— Напротив керосин... через дорогу. А ревизией меня, брат, не запугаешь. Ежели вы самое святое у человека не могли оценить, тогда мне на все наплевать. Вам деньги дороже человека. Ну и чорт с вами. Когда ревизия?

— На будущей неделе в середу.

В среду должна была состояться ревизия, а в понедельник горел кооператив.

— Туда ему и дорога, — сказали мужики, — развязал руки. Это у кого деньги жировые, тем можно с жиру беситься — кооперацию устраивать.

. . .

— Да, видно не ко двору. В чем, братец ты мой, тут дело?

— Явление непонятное на все сто процентов.

„Мистер Бритлинг пьет чашу до дна" [1]).

(О новонапостовских упражнениях).

А. Воронский.

> Паду ли я стрелой пронзенный.
> Иль мимо пролетит она?..

I.

Сказание о напостовском граде несложно, кратко, но выразительно. Жили были эдакие постные и непреклонные люди, питались они акридами и диким медом, в рот хмельного не брали, на совет нечестивых не ходили и на путь грешных не вступали, маловерных и неверных обличали неустанно на всех площадях; там же, где нехватало трубного пророческого гласа, они, по показаниям достоверных и нелицеприятных свидетелей, били посильно стекла, ломали мрачно оконные рамы и бурно вышибали двери.

Шли дни и годы, исполнялись времена и сроки, и вот оказалось, что праведники — «сектанты-дезорганизаторы», «политиканы», «трескучие фразеры» и «злостные нарушители комколлективов». Хорошо. С поста они были незамедлительно сняты и раз'яснены по всем уставным положениям. Глада, мора и землетрясения по местам не произошло, но для управления паствой пришли иные люди. Не то им надоели акриды, не то опротивело им стоять на прежних постах, не то в одну ночь снизошло на них осенение — доподлинно это неизвестно, одно несомненно: люди эти, со всем пылом принявшиеся за искоренение пагубных свойств сектантов, были недавними братъями-единоверцами постных праведников, их вчерашними неразлучниками. Именно они сменили их, заняли город и стали на новом посту. Так возник новый град, именуемый теперь в отличие от прежнего «На литературном посту». Ладно.

Пока происходили великие освободительные войны с сектантами, маловерные стояли в стороне и со страхом ожидали, кто их будет приводить в истинную веру. Таков удел маловерных отныне и до века. «Что-то будет», шептали одни с надеждой и трепетом; «может быть, придет послабление какое», «каково-то будет новое начальство», «без начальства нельзя, пропадем, сгинем», «куда нам одним, поскорей бы, очень уж боязно» — говорили вторые, третьи, четвертые.

[1]) Так называется один из романов Уэллса.

Вожделенный миг, наконец, наступил: начальство пришло во грозе и буре. Опять исполнились времена и сроки, и уже раздаются смятенные голоса. «Хрен редьки не слаще», мрачно гудят одни; «не может быть, того ли мы ожидали», разочарованно вторят другие. Третьи качают головой; четвертые, что-то решив, настраиваются почему-то даже на веселый лад; пятые, выпучив глаза, смотрят обалдело друг на друга, шестые шмыгают предупредительно, покорно и заискивающе: начальство пришло; седьмые обнаруживают непокорство и исступленно твердят: ратуйте, крепитесь, не поддавайтесь.

К секте непокорных, но без исступления, сознаюсь открыто и всенародно, принадлежу и аз грешный. Да зачтется мне это мужественное заявление против Леопольда Авербаха и аггелов его. Почему я прошу посчитать это мое открытое заявление о непокорстве, как некую гражданскую доблесть? Слухи о моей воинственности и мужестве явно преувеличены. Больше года я сидел в бесте, и рот мой был полон камней, когда поносили меня даже Майские. Вот вам свидетельство пастушеских моих настроений. Правда, новый вождь, учитель жизни и властитель напостовских дум, он же Леопольд Авербах, вдохновенно наименовал меня Карфагеном, лишь из скромности умолчав о себе, что именно он — неподкупный Катон. Это прельстительно, помилуйте, вдруг вы сопричислены даже к древней истории. И все же я усумнился. Из грозовых филиппик Авербаха следует, что хотя я и Карфаген, но занимаюсь «сантиментальным пустословием», клевещу и потерял «всякое чутье и такт». Вызывает ли, читатели, в вашей памяти такое изобличение классические времена? Нет и нет. Не Карфаген я. Быть мне маловером. И пусть хоть я войду в историю как человек с некоторым мужеством, заявивший о своем непокорстве Леопольду Авербаху. Прошу об этом, обуреваемый темными предчувствиями.

Но если уж решаться — так решаться. И да будет позволено изложить основания, по каким я отказываюсь подчиняться мудрому и добродетельному Катону и сомневаюсь в новом начальстве.

II.

На стенах напостовского града в назидание, в поучение и в устрашение маловерных начертаны клятвенные обещание не посрамить земли советской, стоять на страже до конца. Словом, обитатели града мнят себя единственными охранителями в литературе славных и великих заветов.

Клятв и заверений сколько угодно.

Но давно уже сказано: не всякому слуху верь, ибо часто бывает — спереди блажен муж, а сзади вскую шаташеся. У Достоевского в «Бесах» есть место, в котором описано, как победные, героические, величественные звуки «Марсельезы» мало-по-малу переходят в пошленький мотивчик «mein lieber Augustin». Когда вникаешь в новонапостовский журнал, невольно вспоминается это место. Зачинается новонапостовская песнь в тонах грозных, бра-

журных, мощных, даже былинных, а кончается эдаким веселеньким, разухабистым канканом. Тут и упражненьице некоего Арго, и сатиры с намеками Романа, и сообщения, схожие со сплетнями. Дешево и сердито, в стиле приснопамятного — «Журнала Журналов», только глупей, грубей и бездарней. Не стесняются зато. В. Ермилов называет роман т. Барсукова «ресторанно-проститутской стряпней» и попутно доводит до сведения, что сей Барсуков получил из «Круга» «круглую сумму денег». Роман пишет шарж на Галчинского из «Желтой Стари» в таком стиле: приходит к Галчинскому писатель с завода, Галчинский спрашивает: «а вы, простите, не Бунин ли будете?.. Или, может быть, вы Куприн-с? Уж не Мережковский ли?» До чего ядовито! А Арго передразнивает Бабеля: «обо что вы думаете?» «Не мешай, я думаю об половую проблему». Совсем в духе сухаревских молодцов и торговок.

Трибуна и балаган, вещие пророчества и бульварные остроты и анекдотцы, идеологическая неприступность и неразборчивость, толки о повышении качества и угнетающее безвкусье. Прибавьте сюда развязность, безграничную самоуверенность, неряшливость и убогость языка, наивности школьников, смешайте все это, — получится не сладкое месиво, имя же ему «На литературном посту». Не спасают статьи ни А. В. Луначарского, ни Кольцова, ни других, построенные в иных планах, ибо лицо журнала определено и оформлено Авербахами, Арго, Ермиловым и Романами. И еще: как мелко и надсадно звучат эти слова о ленинизме на ряду с упражнениями людей, которые сводят счеты за то, что, по их же признанию, им возвращались рукописи. Черта примечательная и не случайная.

«На литературном посту» с Арго! Этого еще недоставало!

Нет, как хотите, я сомневаюсь в новом напостовском начальстве. Отрицаю.

III.

От «лица» перейдем к «нутру». Обратимся к современному Катону, собравшемуся разрушать Карфаген. Он — столп и утверждение истины. Заранее оговариваюсь. Мне понятна вся трудность и ответственность дела. Катон, он же Авербах, издавна известен непоколебимостью и несокрушимостью своих воззрений. Вот уже воистину — он камень, и никакие врата адовы не одолеют его. Положитесь на него, и он спасет вас. Это доказано.

И все же: дозвольте и здесь усумниться маловеру. Грозны обличения Катона, суров его вид, мужественен его голос, зорко его всевидящее недреманное око, крепка его длань, разителен удар, но зачем же, например, бестолково суетиться, зачем Катону фокусничать, зачем неподкупному обнаруживать излишнее проворство рук, зачем ему, сверхдобродетельному, валить на своего противника небыль, зачем выдумывать? Словно бы не пристало Катону заниматься мелкими и крупными передержками и подтасовками, а он занимается, и еще как!

«Куда на выдумки наш парень тароват!..»

Итак, что есть истина?!

По заверениям новонапостовского Катона Воронский (Карфаген) призывает писателей забросить политграмоту, т.-е. современный коммунизм и заняться «разложением внутри-атомной энергии». Странные советы в устах коммуниста. Но в чем же дело: давались ли они?

В статье «Чего у нас нет» говорилось, что нам грозит в литературе мелководье чувств и серая бытовщина. В противовес выдвигалось положение: «нам нужно побольше героического». Указывалось также, что нынешним писателям необходимо отказаться от бескрылого отобразительства и проникнуться трудовой, хозяйственной и культурной жизнью республики советов. А дальше утвержалось, что большинство наших молодых художников, и попутчиков, и пролетарских писателей, культурно невежественно и что им надобно стать в уровень с научными идеями нашего века. Похож ли этот строй мыслей на то, что получилось в изображении напостовского Катона? Не похож. Не содержится ли в указанной статье призыв изучать и «культур-грамоту» и политграмоту? Содержится. Не подменил ли Авербах выдержку из статьи передержкой? Подменил. Зачем и кому нужны эти передержки? Это знаете вы, Катон, лучше меня. Это ваша беда и ваше несчастье.

Вы утверждаете, что я издеваюсь «над требованиями 100%-й идеологической выдержанности». Издеваюсь, когда об этом толкуют люди, от них же вы, Авербах, первый, — которые путают передержку с выдержкой, литературный спор с литературным доносом, а критику с пасквилем. Издеваюсь, если вижу, что самоуверенно и самонадеянно начинают поучать люди, блуждающие промежду трех сосен. Вот вам наглядный и поучительный пример, взятый из вашего «На литературном посту». Есть в этом журнальчике статья тов. Юрия Либединского, известного стопроцентщика, — воспоминания о Есенине. Автор рассказывает, как Есенин, будучи в Париже, пришел в кафэ, где к нему подошел кельнер с русской дворянской фамилией. Есенин сказал ему: «А я, вот, рязанский мужик — Сергей Есенин, и ты мне служишь». Либединский прибавляет от себя: «утверждаю, что в нем очень глубока была демократическая жилка». Случай в парижском кафэ изложен не полно и не точно, но не в этом дело. Обратите внимание на другое: сидит в кафэ Есенин, наверное, в нетрезвом виде. Каков он был нетрезвый — известно. Перед ним один из «бывших» в качестве услужающей «шестерки». Есенин куражится, бахвалится и издевается, а в «На литературном посту», где все выдержано на 100%, это зовется «глубокой демократической жилкой». Людей вы не стыдитесь, можно ли писать подобные несуветные глупости? Вы доказываете, что можно.

В статье, которая привела прыткого Катона в новонапостовское неистовство, писалось, что у нас много внешнего, показного приспособления к коммунизму. Это приспособленчество, переходящее сплошь и рядом в халтуру и макулатуру, многие вострые юноши принимают за «выдержанность». По силе сказанного писателям рекомендовалось воодушевляться не через посредство литературных школ, группок и направлений, а приникнуть к живым родникам трудовой жизни. Вот в каком смысле «издевался» я над 100%-ми

Вы же, Катон, приписали мне мысль: плюйте на коммунизм и учитесь физике.

Передержка это или выдержка? Утверждаю: передержка. Вы — хитрый, Катон. Дай, мол, изобличу в измене коммунизму: авось сгоряча пройдет, особливо теперь, когда в жизни партии так много сложного. Вы не учли одного: на всякого мудреца довольно простоты.

Что же означают в таком контексте слова, мною написанные: «писателю нужно затосковать по большим всечеловеческим идеалам нашего века»? О чем идет речь? О коммунизме идет речь, и ни о чем ином. Являясь идеалом рабочего класса, современный коммунизм освобождает все человеческое общество, в этом смысле коммунизм всечеловечен. Зазорно раз'яснять эти общие места, но приходится, ибо, прочитав слово «общечеловеческий», вы, несравненный публицист, пришли, что называется, в раж: позвольте, это же надклассовая критика, надклассовая культура и т. д.! Вы усиленно напоминаете Михаила Ивановича у Глеба Успенского. Услыхав в трактире замечание, что микстуру надо мешать палкой, он принимался за яростные обличения: «палкой!.. Нет, пора бросить. Ноне она о двух концах стала. Пора шваркнуть ее, палку-то» и т. д. Впрочем, сравнение это в одном отношении для вас слишком лестно: Михаил Иванович был «отставной» рабочий, уволенный за бунты, к передержкам он не прибегал, клеветой не занимался, а вы — увы!

Наклеветав до отвалу, вы наговорили дальше немало громких слов о французской революции, о Термидоре и об исторических аналогиях.

«Они хочут образованность свою показать»...

Показывайте, но не изображайте меня предателем коммунизма в расчете, что вы вотрете кому-то очки. Нехорошо.

Перейдем, однако, к главному, ради чего собрался наш Катон разрушать Карфаген. Авербах возмущен, что я заключил в общие скобки н е к о т о р ы е литературные настроения. Это уже подлинная измена марксизму. Как же это? Где классовая дифференциация, где отражение ее в литературе?

Известно ли вам, несравненный Аника, что у каждого общественного строя, у каждой эпохи есть свой господствующий стиль. Об этом знал еще Ипполит Тэн. Почитайте — полезно. Этот «стиль» создается в быту, в нравах, в верованиях, в искусстве. Наша переходная от капитализма к социализму эпоха тоже имеет тенденцию установить свой господствующий стиль. В стране советов этот стиль еще далек от оформления, но кое в чем он уже сложился и продолжает складываться: Красная армия, советская общественность, октябрины, пионеры и т. д. — это уже наш «стиль», часто подчиняющий себе людей иных классовых прослоек: крестьянство, интеллигенцию, даже в иных случаях нэпманов, особенно их детей. Проникает этот стиль и в литературу. После заумного символизма мы в литературе переживаем своеобразный период ренессанса, пусть подчас весьма примитивного: реализм, языческое отношение к жизни и т. д. Эти черты свойственны и большинству попутчиков, и большинству пролетарских писателей. Мы — фламандцы в художественном слове и в живописи. В передовой нашего журнала, Катон, говорится о гряду-

щей культурной гегемонии пролетариата. Что это означает? Это означает, что в процессе нашего общественного бытия, несмотря на растущую из нэпа классовую расслойку, благодаря противоборствующим фактам и тенденциям в нашей хозяйственной жизни, мало-по-малу будет точнее оформляться в борьбе новый, наш господствующий стиль, которому будут подчиняться другие стили. Так ли это? Так. Сейчас в науке, в искусстве дело обстоит несколько иначе. Господствующего своего стиля пролетарские художники еще не создали. Не даром же вы твердите — учиться, учиться и учиться. С другой стороны, в силу своеобразного естественного и искусственного отбора у нас есть ряд так называемых попутчиков, более или менее органически спаянных с нашей советской действительностью. И у тех, и у других есть общие свойства, есть общие достоинства и недостатки, так как есть одинаковая бытовая обстановка, есть одна и та же научная и художественная культура прошлых веков. У Пильняка и у Артема Веселого, несмотря на все различия в их писательском облике, есть много схожего: восприятие революции, как стихии, язык, смещение плоскостей и т. д. Общее есть у Маяковского и Безыменского. Коммунистка Анна Караваева в «Берегах» трактует одну и ту же тему и очень сходно, что и Алексей Толстой в «Голубых городах». Стихи Асеева о желтом времени находят отклик в комсомольской и даже в партийной среде; поэзия Есенина созвучна и рабочему, и крестьянину, и интеллигенту, а вот Маркс «заражался» древне-греческим искусством, которое расцвело в обществе, основанном на рабском труде. В статье, за которую вы, Катон, собираетесь уничтожить Воронского, поставленная задача сводилась к тому, чтобы отметить, как некоторые, преимущественно упадочные, отрицательные условия нашего бытия отражаются и на попутчиках и на пролетарских художниках, вопреки их «классовой разнице». Методологически никаких преступлений против марксова метода в этом нет. Вы увидели тут «ниспровержение основ». Отчего это произошло? Оттого, что вы ведете допрос с явным и нехорошим пристрастием: вам нужно разрушить Карфаген. И еще оттого, что метод Маркса на практике вы опошлили до последнего предела. Орудуя этим якобы марксовым методом, вы способны изрекать только такие истины: Булгаков — черная сотня, Толстой — сменовеховец, Горький — люмпенпролетарий или пролетарий, Успенский — разночинец-народник и т. д. Вы не понимаете, что даже тогда, когда вы близки в своих определениях к истине, эти ваши истины убоги, убийственно плоски и тощи, как семь библейских коров. Немудрено, что каждое отступление от общих избитых мест кажется вам предательством.

Нет, покорства вам я не могу обнаружить. Если уж на то пошло — готов принимать и впредь ваши разящие удары: «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна».

За всем тем снова о передержках. Вы, о, Катон, приписываете мне такую мысль, якобы высказанную когда-то в «Доме Герцена»: «бросьте крики о буржуазной идеологии; у нас, в литературе-то, ни одного сменовеховца нет». Тут кое-что существенное тоже передернуто. Буржуазная идеология

у нас существует, но в силу охранительных и предупредительных мер в наше искусство в прямом виде она проникает сравнительно слабо. Гораздо опасней косвенное и непрямое отражение ее: халтура, макулатура, обывательщина, холодный и сомнительный об'ективизм и т. п. Открытых противников коммунизма у нас мало, но сплошь и рядом красным флагом прикрывается сомнительная стряпня, ибо флаг этот иногда служит защитным цветом. Это я говорил и буду говорить. Вы же приписали мне дикую и нелепую мысль.

Точка. Угнаться за непогрешимым Авербахом нет возможности. Спорить и прекословить с ним дело невеселое: подите и покопайтесь во всех этих извращениях.

Несколько слов о стиле, о языке статей непогрешимого. Корявый язык местами потрясающе неряшлив и безграмотен: «успешность начатой борьбы имеет своей предпосылкой понимание корней предмета атаки»... «когда рельсы пролетарской революции увозят нас от старого, когда идет борьба за рельсы»... «формула окажется характеризующей пустоту»... «придите к этим словам, как к итогу его жизни»; а в передовой, написанной вполне в духе авербаховских сочинений: «стать на плечи накопленного человеческого опыта», «просекает борьба» и т. д. Дорогой Катон, поучитесь, дабы успешность вашей борьбы имела своей предпосылкой понимание корней предмета атаки на рельсах, которые везут вас на борьбу за рельсы, в противном случае вы не станете на плечи накопленного опыта, и ваша формула окажется характеризующей пустоту.

Мы исследовали «нутро» новонапостовского града. Оно оказалось в полном соответствии с «лицом». Нет и нет. Не могу подчиниться. Не позволяют «плечи накопленного опыта».

IV

Почему об Авербахе и его сочинениях? Мелкотравчаты и убоги его наскоки, скучно рыться во всех этих измышлениях и благоглупостях. Но, во-первых, Авербахи — не случайность. Он — из молодых да ранний. Нам примелькались уже эти фигуры вострых, преуспевающих, всюду поспевающих, неугомонных юношей, самоуверенных и самонадеянных до самозабвения, ни в чем не сомневающихся, никогда не ошибающихся. Разумеется, они клянутся ленинизмом, разумеется, они на ноту никогда не отступают от тезисов. В нашей сложной, пестрой жизни их вострота подчас принимает поистине зловещий оттенок. Легкость и немудрость их багажа конкурируют с готовностью передернуть, исказить, сочинить, выдумать. Они уверены, что бумага все стерпит, оттого такая прыткость, развязность и нагловатость тона. Они метят в Катоны, но мы-то знаем, что в них больше от Хлестакова и Ноздрева. Одно они усвоили твердо: клевещи, от клеветы всегда что-нибудь да останется. Это во-первых.

Во-вторых. Как никак Авербахи говорят от имени пролетарской литературы. Не так давно была помещена заметка А. В. Луначарского, в которой

извещалось, что международное бюро пролетарских писателей организует совещание. Намечены доклады:

«1. Художественная литература, как орудие классовой борьбы — доклад тов. Клары Цеткин.

... 3. Пролетарская литература в СССР — доклад тов. Л. Авербах...».

Наш пострел везде поспел!

Клара Цеткин и Леопольд Авербах!!.

Не знаю, докладывал ли что-нибудь Авербах на совещании, но заранее уверен: если докладывал, то без Карфагена и прочих вещей дело не обошлось. И знаю твердо, о чем он умолчал. Он умолчал о том, что много криков о повышении качества литературной продукции и очень мало дела. Он умолчал о том, что погиб «Рабочий Журнал», что дышит на ладан орган Ваппа «Октябрь», что плохи дела «Молодой Гвардии», потому что велись они на редкость бесталанно и неряшливо. Он умолчал о том, что блок Авербахов с «Лефом», с конструктивистами — пуф, что распалась фактически и вышла из Ваппа «Кузница». Он умолчал о том, что благодаря склокам и мелкому политиканству целый ряд пролетарских писателей (из них много видных) фактически ушел из Ваппа и—что хуже и опасней — их никаким калачем не заманишь пока в группы и организации, ибо они переживают полосу сильнейшего разочарования в группировках, что разброд ширится и растет. Обо всем этом Авербахи молчат, предпочитая из-за кружковых соображений разрушать какие-то ими выдуманные карфагены.

Но это к слову. Факт остается фактом. Авербахи берут на себя смелость говорить от имени пролетарской литературы.

И, наконец, в-третьих. В журнальчике «На литературном посту» на ряду с Авербахами, Арго, Романами встречаются и нарком А. В. Луначарский, и Ольминский, и Кольцов. Пусть их статьи не схожи со стилем авербаховских сочинений, но их фамилиями прикрываются изделия этих юрких и прытких публицистов.

Вот почему приходится заниматься даже Авербахами.

—

Итак — Карфаген должен быть разрушен. Прямой Катон тут немного не договорил, хотя вывод и так ясен. О чем идет речь? В своем изобличении Авербах выражает, между прочим, удивление, как «столько лет ведущий первый журнал советского союза, как это редактор «Красной Нови» и т. д. не знает путей нашего художника...». Поняли, уважаемый. Готов пострадать, но с одним прошением, завещанием, или как хотите. Направляю его своему наркомату: я человек — организованный, хотя и маловер.

Анатолий Васильевич! Вы вхожи в напостовскую обитель и, как будто, даже свой там человек. Прошу об одном: грешен я, есть у меня грехи, есть (недавно растрогался даже на «Дяде Ване»), люблю жизнь и трудно расставаться душе моей с телом. Но, если суждено мне принять конец, то пусть он будет не от руки Авербаха. Не лестно мне умирать от него. Погибнуть на поле

брани в лобовых атаках тяжко, но почетно и — «есть упоение в бою», — но задохнуться от «литературных газов» Авербахов — да минет меня чаша сия.

Я — человек тихий. Пусть преуспевает Авербах, но позорного конца не хочу... А то я — хотя и тихий, но вспыльчивый, могу начать стекла бить. Душно от газов. Я жить хочу, дозвольте разбить стекла. Конечно, я никого не устрашу, но зачем же доводить тихих людей до непотребства?

А пока... «мистер Бритлинг пьет чашу до дна»...

Новая теория искусств.

Федоров-Давыдов.

I.

Известный историк искусства, крупный ученый в области византиноведения, Ф. И. Шмит, выпустил совсем недавно книгу под названием «Искусство», являющуюся плодом продолжительной работы научной мысли.

Задачей автора является создание единой общей теории всех искусств, которая вскрывала бы их основную сущность, их взаимоотношения между собою, значение искусства в общем развитии человечества и, наконец, те общие законы, по которым протекает историческая жизнь искусства. Задача, как видно, грандиозная.

В первой главе своей книги — «Предварительные об'яснения», носящей автобиографический характер, автор, излагая пути и перепутья своих исканий, попутно огулом осуждает все западно-европейское искусствознание. Это — буржуазная наука, ее методы обусловлены были характером тех фаз искусства — античное и новоевропейское искусство — которые долгое время составляли единственный предмет ее внимания. Но исследования последних десятилетий бесконечно расширили рамки материала, как территориально, так и эпохально. Старые методы и старое понимание искусства ныне становятся совсем непригодными. Доселе раз'единенные, отдельные виды искусства в своем изучении должны быть вновь воссоединены в общей теории искусства как такового.

Если откинуть то — несколько странное — для маститого ученого легкомыслие, с которым им отрицается преемственность развития научной мысли, и своеобразие его аргументации этого отрицания, входить в детали которого здесь не место, то нужно признать, что в принципе в его постановке вопроса есть большая доля истины. Значение для нас его книги вырастает оттого, что он, очевидно, стремится к тому, что является сейчас доминантой молодой искусствоведческой мысли. И ему и нам нужны новые методы изучения искусства, и ему и нам важно понять искусство в его общественной значимости.

Все это делает книгу Ф. И. Шмита чрезвычайно интересной и актуальной, но вместе с тем и подлежащей особо-серьезной критике. Автор совершенно прав, когда он просит всю силу критики направить не на

«частичные пробелы и ошибки, а на все построение в целом» (стр. 183). Действительно, теория Ф. И. Шмита такова, что ее нужно или целиком принять, или целиком отбросить.

II.

Рассматриваемая здесь его работа подлежит оценке и разбору в двух отношениях. Со стороны методов ее построения и со стороны фактической правильности ее положений. Поскольку автор книги не счел нужным определенно заявить о своем мировоззрении, но, наоборот, всячески его затушевал, постольку задачей критики является здесь вскрыть, насколько это мировоззрение в действительности соответствует исканиям нашего времени. Короче, каково отношение методологии Ф. И. Шмита к методологии марксизма?

Двусмысленность позиции автора совершенно очевидна из следующего его заявления: «...я рыл туннель с одного конца, а марксисты — теоретики искусства — с другого... и я и они одинаково заинтересованы в том, чтобы как можно лучше и добросовестнее выполнить свою работу; тогда мы, по необходимости, должны будем встретиться и пожать друг другу руки, тогда я получу право назваться марксистом» (стр. 10). Как видите, автор очень скромен. Но не есть ли эта скромность — очень выгодная позиция, при которой атаки марксистов должны разбиваться о заявление: «да я вовсе не марксист», а атаки «чистых» искусствоведов — о заявление: я рою туннель к марксизму; для меня не обязательны ваши положения»?

Что значит «рыть туннель с другого конца»? Под «концами» мы здесь совершенно явно должны подразумевать метод. Но что же это за противоположный метод? Если здесь термин «метод» употребляется в смысле «мировоззрение», то мы знаем, что марксизму «с другого конца» противостоит идеализм. Смеем думать, что с этого конца, сколько ни рой, никогда марксизму руки не подашь. Да и сам Ф. И. Шмит во всей своей книге стоит на позиции строгого материализма и весьма скептически отзывается об окружении искусства ореолом идеалистической «божественности» и таинственности.

Таким образом «рытья с разных концов» как будто не оказывается, и мы принуждены или признать, что теория Ф. И. Шмита есть марксистская теория искусства и автор лишь из скромности отказывается от «генеральского чина», или... что туннель автора никакого по существу отношения к марсистскому «туннелю» не имеет.

Окончательный ответ на этот вопрос может дать нам лишь последовательное рассмотрение всех построений нашего автора как с точки зрения исходного их пункта, так и с точки зрения их фактической правильности. Но прежде чем этим заняться, нам хотелось бы посмотреть, не найдем ли мы «другой конец» в самом характере материализма нашего автора, если не в плане методов, то в плане представления о той цели, ради которой «роется туннель». Чаемое марксистское искусствознание представляет Ф. И. Шмит не совсем так, как представлялось оно доселе «марксистам-теоретикам». Для

последних отличие марксистского искусствознания от не-марксистского было отличием не сфер интереса, но отличием подходов к одному и тому же. Иначе обстоит дело у Ф. И. Шмита. Социология искусства представляется ему лишь специфической дисциплиной в ряду других искусствоведческих дисциплин. Сфера ее интересов отлична не только от вопросов стиля, но даже и от «диалектики искусства». Он мог бы, правда, сослаться здесь на то, что и марксисты отличают социологический метод от социологии, как дисциплины. Но в таком случае под «социологией» понимается не что иное, как «теория истории» [1]), т.-е. как раз та самая диалектика, которая совершенно неправомерно выделена Ф. И. Шмитом из социологии и из стилистики. Последняя для марксиста есть не что иное, как теория смены стилей, т.-е. все та же диалектика, все та же социология. Для Шмита же «отдел, исследующий связь между переживанием и образами, называется социологией искусства» (стр. 61).

Если марксист и различает понятия «социологический метод» и «социология», то только в том смысле, что первое понятие шире второго. Если социология искусства может быть рассматриваема, как одна из дисциплин на-ряду, скажем, с эстетикой, атрибуционерством и т. п., то социологический метод должен пронизывать всю науку об искусстве в целом. Наш же автор считает возможным, построив всю теорию искусства без применения социологического метода, в конце в специальной главе подвести социологический фундамент под уже построенное здание. Для него социологическое истолкование есть лишь некое добавочное истолкование. Метод мышления — достаточно старый и по достоинству оцененный уже в марксистской полемической литературе.

III.

Исторический материализм есть материализм социологический. «Другим концом» при материалистическом подходе к явлениям общественности, как известно, является стремление истолковать их с точки зрения материализма биологического. По этому пути и пошел Ф. И. Шмит, взяв исходным пунктом для построения своей теории искусства физиологию человека и развертывая эволюцию искусства по аналогии с эволюцией животного организма. Схема его построений такова. Человеческий организм есть сложный конгломерат клеток. Отдельные совокупности этих клеток выполняют различные функции. В процессе борьбы за существование и прогресса человека как животного вида складывается его психика, основанная на реакциях на воздействия внешней среды. Образуется так наз. «порог сознания», в пределах которого память позволяет сохранять жизненный опыт, превращая таким образом рефлексы в различные представления или «образы»... Соответственно различным центрам мозга складываются образы моторные, оптические, акустические и т. д. В процессе борьбы за существование складываются человеческие

[1]) Так трактует термин «социология», напр., Н. Бухарин в своей «Теории исторического материализма».

общества, одной из основ которых является взаимная передача членами этих обществ своих переживаний и образов друг другу. Средством передачи этих образов и является искусство. Соответственно «образотворческим центрам» мозга искусства классифицируются на моторные, оптические и акустические, каковая классификация соответствует и их зависимости от времени и пространства. Развитие образов идет прогрессивно от первоначальных смутных и наиболее общих ко все более ясным и единичным. «В каждом образе его «об'ем», т.-е. количество слившихся впечатлений, обратно пропорционален его «содержанию», т.-е. количеству удержанных из подлинных впечатлений признаков» (стр. 62). Развитие образов по степени «об'ема» (от ∞ до 1), а следовательно, и по степени «содержания» (от 1 до ∞) может быть разбито на шесть фаз, которые и есть фазы искусства. Смена этих фаз есть «диалектика искусства».

Но «социальным и организационным формам свойственны те же стремления, как и биологическим (клеточным) организационным формам» (стр. 34). Поэтому шесть фаз искусства соответствуют шести фазам развития человечества от первобытного состояния к мировому коммунизму.

Схеме этой нельзя отказать в стройности. Но нетрудно заметить, что она построена на совершенно ложных основаниях. Исходным пунктом ее взята физиология человека, в процессе борьбы за существование видоизменяющаяся и совершенствующаяся. Определение искусства дается на основе этой физиологии, и фазы развития искусства есть не что иное, как фазы прогрессивного развития человеческой психики.

Нужно ли говорить, что этот биологический или физиологический подход к искусству диаметрально-противоположен подходу социологическому. Об этом писал еще Г. В. Плеханов в «Первом письме без адреса», и вновь доказывать это — значило бы повторять здесь его аргументацию. Для марксиста-социолога искусство есть факт общественности и должно быть рассматриваемо именно в этом плане. Никто не отрицает важности и необходимости исследования физиологии процесса художественного творчества и восприятия, но марксист-искусствовед склонен передать эти вопросы на рассмотрение специальных наук, и уже во всяком случае определение искусства и законы его эволюции не станет строить на этой почве.

Эстетическая способность для нас есть известная данность. Самая эволюция этой способности для искусствоведа-социолога может быть интересна лишь со стороны социальной своей обусловленности и в разрезе не биологической сущности этой эволюции, но социального ее проявления. Когда Ф. И. Шмит различные фазы искусства сводит к различиям в организованности и направленности моторных, слуховых, зрительных и т. п. способностей человека, то он не замечает, что об этих последних он судит по тем же произведениям искусства, которые он так обусловливает. Тот же «порочный круг» получается у него и при классификации искусств по «образотворческим центрам». Теория искусства только тогда может считаться научно построенной, когда в центре ее внимания стоит самый факт

искусства. Строить на иных основаниях, — значит прежде всего заниматься не искусством, а чем-то иным.

Методологическая беспомощность построения Ф. И. Шмита сразу же дает себя чувствовать при столкновении с первой же проблемой его теории. Это — определение искусства. Ф. И. Шмит дает его в следующем виде: «Искусство... есть повседневное бытовое условие и проявление всякой общественной жизни — и у животных и у людей» (стр. 36). Подходя к искусству не со стороны реальных его проявлений, но со стороны процесса творчества, Ф. И. Шмит совершенно естественно не видит никакой принципиальной разницы между художественным и нехудожественным образом. Тем самым добавочное определение «мышление образами» (стр. 40) теряет весь свой модальный спецификум, а тем самым и смысл своего существования как определения. Фактом искусства признается всякое вообще общение людей между собою; определение, так расширенное, перестает что бы то ни было определять.

Когда Ф. И. Шмит пишет, что «искусство профессионалов-художников от искусства не-художников отличается только количественно, а не качественно» (стр. 36), то поскольку под не-художником здесь понимается не занимающийся искусством дилетант, а все люди вообще, постольку нам совершенно ясно, что автор не понимает того факта, что вопрос искусства как раз и есть вопрос качества, явившегося результатом нарастания количества (интенсивности). Всякий образ (слово, понятие, знак) обладает известной изобразительностью, или, во всяком случае, когда-то обладал ею, но только степень этой изобразительности делает этот образ образом художественным. Ф. И. Шмит не видит никакой разницы между лгуном и актером. Ее действительно нельзя найти, вращаясь лишь в плане анализа процесса творчества, но она станет совершенно ясной, если из плана психологического перейти в план социологический. Всякая деятельность человека, даже самая ничтожная, есть творчество, поэтому безнадежно искать спецификум искусства именно здесь. Искусство определяется не механизмом своего производства, но социальной ролью его продуктов.

Также фактически-неверной и методологически-порочной является и предлагаемая Ф. И. Шмитом «классификация искусств». По мнению автора «всякая классификация художественных произведений должна быть основана на изучении творческого акта, на исследовании свойств образов» (стр. 40). Соответственно с этим под обычное деление искусств на пространственные, пространственно-временные и временные им подводится деление на искусства акустические, моторные и оптические. Каждое из этих искусств в свою очередь делится на изобразительное и неизобразительное.

Эта классификация построена по принципу не основных, а второстепенных признаков, никак не определяющих спецификум того или иного вида искусства и притом в совершенно различной мере обязательных для каждого из последних. Классификация, ничего не упорядочивая и никак особенно по-новому искусству не перегруппировывая, вместе с тем лишена обязательного для всякой классификации признака единства принципа. Упражнение

зрения безусловно необходимо для восприятия пространственных искусств, в то время как упражнение слуха вовсе не обязательно для восприятия литературы. Отнесение словесности (включая сюда и все виды литературы) в один раздел с музыкой с той лишь разницей, что первая изобразительна, а вторая не изобразительна — явное насилие над фактами искусства во имя первичных психо-физиологических их истоков. Видеть отличие танца от театра в неизобразительности первого — по меньшей мере странно. Понятия «изобразительное» и «неизобразительное» явно условны, так как выведены из анализа только живописи. Возможна неизобразительная по своим тенденциям литература (напр., стихи футуристов) и явно «изобразительная музыка (напр., Леонковалло и Пуччини). Первобытные танцы и даже многие из современных (так наз. «характерные») ни в коем случае нельзя считать «неизобразительными». Если же они неизобразительны, то точно так же «неизобразительны» и так наз. декадентские «драмы настроений», в которых фабула или сюжет совсем или почти совсем отсутствуют.

Классификация Ф. И. Шмита возможна лишь при полном пренебрежении к природе реальных произведений искусства. Это вполне естественно при понимании искусства как средства общения, т.-е. в конце концов как известной системы сигнализации. Всякий «образ» есть результат деятельности соответствующего «образотворческого центра» мозга, путем ассоциации связанный с представлением о работе тех или иных мускулов. Воспринимая произведение, мы мысленно проделываем эту работу в обратном порядке и осознаем тот или иной образ. Но здесь прежде всего следует сказать, что «образотворческие центры» Ф. И. Шмита, несмотря на всю кажущуюся научность их психо-физиологического обоснования, являются плодом чистой фантазии нашего автора. Это не что иное, как плохо переваренная теория рефлексологии Павлова с ее учением о концентрации нервных токов и дифференциации реакций. Биологическая теория, строго материалистическая в пределах биологии, используемая для об'яснения социальных явлений, всегда становится явно-идеалистической. Как известно, теория унаследованных сочетательных рефлексов при попытках об'яснить ею эволюцию человечества приводит к воскрешению «органической социологии» Г. Спенсера.

Став на тот же путь, Ф. И. Шмит совершенно естественно в своем изложении механизма передачи художественных образов от художника к публике воскрешает покоящуюся на «теории симпатии» Г. Спенсера и Рибо сугубо-идеалистическую теорию художественного восприятия как «внутреннего подражания» и «вчувствования». Это теория Р. Фишера, И. Фалькельта и Т. Липпса.

Свою схему классификации искусства Ф. И. Шмит развил детально лишь по отношению к пространственным или, по его терминологии, «оптическим» искусствам. Обращаясь к ним, мы видим, что и здесь различия между живописью, ваянием и зодчеством проведены совершенно неверно. «Живопись, суммируя одномерные (линейные) точечные суммы, становится двухмерной;

ваяние, суммируя двухмерные живописные образы, становится трехмерным; зодчество, суммируя трехмерные скульптурные образы, должно по аналогии быть признано искусством четырехмерного пространства» (стр. 52). Эта цитата чрезвычайно характерна, как показатель чисто спекулятивного образа мышления автора и его любви к плохо понятым аналогиям с логикой точных наук, в данном случае математики. Для него неважно, существует ли на самом деле «четырехмерное пространство». Оно логически должно быть, а если оно непредставимо, то автор в угоду своему построению готов утверждать, что архитектура до сих пор еще не вышла из своих зачаточных форм. Логически рост «пространственности» живописи, ваяния и зодчества требует, чтобы и исторически они шли в таком же порядке. Автором это и утверждается вопреки многочисленным фактам искусства, когда развитие скульптуры предшествовало развитию живописи (напр., у палеолита), а сама скульптура очень часто зарождалась из первоначально плоскостного декорирования поверхности стен архитектурного сооружения [1]).

Полагая, что скульптура с каждой из возможных на нее точек зрения представляется как плоский живописный образ, автор не замечает, что это утверждение пригодно лишь для известных исторических скульптурных стилей, но не для всей скульптуры вообще. Рельеф или прислоненная к стене полукруглая скульптура явно имеют, как и живопись, только одну точку зрения, не переставая оттого быть скульптурой. То же можно было бы сказать и относительно утверждения, что архитектура есть только сочетание скульптурных форм.

Здесь не место противопоставлять даваемому Ф. И. Шмитом определению родов пространственных искусств иные определения, основанные на анализе наших памятников этих искусств. Заметим лишь, что только совершенно иначе добытые определения помогут нам, не подменяя одного вида искусства другим, как это сделал наш автор в первой публикации своей «Классификации искусств» [2]), понять, почему в иные эпохи была возможна «живописная» скульптура, «скульптурная» живопись, «архитектоническая» скульптура и «скульптурная» архитектура.

Если мы под конец зададимся вопросом о том, из чего исходит автор при таком делении своих «оптических искусств», то, как и следует ожидать, источником окажется здесь физиология глаза. Его теория есть не что иное, как несколько иначе обоснованная старая теория А. Гильденбранда, («Проблема формы в изобразительном искусстве»). Теория эта — сугубо идеалистическая и совершенно ложная, как раз в физиологическом и психологическом отношениях, что было доказано рядом специалистов, в том числе и Э. Мейманом.

---

[1]) Так, например, строит эволюцию пластики от рельефа до круглой скульптуры Кон-Винер в своей «Теории стилей изящных искусств».

[2]) В журнале «Печать и Революция», 1924 г., кн. 3, статья «Живопись, ваяние и зодчество».

IV.

«Качественная классификация образов приводит к различению отдельных искусств; количественная классификация образов приводит к различению стилей» (стр. 61). Как обычно, и здесь, в вопросах стилистики, наш автор знать не хочет ни природы самих памятников искусства, ни социологической значимости и социальной обусловленности тех или иных стилей. Если в основу классификации искусств была положена физиология «образотворческих центров», то здесь в основу кладется природа образов, выражаемых тем или иным стилем. По данным рефлексологии строится чрезвычайно шаткая схема развития образов и понятий от первоначальных общих, смутных и суммарных ко все более четким, ясным и единичным. Этапы развития этих образов отмечены соответствующими культурами, каждая из которых имеет свой стиль. Постепенное развитие образов идет следующим путем: 1 — общие ритмические элементы, 2 — форма, 3 — композиция, 4 — движение, 5 — пространство и 6 — момент. Каждый из элементов представляет особую художественную проблему, под знаком которой проходит та или иная фаза в истории искусства, внутри которой основная проблема в свою очередь проходит все или почти все шесть стадий. Искусства всех времен и народов выстраиваются таким образом в одну общую линию прогресса искусства всего человечества. Получается шесть основных стилей: «ирреализм», «идеализм», «натурализм», «реализм», «иллюзионизм» и «импрессионализм». Каждый из них описывает известный круг, а все вместе образуют некую спираль, начало которой — в животном мире, а конец — в космосе. Эта спираль и есть «диалектика искусства», соответствующая общей диалектике жизни. Краткому фактическому изложению ее и посвящена глава «Диалектика развития искусства». За недостатком места мы должны ограничиться лишь самой общей ее оценкой, отметив в качестве примеров только некоторые особо вопиющие моменты этого укладывания фактов на прокрустово ложе схоластической схемы. Глава эта заключает в себе, конечно, много и совершенно правильных характеристик, но можно смело сказать, что при желании любая из этих характеристик могла бы быть заменена другой, так как каждая из них является произвольно выбранным и поставленным в качестве доминанты одним из моментов в развитии данного стиля. Самый принцип установления стилей является диаметрально-противоположным социологическому. В то время, как для социолога центральной проблемой является повторяемость стилей, соответствующая повторяемости общественных формаций, для Ф. И. Шмита стиль есть неповторимая фаза в обще-мировой эволюции искусства. Он, правда, оставляет себе здесь лазейку в утверждении, что каждый стиль внутри себя проходит все шесть стадий, но это утверждение только запутывает его схему, ни в какой мере не придавая изображаемой им эволюции искусства хотя бы видимости диалектической закономерности. Получаются какие-то дикие определения, как, например, «идеалистический натурализм», «иллюзионистический ирреализм» и т. п.

Возьмем фактические примеры. Согласно схеме искусство начинается с обще-ритмических элементов, т.-е. искусства неизобразительного, орнаментального по преимуществу, искусства ирреализма. Между тем и искусство палеолита, и искусство современных дикарей, стоящих на той же охотничьей стадии культуры, является как раз обратно искусством в высшей мере изобразительным. Живопись и резьба ориньякской эпохи палеолита, живопись бушменов, пластика эскимосов и т. д. — есть не что иное, как искусство импрессионизма. Наоборот, во втором цикле, характеризуемом якобы формой и обозначаемом как идеализм, мы найдем орнаментально-символическое искусство неолита, «геральдический стиль» Шумерской Месопотамии, крестьянское искусство средневековой Европы и т. п. Чтобы выпутаться из этих противоречий, Ф. И. Шмит и вносит в каждый стиль все шесть моментов. То же самое искусство палеолита об'является исключительно линейным, хотя в нем на ряду с линией большую роль играет и пятно, а в средне-маделенскую эпоху мы находим и моделировку. Поразительная по своей экспрессивности живопись эта об'является лишенной движения и т. д. Квалифицируя второй цикл проходящим под знаком формы, наш автор не замечает, что стилизация с функциональным подчеркиванием отдельных форм во вред общей изобразительности гораздо больше была свойственна палеолитическому искусству (так наз. «Венера из Виллендорфа»), чем, скажем, искусству додинастического Египта. Если совершенно справедливо, что искусство династического Египта проходит под знаком повествовательности, то совершенно произвольным является утверждение, что стремление к плоскостно-линейному развертыванию об'ема и пространства есть чисто композиционная проблема. Ту же самую «повествовательность» мы найдем в любом искусстве развитого феодализма, в западно-европейских миниатюрах молитвенников и в русской иконе, где эта повествовательность, как известно, продержалась до самого конца, а в XVI веке стала даже большей, чем в XV. Впрочем, русское искусство в схему Ф. И. Шмита не входит. Здесь он, враг «немецкой» науки, благополучно следует ее традициям — не включать русское искусство, как «неисторический стиль», в общую историю искусства.

Не менее произвольным является и утверждение, что основной проблемой античного искусства была проблема движения, а ново-европейского—проблема пространства. Насколько методологически неправильным является понимание стиля как искусства целой большой исторической эпохи или целого народа, со всей эволюцией этого искусства, можно судить хотя бы уже по тем общим наименованиям, которые этим стилям даются. Если верить Ф. И. Шмиту, то все искусство Ассиро-Вавилонии, Египта, Крита, Индии и Китая оказывается ни более ни менее, как натуралистическим, а искусство Европы, начиная с IV века — иллюзионистическим. Совершенно ясно, что или под этими терминами не скрывается никакого сколько-нибудь реального содержания, или что эти термины явно расходятся с целым рядом моментов в эволюции вышеуказанных эпох искусства.

V.

Построив чисто формалистически свою схему эволюции стилей, Ф. И. Шмит чувствует потребность обосновать ее социологически. «Kunstwollen» каждой эпохи должна оказаться обусловленной социально-экономически. И вот оказывается, что «шесть проблем» в искусстве «потому, что имеется шесть основных форм общественной организации» (стр. 177). Метод конструирования этих шести общественных организаций совершенно идентичен методу конструирования стилистики. Если там в основу было положено нарастание количества признаков в образах, то здесь в основу кладется «число об'единенных в коллектив разных порядков особей» (стр. 177). Образы располагались по количеству признаков от 1 до ∞, точно так же и общественные формации располагаются от 1 до ∞ об'единяемых ими индивидов. Шесть общественных формаций, вытянутых в одну линию прогресса, таковы: I — стадный быт; II — патриархально-родовой; III — кастовый (теократическое государство); IV — город-государство; V — империя (парламентский строй); VI — мировая коммуна. Что касается до принципа этой классификации, то мы полагаем, что современному читателю едва ли необходимо доказывать, что количественный принцип этой классификации Ф. И. Шмита не имеет ничего общего с марксистским принципом классификации общественных формаций по признаку состояния экономики. Что же касается характеристики и наименования тех или иных общественных формаций, которые, конечно, могут быть произведены на основе анализа их социально-политической структуры, то здесь надо сказать, что, сколь ни мало занимал социологов этот вопрос, все же у них уже выработалась своя терминология, также очень мало похожая на терминологию Ф. И. Шмита. Нам известна в марксистской литературе только одна попытка установить точное число последовательно сменяющих друг друга общественных формаций. Это попытка Н. Рожкова, насчитавшего, не считая эпохи пролетарских революций и эпохи коммунизма, девять периодов [1]).

Возвратимся, однако, к классификации Ф. И. Шмита. Каждая из этих его шести общественных формаций, как это было ранее со стилями, проходит внутри себя все шесть этапов, начиная с неорганизованных банд и кончая идеями о всемирном царстве. Здесь можно было бы также о многом спорить с нашим автором, но нам хочется задать ему только один вопрос. Если в первых периодах с «бандами» все обстоит благополучно, то по отношению к более поздним периодам должны ли мы считать такие, например, явления, как Вел. Франц. Революция, открывающая собою эпоху империализма, или пролетарские революции, открывающие эпоху мирового коммунизма, выступлениями «банд», а если нет, то как же быть с этой его схемой?

Впрочем, что касается до эпохи Вел. Франц. Революции, то здесь мы должны несколько оговориться. Судя по всему построению Ф. И. Шмита,

---

[1]) Н. Рожков, «Эволюция хозяйственных форм».

эпоха «империи» начинается ни более ни менее, как... в IV веке нашей эры. Историческое открытие, имеющее все права быть сопоставленным с определением индийского искусства как натурализма.

Но нашему автору кажется мало сопоставить эволюцию только искусства с эволюцией общественности. Стремясь создать некое новое «Miroir du monde» [1]), он об'являет, что шесть проблем характерны для эволюции «любой другой надстройки — права, религии, морали и т. д.» (стр. 182). Кратко намечаемая им эволюция религии с очевидностью вскрывает казуистический характер всех этих его построений. По схеме и в шестом цикле — «мировой коммуне» — должна быть своя религиозность. Но так как марксизм утверждает смерть религии, автором строится нижеследующий софизм. В разрезе религиозном задачей шестого цикла является «сделать бога настолько всеобщим и безличным, что утрачивается всякая надобность в представлении о божестве» (стр. 182). Что это: наивность или контрабандой протащенный пантеизм?

Помимо вышеочерченной схемы социальной эволюции человечества глава «Социология искусства» содержит в себе еще ряд параграфов, в которых более или менее правильно изложены некоторые основные положения марксистского искусствопонимания. Таковы, например, утверждения, что «искусство вовсе не простое проявление общественности — искусство есть организующий фактор общественности» (стр. 165), вопрос о связи искусства с экономикой, «закон диапазона», под которым надо, очевидно, понимать то, что называют «классовой апперцепцией» и некоторые иные. Не входя в детали развития этих положений, скажем лишь, что и здесь наш автор остается верным своему биологическому материализму. Так, например, излагая положение о смене господства классов на исторической арене, он базируется не столько на выяснении экономических причин возвышения или падения того или иного класса, сколько на аналогиях с рождением, ростом и умиранием живого организма. Это у него, пожалуй, здесь только способ изложения, но в общем контексте знаменательно, когда автор реакционные стремления отжившего, но еще господствующего класса излагает не как борьбу с новыми тенденциями социального развития, но как старческую усталость, как сознание, что данная историческая задача выполнена. Так, скажем, современная борьба буржуазии с подымающимся пролетариатом рисуется у него не как реальная борьба за господство над миром, не как стремление буржуазии сохранить свое богатство и могущество, но скорее как рознь отцов и детей.

Мало-уточненными и в данном своем виде представляющимися очень спорными кажутся нам установление прямой зависимости между прогрессом техники и ростом искусства и закон о «перемещении художественных центров». Относительно первого из них Маркс, как известно, высказывался совсем иначе [2]).

---

[1]) Сочинение, написанное в XVII веке Винцентом-де-Бове по поручению Людовика Святого и ставшее энциклопедией для позднего средневековья.

[2]) См. его «Введение к критике политической экономии».

Но характерной для всей этой главы является ее полнейшая несвязанность со всеми остальными частями книги. Ни одно из высказываемых в этой главе положений не находит себе никаких подтверждений ни в классификации, ни в стилистике, ни в диалектике. Говоря, например, о «законе диапазона», о «перемещении художественных центров» или о зависимости искусства от экономики, Ф. И. Шмит нигде в предыдущих главах, а в том числе и в «исторической» V главе о «диалектике развития искусства», не дал ни одного примера фактического проявления этих законов. Таким образом эти последние являются не обещанным обобщением фактов, но голыми теоретическими утверждениями, которые к тому же и сам читатель никак не сможет связать с фактами искусства, излагаемыми в исторической части книги. В конце концов даже и там, где формально построенная эволюция стилей обусловливается общественной эволюцией, между этими рядами явлений не намечено никаких реальных фактических связей. В лучшем случае — это параллельные ряды явлений.

В самом деле, что можно умозаключить из такого, например, сопоставления: проблема формы — идеализм — патриархальный строй — династический Египет? Здесь не показано, хотя бы в самой грубой форме, почему именно патриархальный строй выдвигал проблему формы и как ее фактическое разрешение в искусстве было обусловлено техникой и социальными потребностями. А это-то и должно быть задачей марксистского исследования истории искусства.

Почему мы любим Есенина.

(Этюд).

Федор Жиц.

При очевидной легкости — разобраться в Есенине чрезвычайно трудно.

Отмычками формального анализа не вскрыть причины обаяния и мужественного воздействия его стихов. Ритмы несложны, рифма редко блещет новизной, композиция есенинских стихов так же зыбка и растрепана, как ранний сноп есенинских волос; нередко не увязаны меж собою не только строфы, но строфа сама в себе грешит порою логической непоследовательностью, смысловым разрывом. Один из наиболее сильных элементов есенинской поэзии — образ — и тот не всегда оригинален и бесспорен.

Много недостатков можно найти в Есенине и со стороны внутренней: Есенин не революционен, темы его очерчены малым кругом, и все их содержание исчерпывается без конца повторяющимся пейзажем, воспоминанием детства, кабацкой удалью и редкой нежностью к человеку; его мировоззрение — психика «смешного дуралея», ненавидящего «стальную конницу» прогресса, его политические убеждения — смесь индивидуалистического анархизма и беспомощного пессимизма.

Но все эти недостатки оказались каким-то образом или на втором плане или совершенно исчезли из поля зрения читателя, а на виду — восторженная любовь к Есенину, с которой не может сравняться популярность ни одного из современных художников слова. Огромному большинству читателей Есенин много ближе виднейших наших поэтов, бесспорно революционных, бесспорно здоровых и жизнерадостных, закованных в броню всяческой бесспорной оригинальности.

Друг Есенина — беспаспортный интеллигент, рабфаковец, большой партиец. — Всем он нужен, дорог, близок.

В чем же дело? Где секрет этого прочного и шумного успеха? Я полагаю, что сущность его заключается в трагичности наиболее зрелых есенинских вещей.

Совершенно неоснователен критический трафарет, утверждающий, что Есенин свирельный поэт русских полей с голубиной душою в ржаных кудрях и чистых лапоточках, что «хулиганство» Есенина, его буйство, его

ятежная ругань и боль — биографическая описка, в которой повинны какие-о богемные типы. Здесь нет и крохотной доли чуткой и смелой правды. Подлинный центральный Есенин — это создатель «Исповеди хулигана», Москвы кабацкой», «Любви хулигана», «Руси советской», а не автор «Радуницы», «Сельского часослова», «Преображения». Что касается «Голубеня» и «Трерядницы», то эти книги, при всей их самостоятельной художественной значимости, — лесенка, по которой Есенин спускается с небесной мансарды Саваофа в сводчатые подвалы Москвы кабацкой. Считаю нужным при этом заметить, что я далек от мысли, подобно некоторым нашим критикам, подгонять скрипку к футляру. — Ничего из Есенина вычеркивать не собираюсь и не намерен уложить поэта на прокрустово ложе какой бы то ни было предвзятой формулы. — В Есенине на всех ступенях его творческой лестницы много пленительной мощи и нет нужды резкой чертой разграничить его книги, связанные меж собою органической преемственностью. Но не все нотки богатого оттенками есенинского голоса одинаково заражают. Есенин волнующий, захватывающий — это Есенин бунта, боли и неудовлетворенности, а не Есенин созерцания, кротости и утверждения.

Введены были в заблуждение критики, впрочем, самим Есениным, юношей писавшим:

> Пойду в скуфейке, светлый инок,
> Степной тропой к монастырям;
> Сухой кошель из хворостинок
> Повешу за плечи к кудрям...
> С улыбкой радостного счастья
> Иду в другие берега,
> Вкусив бесплотного причастья,
> Молясь на копны и стога.

В этом автопортрете — миговая правда снимка верхом на слонах в жаркой Африке кочующего туриста. Церковное умиление — не стихия Есенина, хотя под его кадильным запахом написано много ранних произведений поэта. Ладаном курится почти вся «Радуница», и в этом ее слабость. Что ни строчка — отражение чужого влияния. Отсюда, вероятно, и церковно-славянская стилизация «Марфы-Посадницы» и пресная плоскостность пейзажа:

> Не ветры осыпают пущи,
> Не листопад златит холмы,
> С голубизны незримой кущи
> Струятся звездные псалмы...

Несколько неожиданных подлинно есенинских метафор и эпитетов («Осень, рыжая кобыла, чешет гриву», «Слышен синий лязг ее подков» и др.), отдельные стихотворения из цикла «Русь» лишь слегка нарушают спокойное перелистывание первой церковной книги Есенина и золотыми нитями связываются с дальнейшими достижениями поэта. Как Есенин церковного созерцания жизни, неубедителен и Есенин утвержде-

ния. «Сельский часослов» — эта окропленная Христом современность — единственная «большевистская» книжка Есенина, где бойким хрестоматийным ритмом и вычурным, бездушным языком поэт «приял» революцию:

Небо, как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик.

— —

Ради вселенского
Братства людей,
Радуюсь песней я
Смерти твоей...

О, Родина,
Мое русское поле,
И вы, сыновья ее,
Остановившие
На частоколе
Луну и солнце,—
Хвалите Бога.
В мужичьих яслях
Родилось пламя
К миру всего мира.
Новый Назарет
Перед вами.
Уж славят пастыри
Его утро.
Свет за горами...

И в «Сельском часослове», как видим, не нащупать пульс большого Есенина. Буйный и зыбкий — он здесь схематически разграфлен, поднят на случайную для него высоту революционного оптимизма и бесполой риторики. Не потому ли, что мотивы этой книги чужды Есенину, поэт не включал произведений из «Сельского часослова» в неоднократно переиздававшиеся сборники его стихов?!

Родные, близкие нам нотки есенинской поэзии явственнее доносятся до нервов из «Преображения». Пусть толкутся здесь представители небесного синклита — и Мати Пречистая Дева, и Христос, и Апостол Андрей, и Петр, и Симон, — подрясник «светлого инока» начинает теснить разбойные плечи поэта, и сквозь церковное смирение проклевывается «озорство» и смятенность *нашего* Есенина:

... Протянусь до незримого города,
Млечный прокушу покров.
Даже Богу я выщиплю бороду
Оскалом моих зубов.

———

Ухвачу его за гриву белую
И скажу ему голосом вьюг:
— Я иным тебя, Господи, сделаю,
Чтобы зрел мой словесный луг.

Ощущая прилив непривычного буйства, поэт пытается смирить крепнущие мускулы страсти:

> Песни, песни, о чем вы кричите?
> Иль вам больше нечего дать?
> Голубого покоя нити
> Я учусь в мои кудри вплетать.
>
> ———
>
> Я хочу быть тихим и строгим.
> Я молчанью у звезды учусь...

Но плотина прорвана и трудно удержать поток, окрашенный ненавистью к «железному веку» культуры. — Намечается переход к основному лейтмотиву зрелой творческой полосы Есенина:

> И тебе говорю, Америка,—
> Отколотая половина земли,—
> Страшись по морям безверия
> Железные пускать корабли.
>
> ———
>
> Не оттягивай чугунной радугой
> Нив и гранитом рек.
> Только водью свободной Ладоги
> Просверлит бытие человек.
>
> ———
>
> Не вбивай руками синими
> В пустошь потолок небес:
> Не построить шляпками гвоздными
> Сиянье далеких звезд...

Если несколькими годами позже Есенин узнает, что напрасна попытка рыжего жеребенка обогнать бегущий на чугунных лапах поезд — здесь, в период «Преображения», поэт верит в чудо перерождения мира, в возврат его к первичной простоте:

> О, верю, верю: счастье есть.
> Еще и солнце не погасло.
> Заря молитвенником красным
> Пророчит благостную весть.
> О, верю, верю: счастье есть.

Но в е р а оказалась кратковременной в поэзии Есенина.

Ею он не согрел себя, не убедил читателя, и в «Голубени» он уже переходит к мотивам прощания с окружающим. На строчках его стихов появляются росинки слез последнего свидания, трепет тяготения поэта за черту жизни — в Нирвану. И читатель настораживается: трагедийный акт в мироощущении поэта уж начался, хотя книга и называется г о л у б е н ь ю. Отзвуки церковности «Радуницы» и «Преображения» доносятся еще и сюда: в «Октоихе» разговор с Богом, Пречистой Девой и «евангельская» тяжеловесность лексики:

... Восстань, прозри и вижди:
Не осказуем рок.
Кто все живит и зиждит,
Тот знает час и срок.

Но этот разговор официален и не долог. Гораздо больше слов в книге простых, нежных и понятных. Человеческих, а не божественных. За исключением трех-четырех стихотворений, проникнутых случайным оптимизмом все содержание «Голубени» — осеннее, закатное. Замечательно при этом, что стихи положительного свойства значительно слабее по живописи произведений блеклых настроений. «Алый мрак», «Тучи с ожереба» и «Гляну в поле» — наименее убедительные страницы «Голубени».

Не имеют под собою почвы искания основного нерва есенинской поэзии в превосходных зарисовках бревенчатой Руси. Безупречными мастерами этого жанра являются и Клюев, и Клычков, и Орешин. И в об'ективном, стороннем пейзаже Есенин, пожалуй, не превосходит их мастерством. Пусть он более образен, имажинистичен. Но какое дело читателю, широкому массовому читателю, с чем сравнит поэт луну — с ковригою ли хлеба или теленком, пасущимся в зеленых лугах?! Смаковать эту поэтическую деталь — дело кабинетное, дело специалистов и гурманов. Но вот чем резко отличается от своих попутчиков Есенин: — на ветках его поэзии проступает кровь поэта, трагический пафос человека. И здесь Есенин одинок и неповторим в нашей современной поэзии. От «Голубени» и дальше, до рокового конца, усиливается трагедийность тематики и тона. Некая расплывчатость и двусмысленность слова, привитые Есенину символистами и церковниками, уступают место обнаженной боли, бьющей читателя без промаха прямо в сердце. «Трерядницей» заканчивается перегруженность Есенина пышной ошеломляющей образностью. Лирика его приобретает пушкинскую простоту и непреложность, и кульминационным пунктом поэта надо считать произведения 1920 — 1924 г.г., вошедшие в Круговские «Стихи». С переходом к скупой простоте образа совпадает переход поэта от иносказания, от выражения своих настроений через пейзаж к личному местоимению, от формулы «Россия», «Русь», «Родина» к трепещущей автобиографичности. До этого томика «Стихов» поражает в произведениях Есенина отсутствие человека, конкретного адресата, которым испещрен, например, весь почти Пушкин. Основной мотив лирики — любовь и ее ответвления — радость одержанной победы, боль неразделенного чувства, ревность измены и утраты — коснулся поэзии Есенина до этой Круговской книжечки как-то случайно, мельком, небрежно, словно поэт шагает по земле легкой, бесплотной поступью.

Но если так, — откуда же брались поэтом на своей палитре такие живые волнующие краски для всего того, что окружает человека — для трав, лесов, степных просторов, для животных и обобщающих вселенских формул? Ответ ясен: Есенин любил мир за исключением человека, и лишь через его тень и отражение он с ним и о нем разговаривал. «Некто», «кто-то незримый» — вот его близкие, родные существа.

Но нет Ивана, Петра, Мани, Тани и др. Этой отчужденности своей от человека поэт не скрывает и в обращении ко зверям Есенин восклицает:

> Сестры-суки и братья-кобели,
> Я, как вы, у людей в загоне...
> Никуда не пойду с людьми,
> Лучше вместе издохнуть с вами,
> Чем с любимой поднять земли
> В сумасшедшего ближнего камень.

Отсюда же и необычайное оживление природы в устах Есенина; замена человека неодушевленным растительным царством:

> Хороша ты, о, белая гладь!
> Греет кровь мою легкий мороз.
> Так и хочется к телу прижать
> Обнаженные груди берез.

> О, лесная, дремучая муть,
> О, веселье оснеженных нив!
> Так и хочется руки сомкнуть
> Над древесными бедрами ив.

Ключи от этого одиночества поэта напрасно искать в биографии Есенина, как в кошельке монету. Биология, эпоха, влияние среды переплелись здесь в тайный узел, которому суждено, вероятно, остаться кровавым знаком вопроса для всякого исследователя Есенина, которого больше интересует острота поставленных проблем, чем хрестоматийная простота ответов. Но во всяком случае из этой трагической трещины струится багровый свет поэзии Есенина, волнующий и приковывающий внимание. Этим-то пламенем и охвачена лучшая книга поэта — «Стихи». Перед нами человек во всей своей внутренней наготе. И что же? Кроме *боли, бунта* и *смятения* — н и ч е г о. Ни одного радостного просвета, если не считать таковым минуты тихой покорности року:

> Не жалею, не зову, не плачу,
> Все пройдет, как с белых яблонь дым...

Мне пришлось однажды видеть на охоте жуткое дыханье охотничьей сумки: в ней шуршали крылья не метко убитого вальдшнепа. Вот этой шуршащей сумкой и кажется мне творчество Есенина последнего, наиболее зрелого периода. Стихи этой последней полосы вобрали в себя все лучшее, что было в поэте: остроту ощущения природы, бунт против городской культуры, одиночество и затравленность среди людей, сердце, сочащееся кровавой нежностью к погубленной своей молодости, тоскливой и безутешной любовью к нищей родине и скорбной матери, сознанием своей отсталости от века и гордой выпрямленностью:

> ... Отдам всю душу октябрю и маю,
> Но только лиры милой не отдам...

И все эти мотивы на фоне вещего предчувствия ранней смерти, сторожившей поэта с первых почти лет его деятельности. Мне могут сказать:

но разве все перечисленное — не явления упадочности, которым не место в наши бодрые революционные дни и с которыми надо решительно бороться?

На это возражаю: за бодрые настроения жизни и искусства голосую обеими руками. Но в то же время... мне всей душою хочется оставить место в искусстве для мотивов трагедийных. Потому что основные источники его бьют из боли и неудовлетворенности, а не из радости и сытости. Поэты — вестники вечных и беспокойных исканий человечества, и подлинное искусство чаще — отклонение от жизненной нормы, чем положительное иллюстрирование действительности. Мотивы мятежной боли различны, но художник по природе своей бунтарь, «оппозиционер». В век машин поэт воспевает колымагу, в младенческие дни народов он возносит железобетон. В то время, когда Германия охвачена была лозунгом: «Deutschland über Alles», возникла индивидуалистическая философия (больше похожая на поэзию) Макса Штирнера, в хмурое средневековье, Бокаччио писал свои легкомысленные и веселые новеллы, весь Байрон, весь Гейне выросли на распрях с самими собой, своей средой, своим временем. Нет почти ни одного большого поэта, за которым не тянулся бы в его создания кровавый след от его биографии. Это не значит, однако, что трагедийные мотивы искусства заражают жизнь пессимизмом. По закону обратного отражения, которым руководствуется часто искусство, боль рождает энергию борьбы и мужества, диссонирующие нотки поэта помогают отыскать среднюю равнодействующую меж мечтой и фактом бытия, меж сложностью и простотой.

Помните начало «Анны Карениной»:

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»?

Перефразированное, это толстовское определение вполне пригодно и для искусства: болезненные процессы, в нем отображенные, глубже, содержательнее и разнообразнее мотивов довольства и сытости. У счастливого человека нет своего места в искусстве. Его биография скучна и неинтересна для читателя.

В нашей современной поэзии много краснощекой молодости, много обывательского самодовольства, но нет трагедийной зрелости. И поэтому она мало любопытна. Есенин — единственная трагическая фигура в нашем сегодняшнем искусстве. И за боль и кровь его поэзии так прикованно любим мы его.

Человечество по природе своей бережливо, скупо и не расположено к страданиям, но в искусстве оно любит мотовство и удаль, людей бесстрашно шагающих по проволоке над пропастью и истекающих страданием.

Поэзия для Есенина не была «трюком», «приемом» — стихами он горел — жутким и прекрасным факелом из стихов и жизни.

Вот почему все мы с ним, с Есениным, а не со стальными соловьями, бездушно имитирующими разные голоса эпохи, волнение творчества заменившими формальным и бездушным порядком.

Разоружение человека.

С. Пакентрейгер.

Национальные литературы потерпели крах задолго до войны. Их не-
›торые, и далеко не последние, представители разрисовывали художествен-
›й кистью не только ворота империализма, но иногда и вывески отдельных
питалистических фирм. Их преклонение перед штабами армий было пря-
ым продолжением их преклонения перед промышленными синдикатами или
гдельными промышленными королями.

1914 год был годом всеобщей и окончательной капитуляции националь-
ых литератур — они стали нарумяненными прислужницами войны. Отдель-
ые художники, сохранившие ясность и зоркость творческой мысли, были
глушены и обезврежены воинственной ратью социальных отразителей всех
циональных мастей.

Национальные литературы оглохли, ослепли, лишились голоса. Они
знали, где назревает человек будущего, во что он верует, чем живет, на
о надеялся, кому думает вверить свое руководство. А он медленно назре-
л в траншеях, в боях, в лазаретах и госпиталях, на снарядных, газовых и
шечных заводах. Он назревал не только под пеплом городов и соборов, под
пл[illegible] старой материальной цивилизации, но и под пеплом сгоравших в войне,
[illegible]стианских, пацифистских, патриотических, гуманитарных идей и идеоло-
й. Назревал человек, в котором война зажгла великий социалистический
зум, в котором война породила новые социальные эмоции и надежды.

Сказалось ли это перевооружение массового человека новым великим
знанием в литературе? Откликнулись ли они на социалистическое пере-
ждение и рождение человека?

Появилось несколько новых имен, сделавших — одни удачные, другие
удачные — попытки рассказать о том, что траншейное человечество стало
стигать и понимать войну, как единый, насильственный, капиталистиче-
ий синдикат смерти, что сознание человека усиленно забилось над вопро-
ми иной организации жизни, что в социальной памяти его воскресли: пуля,
азившая Жореса, каторжная тачка, к которой приковали Либкнехта, го-
ния на циммервальдских и кинтальских соратников Ленина. Появились
тернациональные одиночки, пытавшиеся рассказать об идейном и эмоцио-
льном перевооружении человека.

Барбюсс раньше других показал, как в мировой капиталистической фабрике смерти, именуемой войной, взводы солдат превращаются в бригады рабочих, методически занимающихся убийством и самоубийством, как у станка войны происходит перерождение империалистического солдата в солдата революции. Страницы, где он изображает, как ночью после уборки трупов в одном из цехов войны над французскими траншеями, перед смертельно уставшей бригадой вырастает образ немца Карла Либкнехта, образ человека, проповедывавшего перемену прицела, останутся документами очевидца рождения нового, массового, активного-социалистического человека.

Об этом рождении и перевооружении с меньшей убедительностью рассказало и несколько других очевидцев, и в том числе рядовой солдат Раймонд Лефевр в «Губке с уксусом».

К числу таких же очевидцев относится и Рене Аркос, который в «Злых годах» рисует последний интимный вечер среди друзей перед уходом на фронт журналистов, поэтов, преподавателей и художников. Они ищут оправдания, они ищут примирения, они копаются в национально-буржуазных воспоминаниях. Но вот тщедушный человек «бледный, как отварная рыба» прерывает их малодушную идиллию и напоминает, правда, с патетическим преувеличением, о Жоресе.

И дальше Рене Аркос шаг за шагом развертывает картину того, как вспышка интернациональной совести угашается войной, как индивидуальность журналиста оголяется, обеспложивается, как разлагается в ней разум и воля и как она превращается в механическую рекламу, бросающую патриотические идеи в ночную гущу войны.

Нет необходимости перечислять всех интернациональных одиночек, появившихся в литературе во Франции, в Германии и в других странах. Достаточно отметить тенденцию, ворвавшуюся в литературу, но не создавшую интернационального потока.

Литературные и художественные достоинства этих одиночек часто переоценивались друзьями, но это была переоценка об'ективно плодотворная. Она диктовалась надеждами, взрощенными умом, энергией и кровью, потраченной массовым человеком на отвоевание плацдарма у истории для будущего общества, в котором каждая индивидуальность сумеет осуществить свою производительную — общественную, интеллектуальную и физическую — стоимость.

Новый человек, рождение и развитие которого шло под знаком наступательного социализма, потерпел за рубежом временное поражение, и вместе с ним терпит поражение интернациональная литература.

Воскресли ли, однако, национально-буржуазные литературы? Проявляют ли они признаки под'ема? Несут ли они что-нибудь новое человеку нашей эпохи? Стоит остановиться на нескольких более или менее симптоматических зарубежных произведениях, чтобы убедиться, что в них окончательно умер реальный человек, что они не дают ни одной мощной реальной идеи для вооружения общественного человека.

Разоружение — идейное и эмоциональное — проходит через все новейшие зарубежные произведения, какую бы область жизни они ни затрагивали. Все внимание фиксировано на человеческой индивидуальности. Она рисуется вне всякого социального родства, оторванной от классов, от партий, от организаций, обилие которых является самым характерным для нашей эпохи, обилие которых создает фон или то, что можно называть стилем нашей эпохи.

В одних случаях индивидуальность представлена гипертрофированной, чудовищно раздутой. В других обнажается ее прострация, ее смерть. В-третьих, ее пытаются оживить путем умножения на механические случайные человеческие множества. И, наконец, ее часто облекают в шкуру животных и человекообразных. Человекообразные — тема, которая чаще всего варьировалась за последнее время в зарубежной литературе.

Замкнувшись в узкий круг, автоматически повторяющегося, буржуазного уклада, зарубежные художники пропустили историю минувшего десятилетия. Точно не было войны, ни рурской инквизиции, ни ноябрьской трагедии немецкого пролетариата, ни русского октября, ни схваток английских горнорабочих, схваток, в которых вспыхивало пламя гражданской войны, погашенное «черной пятницей», точно не было крушения организаций Второго Интернационала, «глубокого версальского мира», превратившегося в «войну после войны» дауэсовской перестановки государств, не было возникновения организаций Третьего Интернационала, крахов и под'емов, точно не было общественных судорог, бурь и затиший. Точно ничего этого не было.

Роллан сказал как-то, что есть люди, которые с определенного возраста повторяют самих себя до самой смерти. То же самое следует сказать и о многих из нынешних зарубежных художниках. Они находятся в таком возрасте, когда все ухищрения их и изощрения сводятся к самокопированию и к самопародированию. Только в редких случаях они выскакивают из рокового закона автоматизма. С большой охотой пишут об обезьянах, о волках, о собаках, о лошадях, о муравьях, а человека либо прячут в шкуру перечисленных животных, либо наряжают в химерические и фантастические одежды далекого прошлого. Производят патриотов, копирующих испанских грандов. Изготовляют автоматических солдат, варьируют любовные треугольники и многоугольники, обнажают плоть и душу героинь на реставрированных бульварах, создают опереточные колониальные страны — каналы для отвода пацифистских вздохов и слез, порой симулируют, вульгаризируют, опошляют идеи и образы больших художников.

Нам в русском переводе эти новейшие произведения преподносятся в большинстве случаев с широковещательными предисловиями, в которых обязательно фигурирует коэффициент поправки на советский вкус, на советскую идеологию. Зарубежную литературу иные не в меру популяризируют, особенно ее мастерство, ее композиционные преимущества, обходя арсенал ее антисоциальных внушений.

Для примера возьмем новейший роман Стриблинга, которого автор предисловия рекомендует, как «восходящую звезду на английском небосклоне». В этом же предисловии к русскому изданию романа Стриблинга «Генерал Фомбомбо» утверждается, что автор «неподражаемо остроумен», и без всякой тени иронии подчеркивается, что книга эта отчасти напоминает юмористическую эпопею О. Генри «Короли и капуста». Но с первой же страницы романа вы убеждаетесь, что роман Стриблинга в такой же мере напоминает роман О. Генри, в какой полет индюка напоминает полет аэроплана.

У О. Генри было остро отточенное оружие против некоторых сторон социального идиотизма буржуазного уклада. Не будет погрешностью против Маркса, а тем более против О. Генри, если сказать, что буржуазное общество не делится на классы безо всякого остатка. А в этих остатках с особой силой конденсируются карикатурные и злые стороны буржуазного уклада. Остаток этот образуют текучие промежуточные прослойки. С одной стороны, это группы, обслуживающие командующие круги, стремящиеся ко всем привилегиям этого командования. Они подражают или пытаются подражать жизни верхних десяти тысяч. Это, так сказать, обезьяны данного общественного уклада, вольные и невольные. Но есть и другие остатки. Это социальные отбросы — аферисты, взломщики, воры, жулики. Они тоже своеобразно копируют и пародируют нравы верхних десяти тысяч. Это волки, отвергаемые общественным укладом, ибо они сами отвергают его самым фактом своего существования и своих профессий.

Вот этих людей-подражателей, этих людей-копий и изображает в большинство своих работ О. Генри и в том числе в «Королях и капусте». В «Королях и капусте» Генри развернул фильму жизни карликовой республики Анчурии (которая не существует вовсе) с подставными президентами, подставными адмиралами, с подставными сыщиками и авантюристами, часто вербуемыми Анчурией за пределами своих границ. Он дает комический экран государства-пародии, людей-пародий и предоставляет читателю возможность догадываться и судить самому об оригиналах.

Это ирония — острая, едкая, отточенная, — интеллектуального одиночки, направленная против закона социального подражания, который в буржуазном обществе с упрощенной силой механизирует человеческую психику.

Стриблинг с благонамеренным убожеством авантюрного романиста и поддельным позерством человека, предполагающего в себе запасы неистощимой иронии, пытается тоже посмеяться. Над чем? Он избрал Венецуэлу — страну авантюрных революций и непрерывной смены военных диктаторов. Генерал Фомбомбо — один из таких диктаторов — должен предстать, как собирательный тип, как нарицательное имя авантюриста власти. Из романа с нудной и скучной повторяемостью выпирает фигура американского коммивояжера, из которого автор тщится создать карикатуру на миссионеров американского капитала, для чего он начиняет коммивояжера атавистическим благородством средневекового рыцаря. По воле одной из американских фирм, он направляет его в Венецуэлу для продажи оружия. Коммивояжер по всем

)афаретным законам трафаретных романов влюбляется в жену диктатора 'омбомбо, загораясь желанием вырвать ее из тисков изувера, в которых на задыхается вместе с населением. Он встает на защиту отдельных предавителей порабощенного населения, которые от этой защиты страдают двойне. Его вдвойне и втройне используют фомбомбисты и их противники. од конец торжествует и амераканская торговля, и политические авантюисты, и благодушие симулирующего художественное творчество автора, преодносимого русскому читателю, как «восходящая звезда».

Такие художественные симуляции плывут к нам в обильном количестве. 'та фомбомбистская литература берет напрокат опереточных людей вне вропейского континента, ибо она не дышала исторической атмосферой, коорая за истекшее десятилетие то раскалялась, то охлаждалась, то насыщаась и разряжалась и еще будет разряжаться смертельными политическими хватками массового человека.

Было отмечено, что некоторым писателям удается выскочить из ро:ового круга литературной и идейной инерции. Это, однако, покупается не ,еной приобщения в жизни своего общества, не ценой реставрации его стоиюсти, а ценой равнодушного обличения или бесплодной, хотя подчас и ядоитой, насмешки.

В этом смысле почти символической становится небольшая, невзыска'ельная в смысле художественных достоинств, но весьма симптоматичная ювесть Жеро Жермона «Петух». Можно было бы принять эту повесть, как эстроумный фельетон о вырождении мужского населения во Франции, если бы автор не показал, как раньше правительственная, а затем экономическая машина страны подхватывает случайное явление, чтобы включить его в общую систему эксплоатации.

С равнодушием человека обреченного Жермон сколачивает фантастический гроб, куда укладывает плутовато-жизнерадостных депутатов, государственная мудрость которых не простирается дальше той мысли, что француз должен превратиться в хорошо оплачиваемого чиновника, мэров с благочестивыми инстинктами содержателей притонов, ловких министров, политические души которых являются соединительными каналами между кассой государства и кассой частных промышленников. Но и самого гражданина, из которого все эти депутаты и мэры как из воска лепят—общественного производителя, Жермон не в переносном, а в буквальном смысле заставляет лечь в гроб, ибо когда в гражданине-петухе просыпаются свои индивидуальные желания, он уже не в силах их осуществить. Человек в этой повести низведен до степени элементарного скота. «Петух» символизирует полную смерть общественного человека в буржуазном обществе. До чего безнадежна должна быть жизнь этого общества, в котором ее художникам приходит мысль изобразить человека в качестве общественного самца, оплодотворяющего петуха, племенного быка, используемого для физического возрождения нации, ее политических вождей изобразить защитниками станции рационального деторождения, ее промышленных деятелей — создателями синдикатов станций добро-

вольного оплодотворения, эксплоатируемых по принципу конноза водств.

Призрак опустошенного, ничего не приобретшего, ничем не вооружившегося человека преследует и тревожит воображение и более значительных и устоявшихся художников. Эта тревожная проблема фигурирует и у такого искушенного, незнавшего уныния, певца индустриальной мощи человека, как Уэллс. Он не впервые подходит к изображению буржуазного мира. Он не раз его реформировал и исправлял. Даже господа бога Уэллс исправлял и реформировал на свой лад. Герберт Уэллс всегда планировал и строил. Он всегда пророчески фантазировал. Он — индустриальный и социальный сказочник. Это он в своем романе «Повесть о человечестве», вышедшем до войны, набросал на большом полотне всемирную империалистическую схватку и революцию, которая должна притти за ней. В этой повести революция начинается в России, преследует цели мирового преобразования, и окончательного освобождения человека. Ее возглавляет русский революционер Каронин, планирующий создание всемирных соединенных штатов. Правда, резиденцию свою Каронин утверждает на Гималаях, откуда льется религиозный свет (без бога не до порога) его социально-революционного нравоучения. Но чего не разрешается фантазерам и сказочникам? После войны Уэллс выступил не только в роли сказочника, но и в роли проповедника и пророка, в роли социального Моисея. В «Спасении цивилизации» он с ревностью и пафосом бичует грехи современных народов, катящихся в пропасть. Самое страшное, что угрожает цивилизации — таящаяся в ее недрах опасность войны. «Смертельные дары продолжают прибывать, следующая хорошо организованная война будет значительно разрушительней, истребление будет итти быстрее и захватывать шире, главным образом гражданское население. Армии уже не будут подвизаться вдоль по дорогам, а вытянутся в одну линию в сопровождении тяжелых танков, вскапывающих поверхность всей страны, по которой армия будет проходить». Уэллс рисует потрясающие последствия войны, когда «обескровленное человечество легко может погибнуть от столкновения» с каким-нибудь осмелевшим антагонистом из мира животных или стать жертвой эпидемии, охватившей весь мир. Таково «вероятное будущее человечество», если оно не сумеет пересмотреть свои социальные и политические воззрения.

Единственный выход из положения — это создание единого мирового государства, проект которого Уэллс набрасывает в своей книге. Но самое любопытное — это та пророческая наивность, с которой ставится вопрос об осуществлении этого проекта в жизнь человеком. Для последнего нужно создать и написать «библию цивилизации», которая должна заменить старый и новый завет. Библией следует сцементировать расшатавшуюся связь между людьми

Библия регламентирует невозделанное поле правил поведения, моральную чашу прав, обязанностей в пределах собственности. Уэллс очень подробно останавливается над тем, что должны делать газеты и школы для ее пропаган-

і, чтобы духовно вооружить ею человека, который от войны и революции ничего не выиграл, ибо «война и революция — как утверждает Уэллс в своей последующей книге «Краткая история мира» — ничего не создают. Их высшая заслута перед человечеством заключается в том, что они очень грубым и болезненными путем уничтожают все то, что стало пережитком и ненужной помехой».

Как же обстоит дело с человеком после войн и революций? Может быть крайние фланги вооружились «библией цивилизации» и примирились, чтобы освободить человеческую индивидуальность от всех видов рабства?

Насмешливый оптимист, воздававший хвалу техническим и социальным переворотам, Уэллс в новом романе «Отец Христины-Альберты» и ставит вопрос: что же стало с человеком после потрясения нашей эпохи. То, что он искал раньше в области технической и социальной, то он сейчас ищет в душе человека. Что стало с индивидуальностью? Она расширилась, обогатилась, получила свободу? Воплотились ли в жизнь сказочные стремления цивилизованного человека? Роман этих реальных воплощений не дает, но констатирует, что в душе человеческой сказочные стремления не умерли. Уэллс уже не воздает им хвалы. С прежним юмором он посмеивается над этими стремлениями, одушевлявшими его технических и социальных реформаторов. Но он хочет сказать, что катастрофы нашей эпохи все же не прошли даром для человека и его психики. Произошло всеобщее заражение жаждой власти, во всяком случае той власти, которая по праву должна принадлежать каждому человеку. Человек должен быть владыкой мира. К этому привела его цивилизация. И вместе с тем она предоставила ему только несколько аршин земли где-нибудь за верстаком, у станка ли в прачечной, откуда он выхватил своего нового героя. Индивидуальность должна найти для себя простор. Если она не находит его в войнах и революциях, умственных и социальных, то она найдет его в прорыве нормальной психологии, в сумасшествии.

В своем новом романе Уэллс отыскал в каменных щелях Лондона какую-то пылинку, ничтожество, обезличенное существо, человека, «ненавидевшего реализм во всех его формах», романтика и фантазера, живущего в «эпоху сера Артура Конан-Дойля, широкого развития радио-концертов и первых членов палаты лордов от рабочего правительства», начитавшегося книжек о погибших странах — некоего мистера Примби, владельца прачечной. У Примби ворочались большие предчувствия и большие идеи. Ему всегда казалось, что он когда-то жил. Один спиритический сеанс открыл ему глаза на себя и судьбы человечества. Ему стало ясно, что он воскрес в нынешнюю эпоху, как царь царей Саргон, чтобы спасти себя и погибающих людей. Он начинает осуществлять свои идеи в бешено-трезвом Лондоне. Он созывает своих учеников с улицы. Но мир отвергает его, и его заточают в убежище для умалишенных. Его спасает приключенческого типа революционер. Примби выходит из убежища сраженным с запоздалым убеждением, что «человек, не участвующий в политической жизни страны, уподобляется крысе, живущей в трюме корабля».

По праву любого романиста Уэллс сводит Примби в могилу, ибо, тревожившая художника, задача о роли человеческой индивидуальности в современном механическом аду показана. Каков же смысл сей басни о примбизме и саргонизме! Он раскрывается в словах Христины-Альберты, которая по нарочитому замыслу романиста является сомнительной дочерью Примби: «Когда папа уверял, что он владыка мира, он и хотел быть владыкой мира. Он вовсе не хотел сливаться с другими людьми или быть слитым с ними. Превратившись в Саргона, он оставался самим собой не меньше, чем когда был Альбертом-Эдуардом Примби. Даже больше. И по моему также обстоит дело с каждым из нас».

Надо утверждать свою личность, что и собирается делать: Христина-Альберта, несмотря на неудачную попытку ее сомнительного во всех отношениях отца.

Что же произошло в художественном мире? Он в роковом противоречии с реальной действительностью и никак из него выбраться не может. Он сосредоточил свое внимание на человеческой личности и не может определить ей место в современной жизни. Даже «животная» и «человекообразная» литература в конечном счете трактует вопрос о безысходном положении личности.

В этом обильном потоке «животной» литературы выделяется роман Оливера Кервуда «Казан», в котором автор всеми доступными ему изобразительными средствами оттесняет на задний план человеческое общество и воспроизводит индивидуальную и общественную жизнь зверей. Роман обжигает свежестью ледяных арктических ветров, в царстве которых живет Казан, — на одну четверть собака, на три четверти волк. Казан исполнен страхом перед цивилизацией, которая для него олицетворяется в дубинке человека. Он бежит от цивилизующей дубинки. Его манят обратно воспоминания и соблазны одной случайной нежности, сделавшей его счастливым. Он «балансирует» между призывами цивилизации и призывами далеких предков, побеждает в себе собаку, вступает в единоборство с людьми, с животными, со стихиями, с космосом, и идет великими и жестокими путями жизни, которую не путают и не угнетают ни дома, ни улицы, ни вещи, ни люди, ни машины, ни дубинки. Весь цикл его жизни слит со стихиями могучими, радостными и страшными.

Художник обольщен снегами, водами, ветрами, зверем и человеком в той мере, в какой он сливается с этим зверем, а зверь со всем космосом.

Какие же выводы напрашиваются в результате этого краткого обзора наиболее симптоматичных зарубежных произведений?

Зарубежные художники отвернулись или не знают, или не видят, где искать человека заката и человека восхода.

Художественные их документы свидетельствуют об опустошении и растерянности.

Большие и малые художественные вещи органических эпох шли под знаком наступательных или оборонительных идей своего класса. Еще неза-

долго до войны национально-буржуазные литературы бросали вызовы — ярые и злобные — социализму и освободительному движению пролетариата. А сейчас эти литературы ни с кем не сражаются и ничего не защищают, не видят врага и не знают друга. И это в эпоху, когда решается судьба социализма и капитализма!

Хочется закончить передачей местами остроумной книги Хеллера, написанной в духе авантюрного фельетона: «Безумный в эту ночь». В ней изображается сошедший с ума — в день об'явления войны — миллиардер. Он вырывается на волю через шесть лет. То, что он видит, что ему рассказывают, с чем он сталкивается, приводит его к мысли, что сумасшедшим все это время был не он, а мир. После потрясающих событий он застает мир таким же, каким он был накануне войны. Он бежит опять за золотом — единственным неугасимым солнцем буржуазии.

Если бы по фантастической случайности в городе, над которым занимается серый трезвый день, забыли потушить все уличные, витринные, экранные, пестрые электрические фонари, то оба света — серый свет дня и яркий свет электричества — казались бы призрачными. Но еще более призрачными казались бы мчащиеся улицы, и дома, и люди, и животные. Вот в таком двойном призрачном свете и выступает человек в изображении современной зарубежной литературы: он или гол, или спятил с ума, или обезьяноподобен, или похож на опереточную куклу, или ищет простора для своей избесилившейся индивидуальности.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«Перевал». Сб. IV. Изд. «Круг». М.—Л. 1926. 176 стр.

IV-я книга «Перевала» приятна уже тем, что в ней нет и следа «плановости» и стандартизации. Отказ от предвзятого, ненастоящего связывает в одно целое, прежде всего, критические статьи «перевальцев». Ник. Зарудин в своем «Музее восковых фигур» (о «Комиссарах» Либединского) горячо и убежденно восклицает: «Надо стремиться со всей любовью и преданностью, чтобы наш читатель усвоил тот запах трав неясный, то пламя подземное, что услышит первым в своем времени поэт и художник. Надо желать этого безгранично, — ибо подземное пламя эпохи не коснется восковых щек сомнительного искусства», и в другом месте: «На воздух! скорее из затхлой атмосферы кружковщины, схематизма, чванства и заносчивости!». Борис Губер в статье «О быте и нравах советского Передонова» также горячо протестует против «принудительных ассортиментов фальсифицированного искусства, приводящих нас к передоновщине». И такие настроения для перевальцев не случайны. Этими настроениями, в значительной мере, определилась формировка всей группы, ее позиция на литературном фронте. В юбилейном очерке «К двухлетию Перевала» В. Наседкин вспоминает, как в 1923 году произошел разлад между «Октябрем» и участниками патронируемой им «Молодой Гвардии», — группой поэтов, которые «не могли работать и думать по казенным шаблонам, выработанным для них наставниками». Разлад этот и послужил первым толчком к организации «Перевала».

Но литературный центр тяжести «Перевала» не в критике, а в художественном творчестве. В первом отделе сборника помещено несколько рассказов—Ветрова, Губера, Барсукова, Смирнова и Жеребцова. Приятно уже то, что все эти рассказы сюжетны: бессюжетная, какая-то бескостная проза успела наскучить. В этом отделе чувствуется и работа над языком, и внимание к образу.

Отдел открывается повестью Владимира Ветрова «Батрачка» — о бабьей одинокой судьбе, о тоске голодной бабьей крови, о душных ночах — лицом в подушку, о свиданиях с хозяином Родионом Петровичем, о простых и страшных признаках будущего ребенка, о неожиданном письме из Китая от пропавшего без вести мужа, о тайных родах на навозной куче под взвизгивающие вдалеке частушки под переборы гармони, о вскрике ребенка, придушенного в каком-то зверином, тупом ужасе. Тема не новая, есть много общего в ситуации с «Батрачкой» Мопассана («Histoire d'une fille de ferme»), но Ветров умеет быть самостоятельным в изображении, умеет схватить и по-своему закрепить в образе некоторые детали. Однако, если в образах своих он и свободен от того «голого бытовизма», от которого так решительно отталкивается вся вскормившая его литературная группа, — то его, зато, можно упрекнуть в столь же «голом» натурализме: некоторые зарисованные им картины кажутся объяснительной иллюстрацией к какому-нибудь популярному медицинскому учебнику, — так много в них педантичной наглядности.

Б. Губер выступает в художественной части сборника с повестью «Новое и Жеребцы». «Новое» — революция, нелепые и бурные мужицкие сходы, путаные и неграмотные резолюции о помещичьей земле, об инвентаре живом и мертвом. «Жеребцы» — название барского именья, где доживает свои дни престарелая поме-

ница Анна Аполлоновна Таубе, куда рискакал с фронта ее сын Алексей Иванович — в офицерской шинели без погон, с белым бинтом, прикрывающим не оевую рану, а безобразную ссадину т русского солдатского чайника. Хорошо, что автор не идет по линии наименьшего сопротивления, а, повернув привычную тему другим боком, беззлобно просто повествует об изгнании старушки з ее полузаброшенного, пропахшего ылью и старинными духами барского ома. Непоправимая омертвелость и икчемность таких людей сильнее и убедительней ощущается в спокойном повествовании, чем в ретивом улюлюканьи.

«Жестокие рассказы» М. Барсукова — несколько эпизодов из детской жизни, нечто вроде воспоминаний. Повидимому, тказ от непосредственной передачи нутренних переживаний, стремление изобразить внутреннее при помощи внешнего, осознанный и последовательно проводимый прием автора. В применении к «детским» темам «Жестоких рассказов» прием этот, вообще богатый художественными возможностями, предоставляет еще одну особую возможность — избежать столь частого в литературе подделывания под «детскость», пресного сюсюканья. Однако пристрастие к внешним симптомам иногда заставляет автора терять чувство перспективы, смещать наблюдательный пункт, этот самый большой недостаток М. Барсукова: «Я поворачиваю к нему глаза, черные от луны», говорит он, — но заметить, что глаза мальчика черны от луны, мог только сторонний наблюдатель, а не сам мальчик.

Весело и смешно, местами очень остроумно написан рассказ Александра Смирнова «Тулуп», — вернее, первая часть, где мужики, не разобрав мудреного слова приказа, поголовно записываются в «паразиты», в чаянии всяческих льгот и послаблений. Вторая часть лишь очень слабо и внешне связана с первой, лишена ее комедийной напряженности, — лучше бы ее совсем отбросить.

«Боксер Моринэ» П. Жеребцова — очень «сюжетная» вещь, умело скомпанованная, но автор подчас обнаруживает большее знакомство с техникой бокса, чем с человеческой психологией: негр, недавно лишь привезенный из Африки, дикарь, впервые попавший в цивилизованную страну, нарочно проигрывает матч своему сопернику и, не умея даже читать, неожиданно цитирует благородных романтических героев: «Мистер Кольберн, вы победили! Этого для вас достаточно! Я бы мог убить Вас одним ударом. Но я оставляю Вашу жизнь для мисс Уольтерс, которую я люблю. Ее счастье — мое счастье».

Из стихов хорошо «Зимнее небо» Наседкина, в духе тютчевских (пожалуй, только слишком длинно), и «Московская застольная» Ник. Зарудина.

В интересном отделе «По большакам и проселкам» есть, к сожалению, элементы совсем ненужной, фальшивой советской идиллии: у «Путешественника» (кстати сказать, хорошо владеющего словом) председатели сельсовета, пожилые, степенные мужики с кудреватыми бородами, слишком уж благостно мечтают «о постройке детских ясель, о ремонте школ и ветеринарного участка»; политпросветчик (непременно «с бледным, выразительным лицом») только и делает, что смотрит на золотящееся гумно или любовно оглядывает скудные книжные полки. — «Значит, поработаем. Ведь в стране — уро-жай»... Много ненастоящего в очерке Акульшина «Дадим» — в этих крестьянах, умиленно слушающих, под проливным дождем, о бедствиях республики и дружным хором отвечающих: «Поможем!». Зато правдиво и трезво, с большим юмором, без благонамеренных прикрас написан другой его очерк «Острастка» — о взыскании продналога. Здесь чувствуется настоящий Акульшин.

IV сборник «Перевала» конкретней и убедительней говорит об итогах работы, чем статья-отчет Наседкина. Убеждаешься в том, что за эти два года, действительно, группой проделана большая работа. Правда, и сейчас далеко не для всех «перевальцев» миновала пора ученичества, многое еще не доработано. Но есть самое главное: «установка» на подлинную литературу и серьезная работа над собой. И нет скверного — литературной казенщины.

Валентина Дынник.

«Недра». Литературно-художественные сборники. Книга 9. Изд-ство «Недра». М. 1926 г. Стр. 267.

В современной художественной литературе почти не использован наиболее интересный момент нашего прошлого — революционное подполье. Повесть Н. Ляшко «С отарою», которой открывается очередной сборник «Недр», относится к вещам частично заполняющим этот пробел.

Материал, разработанный в повести, охватывает канун 1905 г. Тема — путь молодого рабочего от неумелых пропагандистских вылазок к выдержанной работе революционера-профессионала. Провал героя, от лица которого ведется рассказ, бегство его в другой город, работа над собой в кружках и за книгою и, наконец, посылка его на железную дорогу для самостоятельного руководства рабочими линейного депо, — вот этапы повести. Главная тяжесть повествования лежит на последнем этапе: предварительным перипетиям уделено всего две главы из пятнадцати.

Мы на протяжении $^{3}/_{4}$ всей вещи видим глухую степную станцию, где можно легально жить, не имея никаких документов (кстати, непонятно, почему организация, давая нашему герою ответственное поручение, не снабдила его паспортом), и где единственными непосредственными врагами служат урядник и сонный станционный жандарм.

Конечно, в плане отображения первых революционных попыток и глухой угол может остановить на себе внимание писателя, а на рабочих даже самого захудалого депо можно перенести крупные художественные обобщения. Но у автора ценных обобщений нет, особенности же станции, которую он избрал местом действия, лишают повесть той героической окраски, какую мы вправе ожидать от вещи, посвященной подполью.

Лишенная романтичности и построенная на несложной фабуле, повесть все же читается с интересом. Причины этого кроются в несомненной писательской опытности Ляшко и в его умении, подобно Гамсуну, заинтересовать читателя мелочами— незначительными событиями, деталями быта и т. д.

Не совсем удачен главный герой, в конечном итоге, своей безукоризненной добродетельностью и своей страстью морализировать вслух действующий на читателя неприятно. Особенно сильно чувствуется это в сцене с женщиной у костра.

Остальные люди много живей. Характерны эскизно набросанные рабочие — деповцы Артем, Пахомов, Авдеенко. Запоминаются татарин, пастух Егор и его старики — подпаски. Самой же законченной, яркой и сильной является фигура Пантелея, богатого мужика, хозяина большой отары овец. В нем нет тех «обязательных» черт, при помощи которых создаются штампованные кулаки и богатеи, но тем не менее воспринимается он именно как богатей и кулак.

Александр Яковлев в рассказе «Дикой» проявляет прекрасное знание леса, лесных людей, быта скитов и караулок. К сожалению, он не сумел достаточно хорошо оформить свои познания. Значительная часть данного в рассказе быта вовсе не вправлена в сюжет и кажется лишней. Весь же рассказ отличается несоразмерностью частей и небрежностью композиции.

В первых главах есть несколько интересных положений, обещающих крутосюжетное состояние рассказа,— но автор не умеет ими воспользоваться. Так, напр., говорится, что отца Дикого — лесника — убили порубщики и что тот, умирая, назвал имя своего убийцы, как бы завещая сыну месть... Ни имя это, ни самый факт убийства в дальнейшем не упоминаются. Такой же ложной завязкой служит и женитьба Дикого, обставленная всякими трудностями. Улаживает женитьбу игуменья скита, при чем она предварительно берет с Дикого обещание исполнять все ее просьбы... Ни о каких просьбах в дальнейшем опять-таки нет и речи.

Женитьба сама по себе тоже создает напряженную ситуацию: Настасья, богатая невеста, рассчитывающая на лучшего жениха, против воли попадает в нищую сторожку. Но напрасно ждет читатель каких-либо сложных, трагических вариаций (на что есть намеки) этого эксперимента.

В результате недостаточное оформление ·бит богатый материал и на протяжении ıссказа неоднократно разочаровывает ıтателя. Ни мастерское изображение ıархии, воцарившейся в лесу в первые ıı революции, ни отдельные удачные ıртины (охота, пожар) — не могут извиıть Яковлеву этого читательского разочаованния.

Рядом с давно знакомыми именами яшко и Яковлева, в сборнике есть еще етье свежее имя — В. Светозарова, редставленного рассказом «Три стены».

Рассказ этот, написанный под сильным лиянием Горького, обнаруживает несоненное дарование, над которым, правда, ужно еще очень и очень много работать. .сли отдельные персонажи рассказа не эвсем удачны, то это зависит именно от олодости и неопытности автора, замысел :е их *показа* совсем недурен. Неурно задуман и весь рассказ — засоренный подробностями современного «босяцого», «Ермаковского» быта, но не наголько, чтобы под сором окончательно крылась поставленная в рассказе серьзная проблема.

Недоработанность, неумелость и наивость Светозарова особенно сильно скаываются в его языке. Часто попадаются розаизмы вроде «изменялась передо мной *ействительность*», «завлеченый высоким *местопребывание м*», «*абсолютная* тишина» ли такие обороты: «я просунул в него в окно) *заднюю* (?) *изящную олювину корпуса*». И если транно звучит «я... протянул *нижние онечности*», то совсем уж непонятно выражение «я вернул его за *нижние конечности* *проз-дежды*».

Отдельные слова употреблены в таких :омбинациях, что кажется, будто автору ıеизвестно их значение. Например, *ло-.ыжки* у него *шаркают*, в друом месте герой *поднимается на ıодыжки*, холка — змеей *вьется ıниз*, дома и вагоны — *квадратıые*... С этими оборотами перемешаны ı очень, порою, удачные эпитеты и слово·очетания («сварливый дождь», «ржавая ıортянка», «комолый нос», «краснолицые ‹ак осиновые грибы» и др.), изобличающие умение автора многое показать *по-своему*. В этом залог хороших результатов, которых Светозаров со временем может добиться.

В отделе стихов помещены Владимир Кириллов, Мих. Герасимов и Бор. Ковынев.

Борис Губер.

Сергей Есенин. *Собрание стихотворений.* Том первый. Стр. 340. Госиздат. 1926.

Перед нами — первый ломоть есенинской лирики. Душистый, голубой ломоть. Первый том души Есенина, его жизни, его самого. Первая большая книга одной песни, распавшейся на множество лирических стихотворений. В книге этой цветут сто шестьдесят восемь стихотворений, но песня одна, основной лейтмотив всех стихотворений — один: жизнь самого поэта, его внутренний рост, он сам.

При чтении книги ясно: высочайшая оценка есенинского гения, единодушное признание «неповторимого цветка», широчайшая любовь есенинской лирики еще при жизни поэта его современниками, — заслуженная оценка, заслуженное признание, заслуженная любовь. Нельзя недооценивать великих. Нельзя не признавать гениальных. Невозможно не любить настоящего, доподлинного и редкостного поэта. Такое чувство испытываешь при чтении этой первой, прекрасно изданной, книги.

В чем же сила есенинской лирики и всего его творчества? Почему при чтении стихов Сергея Есенина испытываешь такое чувство, словно ты в пустыне с жадностью пьешь ключевую воду, и сжатые ладони твои трясутся, как бы не пролить, как бы не расплескать, не проглядеть, не пропустить сквозь пальцы? Книга рассказывает — почему. Потому, что сам Есенин, от первой строчки созданий своих и до последней, относился бережно и любовно к каждому образу, к каждой отдельной строке, к каждому слову. Каждый образ его — не случаен, каждая строка — не зря, каждое слово — не занапрасно. В этом сила его творчества, и поэтому только все мы так жадно ценим его и любим.

В самом деле, найдите еще одного такого поэта, как Есенин, который с такой бы силой и яркостью показал нам в своем творчестве свой внешний и внутренний облик. Во всей истории русской поэзии другого такого поэта вы не укажете. Очень просто. О самом себе еще ни один поэт **так** не рассказывал. Себя самого еще ни один поэт **так** не показал. Есенин это сделал. Есенин **обнажил** себя перед Миром, и поэтому мы ощущаем его в каждом образе, в каждой строке, в каждом созданном слове.

Если верить датам под стихами, Есенин начал **писать себя** с первого же стихотворения, в 1910 году, то-есть пятнадцатилетним юношей.

Вот уж вечер. Роса
Блестит на крапиве.
Я **стою** у дороги,
Прислонившись к иве.

В дальнейшем, на протяжении всей книги и всего своего творчества Есенин все шире и шире развертывает и показывает себя. Местоимение Я не сходит почти со страниц. Но это — не тыкание себя в грудь, а следовательно, и не пустое фразерство. Есенинское Я — совершенно особое, большое, глубокое, озаренное до последней капли, обнаженное с небывалой жестокостью к самому себе. В своих стихах Есенин разбросал себя во всю русскую природу и сам растворился в ней, в этой русской природе, и сам стал «кленом на одной ноге», что «стережет голубую Русь». И ему —

Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь.

Это он же мчится «красногривым жеребенком», это он «весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне», это ему «золотою лягушкой луна распласталась на тихой воде», это о нем «прослезится коноплянник». Еще ни один русский поэт не распоряжался так щедро русской природой, как он. Еще ни один поэт не показал с такой неотразимой силой «русскую стихию», как он. И все это случилось опять-таки потому, что Сергей Есенин не был фразером, а доподлинно чувствовал и переживал все то, что вкладывал в каждую свою строку и в каждое слово. Он знал хорошо, что

Быть поэтом — это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.

То же самое можно сказать и о бесконечном количестве его удивительных образов. Это — не щегольство образами, и не для того, чтобы ошарашить читателя по голове, а — **естественная** потребность, совершенно **органическое** выражение чувств. Образность письма у Есенина началась тоже с первых его стихов. В первом же его стихотворении —

... березы стоят,
Как большие свечки.

Это сказано еще в 1910 году. И тогда же

Отражаясь, березы ломались в пруду.

С той поры прошло целых пятнадцать лет, а Сергей Есенин остался верен принципу — писать образами, и принцип этот сейчас, у новых современных поэтов, играет не малую роль в их творчестве. Правда, образами писали и все старые поэты, но разница между образами старых поэтов и образами Есенина весьма значительная. Есенин довел принцип образности до сознания **необходимости** этого принципа в творчестве, и самые образы отчеканил до поразительной ясности, чего прежде не было. Прежде об образности в поэзии можно было спорить и спорили. А сейчас, после Есенина, спорить нельзя. Он показал нам возможности — претворять свои чувства до **реального** образа, и каждое свое чувство он действительно облекал в плоть, больше того — в мясо. Вот почему —

Держут липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.

Вот почему в стихотворении «Отговорила роща золотая» трудно различить, где золотая роща, а где сам Есенин. И если, сказано в стихотворении, опадут желтые листья и время,

... ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

Конечно, в создании образов, кои щедро ассыпаны по всей книге, Есенин проявляет высочайшее мастерство. Но это мастерство опять-таки — не конечная цель не образ для образа, а только средство достижению цели. Что такое художественное и поэтическое мастерство? Сергей Есенин это знал, конечно, не хуже сяких крученых и верченых, кои взлаают ныне в своих брошюрках. Но Есенин никогда при жизни ни стихами, ни стно не проповедывал «кимвал бряцаюих». Хорошо сделанная фраза для Есенина — это еще не творчество. Звонкое ловцо — это еще не то слово, которое бязательно **н а д о** сказать. А Есенин юбил говорить только такие слова, корые **н а д о с к а з а т ь**, которые действительно выражают те мысли и чувства, оторые создают **н у ж н ы й** образ. В ом отношении Есенин был очень скуп на лова, но зато каждое слово, сказанное м, имеет такую убедительную полновесэсть, что не верить и не чувствовать или увствовать слово только наполовину — ельзя. Есенин переживал каждое слово только поэтому мог говорить:

> Слову с тайной не обняться...

ли:

> А теперь вдруг **р а с т у т с л о в а**,
> Самых нежных и кротких песен.

ли:

> Я учусь, я учусь моим сердцем
> **Ц в е т ч е р е м у х в г л а з а х б е р е ч ь.**

ли:

> Я хочу быть тихим и строгим,
> Я молчанью у звезд учусь.

Только очень большой и зрелый мастер ожет так глубоко и проникновенно говоить о путях своего творчества. Только ромному поэту по-плечу сохранить цельсть своего человеческого и стихотворго лица от первой строки до последней. оэтому самому и книга читается легко. ль в книге 340 страниц стихов! У кого старых и новых поэтов можно прочить, не отрываясь, 340 страниц стихоорных строчек? А Есенин читается лег, за один присест, без передышки, потому что у этого неподражаемого поэта в каждой строке вы видите и чувствуете

> Буйство глаз и половодье чувств.

Кроме того, по стихам Есенина вы видите его внутренний рост и рост его мастерства. Видно, как развертывается его личная духовная жизнь. Видны грани, где он из одной полосы своей внутренней жизни переходит в другую: из колеи в колею. И это можно проследить по стихам. И это явление в истории русской поэзии весьма редкостное. А если оно и случается, то только у очень крупных поэтов, у замечательных мастеров слова, у поэтов «божьей милостью».

Будем ждать с нетерпением выхода второго и последующих томов, чтобы потом более широко и подробно проследить восходящие круги, по которым шел, развивался и творил великий поэт и великий мастер, Сергей Есенин.

Петр Орешин.

А. Звягин. Х л е б н у х а.

От пишущей крестьянской среды принято ожидать пришествия «второго Кольцова» и поэтов «от сохи» неминуемо сравнивать с ним. Может быть, это нужно только для того, чтобы показать, насколько тверже и независимей говорит о своем исконно «мужицком» современный самородок, не искушенный подобно Кольцову книжным идеализмом, преподнесенным последнему на заре развития семинаристом Сребрянским. Этот второй план, план философского умствования, глубин и тонкостей виртуозной мысли, план идеалистической отрешенности от земли — был мучительной трещиной в творчестве Кольцова, причиной подчас режущих ухо фальшивых звуков его поэзии. Новая область, открывшаяся его внутреннему взору под влиянием Станкевича, была не обогащеньем мировосприятия, а вредным разладом, отдушиной, через которую выветривалась животно-кровяная стихия поэта. Подобная неуверенность тона в полной мере отсутствует у крестьянина **З в я г и н а**, написавшего небольшую, но целостную книжечку стихов с безыскусственным названием «Хлебнуха». Темы

его — труд и природа. Впрочем, здесь нет разделения двух тем, скорей тема его одна трудовая природа, или природа труда. Звягин никогда не рисует трав на закатном поле отрешенно от крестьянской работы, белой березы без накипающего желания з мерить силу земли машиной — и этом живая реальность его неспешных і ж.

Избыток земляной мощи, покойно улаженной в трудовую обычность землероба — стержень «Хлебнухи». Отсюда пристрастие поэта к таким эпитетам, как «полнокровный», «здоровенный», его влеченье к красному цвету, который он варьирует, говоря об алом соке, малиновом дне, малиновом бальнике, алом лице, краснощеких трубах. Существенно отметить, что мир техники, вторжение человеческого труда прекрасно уживается с жизнью природы, не внося столкновением с ней ни ноты разлада. Вот тайгу режут:

...Под остреями топора,
Под гулкий звон стального зуба,
Цветет древесная кора,
И сок сочат живые губы.
Мычат еловые стада,
Шумят в кореньях водопои.
В болоте ржавая руда
И драка красок — трав и крови.

Драка красок — и только. Чисто живописное отношение.

Или — покос:

...На цветущем приволье ромашковом
Тихо шепчет трава под косьем,
Наклонившись по-девичьи ласково,
Признается поляне во всем:
Что — цветными венками запуталась
И медовой росой опилась,
Да пришли вот работники с хутора,
Косари из большого села,
Загудели шмели мохноногие,
Закипела работа в полях,
Сами лезут на вилы трехрогие
Травы жаркие: вика, поляк...
А ночами мечтается:
Чтобы выше взвились дирижабли,
Чтобы радио-мачты пели,
Чтобы плечи во век не ослабли
В истомленном мужицком теле...

В центре желанья — сила плеч. Радио-мачты — чудесная гарантия их мощи.

Отсутствие преувеличения, несмотря на насыщенность образа, создает силу почти суровой честности, как в описаньи себя и своих переживаний, так и в описаньи окружающего. О себе поэт говорит лишь попутно, не делая особой темы из рассмотрения своих настроений, беря себя в том же космически-животно-бытовом плане, как солнце, корову и машину. Вот некоторые из его немногих признаний о себе:

От земли я темнолицый
И в колосьях голова.

О своем настроении:

Смеется плоть
Малиновому дню,
Играет по грудям
Трубой многоголосой.

О творчестве:

Звезды щупают мне плечи
Золоченым батогом.

Особенно характерно для Звягина сближение себя с животным:

Эх, медвежье желанье в груди у меня:
Нюхать дух муравьиного спирта,
Гулевую кобылу ночами обнять,
Мчаться рысью и лошадью фыркать.

Таких параллелей можно привести десятками. Поэт хочет с овцой жевать, с коровой вместе радоваться маю, он любовно описывает совместную трапезу парня и мерина. «Пожрать» — это ведь вообще добрая форма приветить майский день и понять друг друга. Да и сама «душмяная» земля представляется, как «пахучий каравай, распластанный пахарем-парнюгой».

Звягину удалось благополучно избежать тяжелой и навязчивой образности имажинистов, соприкасаясь с некоторыми из них в темах деревни. Грубоватость его интимности, вроде «солнце, башку задран», подлинна и наивна. Это не литературный прием, а непосредственный нутряной подход к природе. При строгости своей простоты Звягин вводит и некоторые свежие словесные новообразования. Бо́льшей частью составные прилагательные как «краснобыльные слова», «дикорослые ветви», «кудряво-травная постель». Рифмует строки подчас неожиданно смелым

ссонансом, что выдает в нем достаточно азвитое стихотворно ухо.

В целом «Хлебнуха» заслуживает вниания, как произведение поэта, пока екрупного, но нашедшего верный тон соединении космического, общественного личного и конкретную достоверность зображения.

О. Мочалова.

Н. Нариманов. Пир. Т. I. Стр. 134. Iадир-шах. Т. II. Стр. 72. Изд. «Земля Фабрика». 1926.

В этих двух томах собраны повести пьесы Нариманова, одного из видных ытописателей Востока, такого бедного ытовой литературой.

С этой стороны особенно ценны эти роизведения, и, если они обладают во ногом художественными погрешностями,) эти погрешности вполне искуплены ытовой полнотой дикарского Востока.

Наиболее значительной вещью и по итературным и по социальным требоваиям является повесть «Пир», повесть темноте, невежественности и религиозом фанатизме. В этой повести в достаэчной степени проявлено чувство меры знание быта той среды, в которой автор ровел свою жизнь, как общественный и олитический деятель.

Лечение сифилиса помощью молитв, ертв путем нашептываний и заговоров, резрение к медицинской помощи — от основной мотив «Пира».

Попутно семейные взаимоотношения, абство женщины, лживость церковной асты, — все это рельефно встает в повеги, и от всего, несмотря на неновую тему, еет новизной.

Далее в книгах имеются пьесы и повести, освященные вопросу о браке на Востоке, опросам о просвещении и даже вопросам о власти — мы говорим «даже», ак как пьеса «Надир-шах» была напиана до 1905 года.

Вот что говорил Нариманов по поводу гой пьесы:

«Еще 20 лет тому назад в своей драме Надир-шах, оторую до 1905 года не озволяли играть на сцене, проводил такую мысль: прежде чем государству издавать законы, необходимо изучить быт, нравы и религию народностей».

Надир-шах — непокорный бунтарь, бывший разбойник, частица восставшего народа — сопоставлен царской власти и, конечно, оказывается разумнее ее. Параллельно с этим в пьесе проведена критика духовенства.

«В этой самой драме, — писал Нариманов, — я стремлюсь к тому, чтобы обезоружить духовенство, ослабить его влияние на массу путем ограничения вмешательства в государственные дела, в политическую жизнь».

В повести «Багадур и Сона» дана личная драма двух революционеров на фоне их партийной работы. Условности превалируют над логикой, и оба героя трагически гибнут.

В общем, книги можно назвать полезными с точки зрения пополнения знаний о жизни малых народностей.

В книге имеется весьма исчерпывающая критическая статья С. Вельтмана.

Виктор Якерин.

Георг Гросс и Виланд Герцфельде. Искусство в опасности. Госиздат. 1926 г.

Существуют документы, которые на немногих страницах раскрывают определенный момент ярче и убедительней, чем толстый том тщательного исследования. Для желающих подойти вплотную к ожесточенной борьбе, царящей в течениях изобразительного искусства за последние 10—15 лет, книга немецкого художника Георга Гросса является именно таким документом. Она состоит из 3-х статей, из которых наибольший интерес представляет первая — «Искусство в опасности». Эта статья заключает изложение взглядов художника на причины, приводящие к лозунгам ликвидации искусства (под «искусством» художник всегда подра-

зумевает станковую живопись), и указывает единственный, по его мнению, возможный выход из тупика.

«Закат искусства, — пишет Гросс, — начался с изобретения фотографии. Оно потеряло свое значение корреспондента-бытоотражателя. Точно так же тоска массы по романтизму находит себе удовлетворение в кино». Рядом с фотографией и кино «каким тяжеловесным и устарелым кажется производство масляной картины, как мало отвечающей эпохе!»

Итак, техника в лице фотографии и кино побивает живопись в наиболее доступной ее форме — в отражении внешнего мира. Отсюда «ставка на душу» экспрессионизма. Художники начинают «прислушиваться к Орфеевой музыке своей души. Души выходят на состязание». «В результате 77 художеств. направлений. Каждый утверждает, что именно он рисует истинную человеческую душу».

Создается неразбериха. В конце концов, «циркуль и линейка изгоняют душу». В противовес экспрессионизму рождается конструктивизм, желающий работать «для удовлетворения практических нужд». Однако и конструктивизм тоже терпит крушение. Причины его художник видит, с одной стороны, в «опьянении романтикой техники», с другой — в том, что художники переоценили свои силы, думая, «что сумеют направлять деятельность инженеров», а на практике оказались не в состоянии справиться с этой задачей.

«Как же быть? — спрашивает Гросс, — все до сих пор сказанное приводит к одному лозунгу — ликвидация искусства». Необходим исход. Гросс его находит. «У художника наших дней, если только он не бездельник и глупец, есть только одна возможность: сделать выбор между техникой и пропагандой классовой борьбы. Перед художниками «новая большая задача» — тенденциозное искусство на службе у революции». Последняя статья «Вместо биографии» представляет целиком страстный призыв к художникам посвятить себя этой задаче.

Признавая книгу Гросса полной живейшего интереса, нет, конечно, необходимости подписываться под его взглядами и заключениями. Тем более, что она заключает не мало противоречий. Тем не менее, целый ряд моментов учтен художником совершенно правильно. Например, безусловно правильно, что фотография отняла у художника «роль корреспондента-бытописателя», что вызвало потребность в целевой переустановке живописи. Затем блестяще дана оценка экспрессионизма, сопровождающаяся рядом едких характеристик, например: «Кандинский музицировал и набрасывал эту душевную музыку на полотно. Пауль Клее занимался трогательным девическим рукоделием». Часть статьи, относящаяся к русскому конструктивизму поражает иногда верностью и оригинальностью оценки: «Там (т.-е. в России. *Прим. Гросса*) конструктивизм является отчасти естественным рефлексом на сильное машинное наступление возрождающейся промышленности. Какая-нибудь электрическая установка, трактор, турбина, — все это совершенно невиданные события для крестьянина. Даже полотно, платонически расписанное машинными конструкциями, там не так бессмысленно, как в Зап. Европе... художник является (может быть, даже бессознательно) пропагандистом и популяризатором идеи индустриального развития». Точно так же правильны приводимые художником причины падения обоих направлений.

Однако от этих правильных оценок художник переходит к совершенно неверным заключениям. Например, крушение конструктивизма он принимает, как доказательство полной ненужности искусства в производстве вообще. Он совершенно игнорирует специальную и огромную роль художника в деле формирования среднего уровня художественной культуры. Точно так же, ограничивая станковую живопись узко-агитационной областью, он с яростным пренебрежением относится к остальным художникам. Пейзажистов он величает «рисовальщиками панорам и видов, тоже именующих себя художниками». Это же великолепное презрение распространяется и на «мастеров портрета, картин парадных приемов, лошадей в настоящую величину и мадонн». Самое представление о художниках, придающих известное значение эстетическому моменту, вызывает у него нечто вроде нервной судороги. Он называет их «чувствитель-

йними нервами общества» с иронией, торую хотел бы сделать убийственной. адо отдать справедливость, что свою спощадность он безжалостно распро- раняет и на себя. Он не колеблясь, я большей убедительности, вплетает свои статьи свою автобиографию. Вер- ей, историю своих заблуждений и духов- го обращения от крайнего индивидуализ- а к современному мировоззрению. ри чем излагает эту историю в тонах амобичующей исповеди. Даже в стиле о, обычно жестоком и ядовитом, проры- аются в этих местах патетические про- оведнические ноты.

Из всего сказанного ясно, что книга росса менее всего способна дать объектив- ое историческое изложение. Нет, Гросс тоит в центре активной борьбы немецких удожников за утверждение социального южета. Отпечаток этой борьбы сегодняш- его дня явственно лежит на книге. Отсюда е крайности, фанатическая нетерпи- юсть, запальчивые выпады против пра- он, пламенные призывы к заблуждаю- щимся и т. д. Именно эти черты придают й живое неповторяемое обаяние непосред- ственного документа.

Книга сопровождена предисловием Пер- цова, заключающим четкую характери- стику Гросса, как художника.

Ф. Рогинская.

И. А. Груздев. Максим Горь- кий. Изд-во КУБУЧ. Ленинград 1926. Стр. 76. Тираж 5.000.

Рецензируемая книжка является лишь популярным изложением жизни М. Горь- кого, как указывает автор, и носит подза- головок: «Биографический очерк (по новым материалам)». Вследствие такого задания, эти новые материалы, почерпнутые из архивов и из периодической печати, соответственно не прокомментированы, и источники их подробно не указаны (автор обещает сделать это в подгото- вляемой им к печати книге о Горьком исследовательского характера). Они поло- жены в основу биографического описания, представляют собой наиболее яркие его места, чем и определяют тот разрез, в котором это описание ведется. На протя- жении одиннадцати глав автор доступно излагает основные внешние события жизни писателя, начиная с рождения и до послед- него отъезда за границу, особенно интере- суясь и выдвигая факты общественной жизни и роли Горького: участие в кружках и пропагандистской работе, столкновения с полицейскими властями, газетная работа, взаимоотношения с буржуазной интелли- генцией, с социал-демократией, высту- пления против самодержавия, обществен- ное влияние произведений, школа на Капри и т. д. Такое устремление книги — ценно. Но новые материалы влияют, повидимому, еще и на распределение авторского внимания по отдельным перио- дам. В этом отношении биография соста- влена неровно: 1905—1906 годам посвяще- но 2 главы, а целому последнему десяти- летию — одна. Это — недостаток, кото- рым грешат и другие биографы Горького: нельзя писать книгу, надеясь на память современников и не заглядывая в будущее. Сюда же нужно отнести и некоторую невнимательность к творческой стороне жизни писателя.

Что дает книжка нового в популярную литературу о Горьком, интерес к которому не ослабевает и оправдывает подобные издания? Если не считать старую лите- ратуру, то, помимо статей (Лелевич, Лидин и др.), имеются книжки Строева и В. Полонского (1919 г.), но обе очень коротки, а первая кроме того мало содер- жательна. Более обстоятельная книга Р. Григорьева (М. 1925 г.) написана в совсем другом духе: автор больше инте- ресуется творчеством и психологией, но не имеет на то достаточных данных. От них настоящая работа отличается своим выдержанным биографическим разрезом, последовательностью, а также объектив- ностью и сдержанностью изложения, чуждого фразы и поспешных выводов и обобщений. Материалами, в ней исполь- зованными, она как бы примыкает к сообщениям Николаевского и Илларио- нова и показывает, сколько еще ценного вообще и в частности для биографии Горького кроется в архивах.

Книжка написана легко и может быть дана рядовому современному читателю. Некоторая внешняя необработанность изложения (напр., на стр. 26 выходит,

что Горький в Самаре поселился в домике Перини, а квартиру снимал в подвале у частного поверенного) — незначительна.

Генн. Поспелов.

I-й том полного собрания художественных произведений Федора Михайловича Достоевского. Под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. Изд. Ленинградского Гос. Изд. в 1926 году.

Перед нами: Достоевский Ф. М. Том I-й полного собрания художественных произведений. Госиздат. Ленинград 1926 г. Под редакцией Б. Томашевского и К. Халабаева.

В этот том вошли: 1) «Бедные люди» (роман), 2) «Двойник» (петербургская поэма), 3) «Господин Прохарчин» (рассказ), 4) Роман в девяти письмах, 5) «Хозяйка» (повесть), 6) «Ползункон», 7) «Слабое сердце» (повесть), 8) «Чужая жена и муж под кроватью», 9) «Честный вор», 10) «Елка и свадьба», 11) «Белые ночи».

Настоящее издание заставляет желать много лучшего. Прежде всего недоумеваешь: для чего, для кого этот том издан: из предисловия ничего не видно, так как и предисловия-то нет, почему нет — совсем непонятно; издать классика без предисловия — по меньшей мере странно.

Начнем «с лупой» доискиваться сами. Оказывается, здесь мы находим очень много интересного,— видно, что редакцией проделана очень большая работа.

Даны довольно хорошие примечания к каждому произведению Достоевского, в них указывается: сколько раз каждая работа печаталась при жизни Достоевского, где, когда (точная библиографическая справка), чем отличаются эти пожизненные издания одно от другого, так как при жизни своей Достоевский свои произведения переделывал по несколько раз.

Напр.: «Чужая жена и муж под кроватью» первоначально представляло два отдельных напечатанных рассказа: 1) «Чужая жена» и 2) «Ревнивый муж», из них потом Достоевский сделал один рассказ.

В примечании даны наиболее существенные отрывки из издания 1848 года («Ревнивый муж»), не вошедшие в окончательную редакцию. К сожалению, напрасно редакция поскупилась целиком воспроизвести «Ревнивого мужа», ведь это было напечатано отдельным художественным произведением.

В примечании к «Двойнику» приведена 1-я редакция «Двойника», существенно отличающаяся от последних двух, под названием «Приключения господина Галядкина».

К «Бедным людям» приводятся отдельные довольно большие отрывки, выпущенные Достоевским при переработке в 1847 году, но «почему-то восстановленные в посмертных изданиях».

Выброшенные Достоевским отрывки приведены в примечаниях к «Честному вору», к «Белым ночам».

К «Белым ночам» приведена вставка, которая отсутствовала в первом издании.

Очень хорошо сделаны таблицы: «Разночтения изданий, вышедших при жизни Достоевского» для произведений, подвергавшихся последним переработке:

1) «Бедные люди» (четыре разночтения), 2) «Двойник» (два разночтения), 3) «Господин Прохарчин» (два разночтения), 4) «Хозяйка» (два разночтения), 5) «Слабое сердце» (два разночтения), 6) «Чужая жена и муж под кроватью» (три разночтения), 7) «Честный вор» (три разночтения), 8) «Елка и свадьба» (три разночтения), 9) «Белые ночи» (три разночтения).

В этих таблицах наглядно можно сравнить варианты отдельных фраз, изменявшихся рукой Достоевского в последующих изданиях. Таблицы составлены подробно и с большим знанием дела.

Но если в примечаниях хорошо разработаны пожизненные издания, над которыми работал сам Достоевский, — если указываются точные библиографические справки для каждого отдельного произведения: когда, где, сколько раз печаталось при жизни Достоевского, — то ни одним словом не говорится: когда, где и сколько раз печаталось после смерти Достоевского, чем каждое посмертное издание отличается от предыдущих, чем настоящее издание отличается от предыдущих. Ни одним словом не говорится: когда начал Достоевский работать над той или иной вещью, когда кончил? Правда,

и годы лаконично стоят в оглавлении ред каждым наименованием, но опять : оговорено, что это: годы ли перго издания, годы ли работ Достоевского.

Почему за эту книгу интересней заплать три рубля, а не купить у букинистов 5—10 рублей полное собрание сочинений остоевского предыдущих изданий, — осиздат не говорит и этим рискует, что его небрежности книжка будет валяться складах.

Небрежность Госиздата замечается в том, что на «Паспорте» книги вместо олного имени и отчества (что бы следовало в I томе полного собрания сочинений) аконически стоят инициалы «Ф. М.» втора.

Редакция категорически уклоняется казать: для какого круга читателей здана книга?

Редакция не совсем хорошо справилась и с выборкой текста.

«Бедные люди» печатаются по второму зданию 1847 года, хотя Достоевский кончательно установил свой текст для етвертого издания в 1865 году.

«Чужая жена и муж под кроватью», Честный вор», «Елка и свадьба», «Белые очи» — печатаются по изданию 1860 г., отя Достоевский этот текст перерабавал для издания 1865 г.

Но, выбрав по своему усмотрению те ли иные издания, с которых перепечаывались отдельные произведения, — едакция без всяких оговорок вариантами азночтений различных изданий распоряжалась, как ей заблагорассудится, овершенно даже не оговаривая, почему рала тот или иной вариант фразы.

Если редакция печатала «Бедные люди» о изданию 1847 года, то отдельные многоисленные фразы, переделывавшиеся самим Достоевским для различных изданий, едакцией брались совершенно произвольо и из издания 1846 г., и из 1847, г. и из 860 г., и из 1865 г.

В результате получилось, что «Бедные юди» представляют сборную селянку з различных изданий, — новое издание, о уже не в редакции Достоевского, уже е 1846 г., 47, 60 и 65 г.г., а в переработке Томашевского и К. Халабаева — 926 г.

В такой же мере последнее относится к «Двойнику», к «Господину Прохарчину», к «Хозяйке», к «Слабому сердцу», к «Чужая жена и муж под кроватью», к «Честному вору», к «Елке и свадьбе» и к «Белым ночам».

Последнее, с нашей точки зрения, недопустимо, так как по-своему изменять тексты писателя-классика не дело редакции: ее дело — дать варианты отдельных выражений — и только.

В подборе материала к первому тому редакция руководствовалась строго хронологическим порядком, взяла написанное Достоевским с 1846 по 1848 год включительно, но почему выброшены «Рассказы бывалого человека» — неизвестно.

Изредка появляются неоговоренные опечатки, иногда не совсем точно расставленные знаки препинания.

В общем, несмотря на очень положительные стороны настоящего издания — последнее заставляет желать весьма много лучшего, и будем надеяться, что к дальнейшим томам Ленинградский Госиздат отнесется более внимательно.

Николай Зеленов.

Письма А. Блока. Изд. «Колос». 1925 г. Тираж 3.000. Стр. 228.

В книге собраны письма Блока к С. М. Соловьеву, Г. И. Чулкову, А. Д. Скалдину и В. Н. Княжнину. Письмам предпосланы небольшие вступительные статьи, кроме того, к каждой серии писем приложен специальный комментарий. Письма дают материал для характеристики, главным образом, жизни и деятельности молодого Блока, затрагивая, преимущественно, довоенные годы.

Письма Блока к Соловьеву представляются довольно интересными. Любопытны здесь некоторые отзывы поэта о своих современникам. Так, например, в письме от 8 марта 1904 г. мы читаем следующее: «Сергей Кречетов вполне бездарен. А. Ремизов неудобочитаем от скуки... Вяч. Иванов красиво врет о кипарисах, а в остальном бездарен. О Миропольском не следует говорить... Поярков— пуговица от Бальмонтовых панталон.

Кондратьев — безвкусица последнего сорта...» и т. д. И только — «Белый — изумителен». В письмах 1904 г. встречаются признания о большом воздействии на Блока поэзии Брюсова. В последующих письмах нам попадается отзыв о Брюсове, как о «гениальном поэте Александрийского периода русской литературы». В этих письмах Блока, кроме того, часто встречаются замечания по поводу «Весов», «Грифа» и т. п. В январском письме 1905 г. мы находим весьма небезынтересное признание поэта о своих общественно-политических воззрениях... «И я политики не понимаю... когда заговорили о «реформах», почувствовал, что деятельного участия в них не приму. Впрочем, консерваторов тоже почти не могу выносить...».

Вступительная статья С. Соловьева, обильно сдобренная мистической фразеологией, в отдельных своих местах небесполезна. Довольно характерен здесь облик Блока — гимназиста, эта зарисовка Соловьева прекрасно передает атмосферу интеллигентной буржуазно-дворянской семьи. Четко выявляется у Соловьева внешняя жизнь Блока в Москве на Спиридоновке. Очень любопытно указание, что Достоевский являлся любимым писателем молодого Блока.

Письма Блока к Георгию Чулкову, охватывающие период с 1904 по 1910 г.г. включительно, также содержат в себе кое-что небезынтересное. Отметим опять отзыв о Брюсове: «Брюсова я считал, считаю и буду считать своим ближайшим учителем после Владимира Соловьева». Подчеркнем отмежевывание Блока от так называвшегося тогда «мистического анархизма». Для истории этого «направления» эти Блоковские письма и приложенные к ним комментарии дают богатый фактический материал.

Из статьи Г. И. Чулкова «А. Блок и его время» тоже можно почерпнуть некоторые мелкие, но все же довольно интересные сведения. Так, через посредство этой статьи становится совершенно наглядным салонно-буржуазная атмосфера кружка Мережковских в противоположность формально-поэтическому характеру литературных собраний у Сологуба, которым был присущ еще, как сообщает Чулков, оттенок некоей провинциально-чиновнической холодной чопорности, так что товарищески-дружеской атмосферы не было, повидимому, и здесь. В статье Чулкова находим строки, весьма небесполезные в деле изучения социально-общественного смысла русского литературного модернизма начала XX ст. Чулков пишет: «мне кажется, что именно на мою долю выпало «научить» Блока слушать музыку революции». Это революционизирование заключалось, однако, в том, что «в беседах преобладали не «экономика», «статистика», не то, что называется «реальной политикой». а совсем другие понятия, и категории, выходящие за пределы так называемой «действительности»... за маревом внешней действительности жизни мерещилось иное таинственное лицо».

Письма Блока к Скалдину, как равно и его воспоминания, дают мало что существенного.

В письмах к Княжнину отметим слова поэта о необходимости «умаляться», ибо «страшное самолюбие во всех нас сидит, и все это — дурная интеллигентская закваска... еще хочу вам сказать, что я нападаю не только на вас, но и на себя, ибо во мне есть «шестидесятническая» кровь, «интеллигентская» кровь и озлобление»... Фраза, вносящая в облик Блока некоторый новый штрих.

В письма Блока и в комментарии — в последние, несмотря даже на свой мистический тон — всякий исследователь Блока и русской новейшей литературы, несомненно, должен заглянуть, некоторые фактические сведения в них ему смогут пригодиться.

Арк. Глаголев.

Л. П. Меньщиков. Охрана и революция. К истории тайных политических организаций в России. Часть I. Изд. Всесоюзного Общества Политкаторжан. М. 1925. Стр. 431. Тираж 5.000.

Л. Меньщиков некогда играл очень крупную роль вначале в Московском охранном отделении, а затем в особом отделе департамента полиции, т.-е. в той части гнезда черной реакции, которая держала в своих руках всю многослож-

ую систему политического сыска в России. Позади Л. Меньщикова двадцать лет лужбы в царской охранке, так что такой ольшой срок беспрерывной службы обоатил его не только опытом, но и огромым количеством секретных и интимных анных и материалов, часть которых была м разглашена еще задолго до революции.

Л. Меньщиков «изменил» охранке в 909 году (в редакционном предисловии печатка — 1919 г.). Его откровенные аявления, сделанные тогда Бурцеву в Паиже, открыли русским революционным артиям, загнанным в подполье, в эмирацию, многое и многое из области преательства и провокации внутри социалитических партий (с.-р. и с.-д.). Своими азоблачениями охранки Л. Меньщиков есколько искупил и старый личный грех: екогда и он «ходил в революционерах», рестовывался (1887 г.), но очень скоро разрешил» все возникшие у него полиические проблемы чрезвычайно просто: н дал «откровенные» показания охранке, окаялся и... зачислился околоточным адзирателем резерва московской полиции. Все это было результатами его твердого решения «прежде всего тщательно зучить средства, приемы и систему борьы противника... находясь в его лагере» 28), а затем с удвоенной энергией действовать на стороне революции. Мотивы, несомненно, очень сложные, но на их останавливаться не будем и перейдем к рецензируемой книге.

Настоящая книга представляет собой только первую часть задуманной Л. Меньщиковым работы. Она охватывает период : 1885 по 1898 год, т.-е. эпоху тяжелейшей реакции, когда судьбы общественного движения были почти целиком отданы во власть департамента полиции, охранки и жандармерии, когда слабость только складывавшего революционного и социалистического движения, его организационные недочеты и ошибки создавали охранке благоприятнейшую основу для развития ее, поистине, гнусной деятельности.

Нужно воздать автору должное: материалы в рецензируемой книге подобраны очень умело, факты, приводимые им, можно сказать, сами говорят за себя и в особых комментариях не нуждаются. Таким образом, если Л. Меньщиков поставил своей задачей «дать необходимый материал для будущего историка» (11), то, несомненно, он с нею справился. Правда, вся книга насыщена материалами, относящимися больше к делам охранки, к департаменту полиции и меньше всего к делам революции, тем не менее будущий историк революционного движения в России найдет в ней много ценных фактов, часть из которых являлась до сих пор достоянием одного автора. В этом ценность книги, как таковой, как сборника материалов.

Есть, однако, еще одна сторона, делающая опубликованные Л. Меньщиковым материалы ценными с общественной точки зрения.

Что составляло содержание работ охранных учреждений России? Провокация внутри, провокация во-вне, создание из хитрого сплетения тысячи мельчайших подчас ничего не стоящих фактов ряда «громких дел» с большими жертвами для раскрытых и с большими наградами для раскрывателей. Но сама по себе охранка была ничто. «Гороховые пальто» и «дымчатые очки», т.-е. вся филерская система была только армией пешек, работавшей на «вождей» охранки — Зубатовых, Медниковых, Бердяевых, Шраммов и др. Но роль последних также была бы ничтожной, если бы у них не имелась «опора» в лице провокаторов-предателей революции. Вот этому сонму великих и малых провокаторов, предававших революцию: кто идейно, кто за деньги, а кто совершенно случайно и безрассудно, Л. Меньщиков уделяет значительную и, пожалуй, наиболее интересную часть своей работы.

Кого тут только нет! Всюду и везде, в малых и больших делах, вы находите «мамочку» охранки А. Е. Серебрякову, которую судит ныне наш советский суд. За нею следует ее помощница «Манька» — М. Корнатовская, предававшая всех без разбору, почти механически; потом идут Шелонский, Беневоленский, Геккельман, Гурович, Герпгрос-Жученко («Зиночка»), различные Петровы, Руделевы, Поповы и т. д., и т. п.

Как высоко ценил департамент полиции услуги провокаторов, вроде перечисленных, можно судить хотя бы по нескольким

строкам письма Зубатова, адресованному Гернгрос-Жученко, приводимому автором. «Очень рад, дорогой мой друг, — пишет Зубатов, — что мы сошлись с вами во взглядах на жизнь. ...Не устроиться ли вам официально при департаменте в качестве руководительницы и воспитательницы секретной агентуры? Выведите мне агентурных внучат...» (278—279). Когда же Гернгрос встретилась в 1909 г. с Бурцевым и давала ему показания по поводу своей предательской деятельности, то, несмотря на свою трусость (она боялась, что ее убьют по приговору партии с.-р-ов), она патетически заявляла: «Я служила идее. Помните, что я честный сотрудник департамента полиции в его борьбе с революционерами» (279), хотя это нисколько не мешало ей получать, по милости шефа жандармов Курлова, большое жалованье и «поистине княжескую пенсию» (3.600 рублей в год). Мы сознательно выделили Гернгрос из общей плеяды провокаторов, ибо она занимала достаточно видное положение в партии с.-р-ов, входила в боевую организацию, подготовляла убийство московского градоначальника Рейнбота и одновременно выдавала своих товарищей по организации, посылая их на виселицу (по ее доносу была повешена революционерка Фрумкина).

Подчеркивая ценность работы Л. Меньщикова, как исследования или, точнее, сборника материалов, мы держимся несколько иного мнения о публицистических попытках автора. Они очень слабы, а местами представляют собой изрядный балласт.

Зато очень занимательны многочисленные характеристики охранки революционных и общественных деятелей, приводимые автором. Так, мы узнаем, что Прокопович (известный социал-либерал) значится сторонником решительных революционных действий (?!) и в деятельности анархистов видел «действительно плодотворный способ борьбы» (116); В. Святловский (теперешний ленинградский профессор) — «большой фат, доверием не пользуется» (179); П. Г. Смидович — юноша, «глубоко проникнутый революционными идеями» (179); Л. Красин — партийный работник, «обративший внимание своими конспирациями» (200), а П. Милюкова охранка долгое время числила «в народовольцах» (232). Помимо этого, книга уснащена большим числом мелких штрихов и фактов из полицейско-жандармского быта, которые благодаря тщательному подбору таковых освещают работу, делают ее интересной для чтения и массовику.

Издана книга удовлетворительно, хотя по очевидному техническому недоразумению в двух местах (стр. 34 и 46) выпало несколько строк, что сильно искажает смысл дальнейшего текста. Приводимые в конце книги примечания вполне соответствуют, по своему содержанию, всей книге, на которую считаем безусловно необходимым обратить внимание широкого читателя.

И. Браславский.

ПОПРАВКА.

В № 4 «Красной Нови» в некрологе «Дмитрий Андреевич Фурманов» вместо Еланя (Ковтюха) следует читать Еланя (Кутякова).

Редакционная коллегия: А. Воронский. В. Сорин. Ем. Ярославский. Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Кривоколенный пер., 14. Тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ